

НАДЕЖДА

ХРИСТИАНСКОЕ
ЧТЕНИЕ



ВЫПУСК 3



*Господи, устне мои отверзеши,
и уста моя возвестят хвалу Твою.*

НАДЕЖДА

Христианское Чтение

ВЫПУСК 3

НАДЕЖДА

Составитель сборника
Зоя Крахмальникова

© Possev-Verlag. V. Gorachek K.G., 1979
Frankfurt /Main
Printed in Germany

ХРИСТИАНСКОЕ ЧТЕНИЕ,

ИЗДАВАЕМОЕ

ПРИ

САНКТПЕТЕРБУРГСКОЙ
ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ.

1867

СЕНТЯБРЬ

САНКТПЕТЕРБУРГЪ

ПЕЧАТАНО ВЪ ТИПОГРАФИИ ДЕПАРТАМЕНТА УДѢЛОВЪ, ЛИТЕЙНАЯ, № 39.

Титульный лист сборника,
издававшегося с 1821 по 1917 год,
одного из предшественников „Надежды”.

СЛАВА И ВЕЛИЧИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

*Описание св. чудотворных Ее икон**

ВЛАДИМИРСКАЯ

Три раза в год Церковь совершает празднество Владимирской иконе Пресвятой Богородицы в благодарность за тоекратное избавление Ее помощью отечества нашего от врагов: 21 мая, 23 июня и 26 августа.

Владимирская икона Богоматери по общему верованию наших предков написана евангелистом Лукою на доске из того стола, за которым трапезовал Иисус Христос с Своею Пречистою Матерью и праведным Иосифом. Икона написана была еще при земной жизни Богоматери и принесена была благодатным художником к Пресвятой Деве. Видя изображение свое на иконе, Дева Мария повторила свое пророческое изречение: *Отныне ублажат мя вси роди* и присовокупила: *благодать Родшагося от меня и моя с сею иконою да будет*. В 450 году, при императоре

* Перепечатывается из книги: "Земная жизнь Пресвятой Богородицы и описание святых чудотворных Ее икон, чтимых Православною Церковью на основании Священнаго Писания и церковных преданий". Сост. София Снеессорева. Изд. 2-е, значительно дополн. — С.-Петербург: Изд. И. Л. Тузова, 1898. Все даты, естественно, по старому стилю.

Феодосии младшем, икона принесена из Иерусалима в Константинополь, а в начале XII века из Константинополя привезена в Киев: патриарх цареградский Лука Хризоверх прислал ее великому князю Юрию Владимировичу Долгорукову, и она была поставлена в девичьем монастыре в г. Вышгороде, который в древности был удельным городом благоверной княгини Ольги. Икона скоро ознаменовала себя великими чудесами.

В 1155 году великий князь Юрий отдал Вышгород в удел сыну своему, князю Андрею. Клирики Вышгородской обители, войдя однажды в храм, увидели, что икона сошла с своего места и стоит среди церкви на воздухе. Они взяли ее и поставили на прежнее место, но вскоре увидели, что икона опять стоит на воздухе.

Князь Андрей "многу веру и любовь имяше ко Пресвятой Богородице и на устах его всегда было имя Христово и Пречистой Его Матери", как говорит древний летописец. Дошел до него рассказ о чудотворной иконе, что ей не угодно место, на котором она поставлена, и он подумал: "не в Суздальской ли земле ей угодно пребывать?" Князь Андрей давно уже замыслил удалиться с юга России на север в Ростовскую область и там утвердить независимое от Киева владение. Он стал усердно молиться пред иконою, отслужил пред нею молебен и благоговейно взял ее, вместо всех сокровищ, без ведома отца, и ночью уехал из Вышгорода. По пути к Суздалию он совершал пред иконою молебствия и видел от нее многие чудеса.

По прибытии во Владимир на Клязьме князь встречен был жителями с великою радостью. После этого князь направился к Ростову; но в 10 верстах от Вла-

димира, вниз по течению реки Клязьмы, остановились лошади, везшие чудотворную икону, и не шли далее. Тогда запряжены были новые лошади, но и те не трогались с места. После усердной молитвы пред иконою, князь получил от Богоматери повеление поставить икону во Владимире. Князь Андрей немедленно заложил во Владимире храм для пребывания чудотворной иконы. Чрез два года, в 1160 г., храм был окончен и великолепно украшен. Боголюбивый князь заботился также и об украшении св. иконы, и обложив ее окладом из золота и серебра с драгоценными камнями, поставил ее в новом Успенском храме во Владимире и с тех пор она стала называться *Владимирскою*.

После этого икона снова просияла многими и великими чудесами. По вере в благодатную силу иконы князей, воевод и воинов и всего народа она участвовала во многих походах Русского воинства. С нею соединены многие священные воспоминания. В 1164 г. Владимирская икона находилась в походе Андрея Боголюбского против волжских болгар, которых он победил заступлением Богоматери. Пред сражением князь Андрей укрепил дух свой приобщением св. Таин и молитвою пред чудотворною иконою Богоматери. "Всяк уповаяй на Тя Госпоже, не погибнет", так вопиял он к Ней в молитве. По примеру князя и все воины усердно молились, со слезами прикладывались к Ней и с верою на Ее помощь отпоявлялись на врага. Болгары были разбиты и после победы князь прежде всего принес благодарственное молебствие Богоматери пред Ее Владимирской иконою. В это время от животворящего креста и иконы Богоматери воссиял свет, озаривший все воинство. Память о сем чуде сохраняется в празднестве

Происхождения честных древ Креста Господня 1 августа, которое установлено в 1164 году, по желанию князя Андрея и по сношению с императором греческим Мануилом, который в тот же день видел свет от Креста Господня и чудесно победил сарацин.

По убиении князя Андрея Боголюбского в 1173 году, народ, подстрекаемый безначалием и убийцами, грабил Боголюбов и Владимир. Священник Николай, прибывший с Боголюбским из Вышгорода, в полном облачении открыл хождение с Владимирскою иконою по улицам города и мятеж немедленно утих.

После князя Андрея решено было во Владимире отдать престол его племянникам Ярополку и Мстиславу Ростиславичам. Они в первый же день своего княжения захватили себе серебро и золото Владимирского храма и отобрали на себя волости и дани, пожертвованные храму Боголюбским. Чудотворную икону Богоматери Ярополк отдал своему зятю, Глебу Рязанскому. Против этого восстали все жители Владимира, и решили прогнать Ростиславичей, и немедленно воины их, не вступив еще в бой, бросили княжеское знамя и обратились в бегство, "гонимые гневом Божиим и Святой Богородицы". Глеб Рязанский сам возвратил Владимиру чудотворную икону и сказал: "Я виноват во всем". Летописец же присовокупляет: "Утеши их Бог и св. Богородица Володимерская! Се бо Володимерцы прославлены Богом по всей земле за их правду, Богови им помогающую".

Во время пожара, в 1185 году 13 апреля, сгорел во Владимире соборный храм со всем его богатством, но Владимирская икона сохранилась невредима. Во время нашествия татар под предводительством Батыея 7 февраля 1237 года, икона лишилась драгоценного оклада, но сама осталась невредима "по благодати

Богоматери, неотъемлемой от Ее иконы в уверение благочестия и на соблюдение земли русской". Князь Димитрий Донской помощью Богоматери Владимирской одержал победу над Мамаем 8 сентября 1380 года.

Слава города Владимира возрастала и распространялась в продолжение 242 лет, пока пребывала в нем чудотворная икона Богоматери. Когда же в Москве воздвигнут был храм во имя Пресвятой Богородицы и св. икона Владимирская была перенесена туда, тогда начала возвышаться Москва над всеми княжествами русскими. В Москве, как и во Владимире, чудотворная икона прославилась многими благодатными знаменами для спасения нашего отечества.

В 1395 году вступил в пределы России страшный завоеватель Востока, Темир-Аксак, или Тамерлан (железный хромец). С полчищами своими он приблизился к пределам рязанским, взял город Елец, пленил князя Елецкого, избил многих христиан и дошел до Дона, направляясь к Москве. Великий князь Василий Дмитриевич с войском вышел к Коломне и остановился на берегу р. Оки. Но более уповая на Бога, чем на свою силу, он усердно молился со всем воинством и народом Богу и Пресвятой Богородице о избавлении своего отечества и призывал на помощь великих угодников Божиих: Петра, Алексия и Сергия, и повелел, чтобы наступивший пост пред праздником Успения Богородицы посвящен был во всем княжестве усердным молитвам и подвигам покаяния и чтобы принесена была из Владимира в Москву чудотворная икона Божией Матери. Отправленное во Владимир за святою иконою почетное духовенство Успенского собора, после литургии и молебна, в день Успения, приняло на свои руки чудотворную икону,

при умилительном зрелище народа, который слезно вопиял: "Куда Ты отходишь от нас, Владычице? для чего оставляешь нас сирыми, отвращаешь от нас лице свое?"

Священное шествие с иконою приблизилось к стенам Москвы чрез 10 дней. Бесчисленные толпы людей, по обеим сторонам дороги, преклоняя колена с усердием и слезами взывали: "Матерь Божия! спаси землю русскую!" Все духовенство Москвы с крестным ходом, все семейство великого князя, бояре и граждане торжественно встретили святыню за городом и проводили ее до Успенского собора. Не напрасны были вера и благоговейные моления православных: в тот самый день и час, когда жители Москвы встречали икону Богоматери, Тамерлан дремал в своем шатре и увидел пред собою великую гору и с ее вершины идущих к нему многих святителей с золотыми жезлами, а над ними в сиянии лучезарном Деву неопisanного величия, окруженную бесчисленными тьмами ангелов с пламенными мечами, которые все устремились на него. Тамерлан в ужасе проснулся и, созвав своих старейшин, требовал от них объяснения этого видения. Ему отвечали мудрейшие, что виденная им Дева есть Матерь Бога христианского, Защитница русских. "И так, мы не одолеем их", сказал хан Джагатайский, и немедленно велел полчищам своим идти обратно к великому удивлению русских и самих татар. В радости взывали православные к Богоматери: "Не наши войска прогнали его, не наши вожди победили его, но сила Твоя, Мати Божия!" В память столь великого милосердия Божия по молитвам Пресвятой Богородицы, воздвигнут в Москве Сретенский мужской монастырь на Кучковом поле, где чудотворная икона была

встречена в 1395 году при перенесении ее из Владимира в Москву.

(Во Владимирском соборе, вместо перенесенной в Москву, поставлена другая, в меру и подобие подлинной, икона, написанная св. Петром, митрополитом, в бытность его игуменом Ратского монастыря на Вольни.)

Такая же благодатная помощь чудотворной иконы Владимирской явлена была в 1408 году против ордынского царя Едигея, неожиданно подступившего к Москве. Тогда не было в Москве ни князя, ни митрополита, от людей нельзя было ждать помощи; жители столицы не переставали слезными молитвами вопиять к Пресвятой Богородице пред Ее Владимирскою иконою. Едигей готовился уже предпринять осаду Москвы, но в это время получил известие о возмущении в Орде и поспешно удалился от Москвы.

Чрез 50 лет после нашествия Тамерлана, в 1451 г., к Москве подступил ногайский царевич Мазовша с полчищами своего отца. Татары уже зажгли посады Москвы и радовались, что у них будет много пленников и золота. Во время пожара святитель Иона совершал крестные ходы по стенам города. Увидев инока Чудовского монастыря Антония, известного святостию жизни, святитель сказал ему: "Антоний, прилежнее моли Бога о избавлении города". Антоний отвечал: "Ты великий архиерей Божий, и твоей молитвы не презрит Богоматерь, наша скорая Помощница: Она умолила уже Сына Своего спасти город". Москвитяне бились с татарами до ночи и ожидали ночью нового приступа. Но поутру не стало под стенами врагов, ночью они бежали от Москвы, захватив с собою только легкие повозки. По сказаниям летописи, татары слышали вдали необычайный шум и

вообразили, что это великий князь идет на них с многочисленным войском. Мазовша в страхе повернул коня восвояси; его примеру последовали и воины его: все устремились в бегство. А войско великого князя было немногочисленно и стояло далеко. Великий князь указал народу Победительную Воеводу страшных полчищ: он поспешил в храм и, простершись пред Владимирской иконою, со слезами благодарил и славил Небесную Заступницу православных.

Через восемь лет после нашествия Мазовши ополчился на Москву отец его Седи-Ахмет и с гордостью похвалялся поработить всю Россию. Сын великого князя, Иоанн, прогнал его полчища из России. Святитель Иона отнес к заступлению Богоматери разрушение похвальбы Ахмета и устроил в 1459 году придел в похвалу Богоматери в Успенском соборе.

Православная Церковь совершает еще и 23 июня празднование иконы Владимирской, в память избавления России чудесным заступлением Богоматери от ордынского царя Ахмата 1480 году, при великом князе Иоанне III Васильевиче. Ахмат, хан Золотой Орды, шел с громадными полчищами ограбить и разорить Москву. Он достиг уже реки Угры, которую русские называли поясом Богоматери, охраняющим Московские владения. Великий князь, укрепляемый советами и молитвами святителей, приготовился защищать веру и отечество. Оба войска стояли целый день друг против друга в ожидании нападения; река Угра разделяла их. По предстательству Богородицы совершилось дивное избавление нашего отечества: великий князь приказал своим войскам отступить от Угры, желая дожидаться перехода татар, а татары объяснили это отступление тем, что русские заманивают их в засаду, и тоже стали отступать, сперва мед-

ленно, а ночью внезапно напал на них такой страх, что они побежали без оглядки. Избавление от Ахмата было окончательным свержением ига татарского, тяготевшего над Россией 200 лет: не оружие, не мудрость человеческая спасли Россию, но Господь и Его Пречистая Матерь. В благодарность за освобождение России от тяжкого и позорного ига татар установлено в 1480 году 23 июня празднество и в этот день совершается в Москве крестный ход в Сретенский монастырь с Владимирскою иконою Пресвятой Богородицы.

В 21 день мая православная Церковь совершает в третий раз празднество сретению чудотворной Владимирской иконы по двум событиям: первое было в 1514 г. ради поновления иконы Владимирской в доме митрополита Варлаама, почему и установлен был крестный ход из Успенского Собора в Сретенский монастырь 21 мая. С воспоминанием поновления соединено празднование другого исторического события: избавления России заступлением Владычицы в 1521 году от татар крымских, ногайских и казанских, под предводительством Махмет-Гирея, который вторгся в пределы московские с такою быстротою, что великий князь Василий Иоаннович едва успел вывести свои войска на берега Оки, чтоб удержать дальнейшее вторжение врагов. Предав огню селения от Нижнего Новгорода и Воронежа до берегов Москвы-реки, враги взяли в плен множество жителей, женщин и девиц; младенцев убивали, бросая их на землю; продавали толпами пленников в Казани и Астрахани; слабых и старых морили голодом; оскверняли святыни храмов. Под заревом пылающих деревень стоял Махмет-Гирей в нескольких верстах от Москвы и неоткуда было ждать помощи.

В Москве царило смятение, все бежали в Кремль, теснились, давили друг друга; все искали спасения в Кремле и слезные молитвы не прекращались.

В полночь один блаженный, по имени Василий, со слезами молился у дверей Успенского собора. Вдруг молитва его была прервана сильным шумом и ему представилось, что двери невидимою силою растворяются и чудотворная икона Богоматери выходит из своего места и от иконы слышен голос: "Выйду из града с Российскими святителями", и с сим вместе вся церковь наполнилась пламенем, который мгновенно же исчез.

В ту же ночь одна престарелая монахиня Вознесенского монастыря, лишенная зрения, сидя в своей келии, вдруг увидела, что в Спасские ворота идет целый сонм святителей и других светолепных мужей в священных одеждах; а среди их чудотворная икона Богоматери. Но едва вышли они из Флоровских ворот, как встретили их преподобные Сергей Радонежский и Варлаам Хутынский, припали к ногам святителей и спрашивали их: Куда они идут и на кого оставляют город? Святители со слезами отвечали: "Много молили мы Всемилостивого Бога и Пречистую Богородицу о избавлении от предлежащей скорби; Господь же повелел нам не только выйти из города, но и вынести с собою чудотворную икону Пречистой Его Матери; ибо люди презрели страх Божий и о заповедях Его не радели, почему Бог попустил прийти варварскому народу, да накажутся ныне и чрез покаяние возвратятся к Богу". Святые подвижники Сергей и Варлаам стали умолять отходящих святителей, чтобы ходатайством своим умилиствовали правосудие Божие, и вместе с ними начали молитвенно взывать ко Господу и Пречистой Его Матери.

Святители осенили город крестообразно. Икона Богоматери возвратилась опять в Успенский собор. — И заступлением Пречистой Богородицы Москва спасена, а с нею и вся Россия. Летописцы повествуют, что татары хотели было выжечь московские посады, но вдруг увидели вокруг города бесчисленное русское войско и с ужасом возвестили о том хану. Хан не поверил и послал других удостовериться: "И видеша того сугубейшее воинство русское и сказаша ему, и третие посла некоего от ближних уведати истину и трепеща прибежа и вопия: о царю, что косниши? Побегнем; грядет на нас безмерное множество войска от Москвы, и побегоша".

В дни избавления Москвы заступлением Богоматери православная Церковь радостно вопиет пред Ее иконою Владимирскою:

"Днесь светло красуется славнейший град Москва, яко зарю солнечную восприемши, Владычице, чудотворную Твою икону, к ней же мы, ныне притекающе и молящися Тебе, взываем сице: о Пречудная Владычице Богородице, молися из Тебе воплощенному Христу Богу нашему, да избавит град сей, и вся грады и страны христианские невредимы от всех навет вражиих и спасет души наша яко милосерд" (Тропарь, гл. 4).

Не от одних татар избавляла Богоматерь православную Россию: наступили тяжкие времена для России, в которые ей суждено было испытать такие бедствия, каких она не знала и во времена татарщины. Со всех сторон появлялись новые враги: поляки, шведы и крымские татары. Великий князь Феодор Иоаннович чувствовал недостаток сил, чтобы управиться с такими сильными врагами, и обратился к Небесной Заступнице. Татары были уже на Воробье-

вых горах, около Москвы. Великий князь со всем народом и духовенством вопиял к Богородице и, подкрепленный молитвою, вышел с войском своим навстречу врагам; посреди войска поставлена была икона Богоматери. Татары бились с ожесточением целые сутки. Вдруг по рядам их пробежал ужас: невидимая сила возбуждала каждому поднимать меч на русского и внушала им страх: толпами бросились они бежать к своему лагерю и все дальше и дальше, пока не добежали в свою землю, точно какая-то невидимая сила гнала их. На пути много погибло их от меча, от ран и много отведено в плен. Русские понимали, что сила победительная исходила из чудотворной иконы Воеводы Победительной и от этой веры почерпали мужество и искусство, дающие победы.

Поляки и шведы разорвали Россию, отнимали у нее целые области безнаказанно; на престоле православных царей воцарился самозванец, поклонник папского величия, и захотел православный русский народ сделать неправославным. Его слуги ворвались во время литургии в храм Успения и начали срывать священные одежды с патриарха Иова. Патриарх снял с себя панагию, положил ее к иконе Богоматери и сказал: "Здесь, пред сею иконою я удостоен архиерейского сана и 19 лет хранил святость веры; ныне вижу бедствие церкви, торжество обмана и ереси. Мати Божия, спаси Православие!"

Шуйский ополчился против самозванца и у того же самого образа просил себе небесной помощи на защиту Православия. Заступлением Богоматери самозванец низвержен, победа одержана над злом, Россия спасена под защиту Православия, и русский народ, благоговей пред Небесною Заступницею, стремится из рода в род освятить себя поклонением Богома-

тери: чудотворный Ее лик кажется нам не мертвую иконою, а живым изображением Взбранной Воеводы.

После событий, празднуемых церковью в честь Владимирской иконы Богоматери, эта святая икона служила благословением для великих князей во всех важнейших обстоятельствах их жизни; пред Нею подданные их приносили клятву в верности отечеству. Издревле и до настоящего времени православные Всероссийские Монархи принимают священное венчание и миропомазание на царство пред ликом Владимирской иконы в Успенском Московском соборе. Пред выстушением против врагов великие князья и цари молились пред Нею и взирали на Нее, как на Заступницу России. При избрании всероссийских митрополитов и патриархов Владимирская икона Богоматери служила поручительницею и благословением: имена избираемых, запечатанные Царем, полагали в панагии на пелену в киоте Владимирской иконы Богоматери, предоставляя Ей "кого изволит Она Сама выбрать". После молебствия сам Царь или старейший из святителей снимал печать и объявлял собору имя избранного.

При общественных бедствиях святители с молитвою обращались к Владимирской Божией Матери, напр., во время войны, пожара, болезни. Когда сильный пожар истреблял Москву в 1547 г., Владимирскую икону хотели вынести из Успенского храма, но никак не могли сдвинуть ее с места. По словам летописи: "Сама Богоматерь соблюдала не только свой образ, но и церковь и весь мир, покрывая и защищая его". Многие сподобились видеть над Успенским собором Жену в светозарном одеянии, молящуюся и осеняющую храм. Ее милостивым заступничеством

гнев Божий начал утоляться, и пожар утих, не причинив вреда храму.

В несчастиях святители избирали чудотворную икону ходатайницею пред властелинами. В 1698 году, патриарх Адриан ходатайствовал за приговоренных к смертной казни стрельцов пред императором Петром I, держа в руках Владимирскую икону Богоматери. Пред изгнанием поляков из Москвы Пожарским и Мининым, русские воины и народ вопияли: "Лучше нам умереть, нежели предать на поругание Владимирскую икону Пречистой Богородицы". При нашествии французов на Россию в 1812 г., икона Владимирская, по Высочайшему повелению, отправлена была во Владимир 2 сентября. По прибытии во Владимир святую икону ежедневно носили крестным ходом по городу. Из Владимира преосвященный Августин отправился с иконою в Муром, а оттуда 20 октября возвратился с нею в Москву.

Владимирская икона Богоматери стоит в Московском Успенском соборе, по левую сторону царских врат в створчатом киоте, вышиною 1 аршин 7 вершков, шириною с небольшим 15 вершков. Риза на иконе из чистого золота, древней греческой работы, с драгоценными камнями*.

* В настоящее время чудотворная икона Божией Матери Владимирская отнята у Православной Церкви и находится в фондах Третьяковской галереи. — Изд.

КАЗАНСКАЯ

Вместе с покорением Казани владычеству русских — и даже еще ранее — посеяны были здесь первые семена христианства; но доброе семя не вдруг принесло плод свой: много еще пролито крови, много положено трудов и молитвенного пота первыми просветителями Казани, чтобы возделать землю неверных в ниву Божию! Многоскорбное было то время для подвижников Христовых; доходило даже до ослабления христианства пред магометанством от недостатка людей крепких духом и словом. Необходима была помощь высшая, и Господь, Промыслитель о Своих избранных, явил силу Свою в явлении чудотворной иконы Пречистой Матери Своей.

В 1579 году Казань пострадала от пожара, который, начавшись 28 июня близ церкви св. Николая Тульского, истребил часть города, прилегавшую к Кремлю, окрестные посады и, перейдя в Кремль, обратил половину его в пепел. В пожаре видели гнев Божий на христиан: "И вера Христова — говорит летописец сделалась притчею и поруганием".

Христиане принесли покаяние, и Господь явил им человеколюбие Свое. На вержение камня от того места, где начался пожар, стоял дом одного стрельца, сгоревший вместе с другими. Когда стрелец намеревался приступить к постройке нового дома на пепелище, девятилетней дочери его Матроне явилась во сне Божия Мать и повелела возвестить духовным и светским сановникам города, чтобы они взяли икону Ее из недр земли, и указала ей место на пепелище сгоревшего дома, где икона скрывалась. Девица сначала никому не объявляла о виденном, потом открыла матери своей, которая не обратила внимания

на сон ребенка. После третьего видения Матрона со слезами говорила матери: "Я видела во сне икону Богородицы, от лица которой происходило ужасное пламя и прямо на меня, будто готовое сжечь меня, и слышала я голос: "Если ты не поведешь глаголов Моих, то Я явлюсь в другом месте, а ты погибнешь". Мать на этот раз послушалась просьбы дочери и ходила с нею к воеводам и архиепископу Иеремию и заставляла дочь рассказывать им о бывших ей явлениях Богородицы; но никто не хотел верить рассказам ребенка. Возвратившись домой в 12 часу дня 8 июля, мать сама взяла заступ и начала рыть землю в указанном дочерью месте; вскоре к ней присоединились и другие, взрыли все место и ничего не нашли. Тогда Матрона сама взяла заступ и стала рыть то место, где была в их доме печь, и скоро обрела искомое сокровище: показалась икона Пресвятой Богородицы, завернутая в рукав ветхой одежды из сукна вишневого цвета, но светлая, без малейшей порчи, точно только что написанная.

Немедленно устремилось бесчисленное множество народа к обретенной иконе, все молились и спешили приложиться к ней. О дивном обретении известили архиепископа и градоначальников. Архиепископ совершил крестный ход к явленной иконе и с великою честью препроводил ее в ближайший храм св. Николая Тульского, в котором был священником Гермоген, впоследствии патриарх, и здесь было совершено молебствие пред иконою. После молебствия икона с торжеством была отнесена в Благовещенский собор и здесь на пути явила первое чудо, исцелив слепца Иосифа, три года ничего не видевшего, а по принесении ее в собор другой слепец, Никита, получил исцеление.

Обретенная икона, как оказалось впоследствии, была список с чудотворной иконы Богородицы, написанной св. евангелистом Лукою, и от царицы Евдокии, супруги императора Феодосия, пересланный из Иерусалима в Константинополь царице Пульхерии, которая и поставила его во Влахернском храме в Константинополе. Замечательно, что и Влахернская икона Богородицы названа *Одигитриею* потому, что Божия Мать явилась во сне двум слепцам и указала им путь во Влахернскую церковь, где они получили прозрение пред Ее св. иконою. И впоследствии при Казанской иконе чаще всего был врачуем недуг слепоты.

Архиепископ и градоначальники, сняв с нее список и изложив обстоятельства ее явления и чудеса, послали в 1579 г. к царю Иоанну Васильевичу IV, который на месте обретения иконы приказал построить храм во имя новоявленной иконы, устроить женский монастырь для сорока инокинь и здесь поставить икону. Матрона, обретшая святыню, приняла монашеское пострижение с именем Мавры, была первою инокинею, а потом и настоятельницею сего монастыря. Спустя немного времени по основании первой церкви, была воздвигнута новая во имя Пресвятой Богородицы с трапезною, а на содержание монастыря дано сто душ.

В 1594 году, по повелению царя Феодора Иоанновича, заложен был большой каменный храм во имя Успения Пресвятой Богородицы и освящен митрополитом Гермогеном в 1595 году. Тогда же был увеличен штат инокинь до 64, монастырь украшен богатыми иконами, ризами и прочею утварью; чудотворная икона обложена золотом, драгоценными камнями и жемчугом из царских сокровищ. Императрица Ека-

терина, слушавшая литургию в Казанском девичьем монастыре, украсила венец чудотворной иконы Богоматери и местного образа Спасителя бриллиантовыми коронами.

Через двести лет основанный при Гермогене храм пришел в крайнюю ветхость, почему при императрице Екатерине II был составлен новый план храма, для сооружения которого выдано, по повелению императрицы, 25 000 р. Ровно через 201 год после построения прежний храм был разобран до основания и заложен новый в 1798 году 30 мая в присутствии императора Павла Петровича и великих князей Александра и Константина Павловичей. Храм был dokonчен и освящен в 1808 г. 30 мая.

*

Чудотворная икона Казанской Богородицы явилась в 1579 году 8 июля, спустя 25 лет по взятии Казани. До 1612 года она была чтима только местно в Казани, и празднование сей иконе совершалось 8 июля, в день ее обретения.

В 1612 году 22 октября, при сражении русских с поляками в Москве, список сей иконы находился у князя Д. М. Пожарского. Молитвами и заступлением Пречистой Владычицы по вере вождя русских воинов к чудотворной Ее иконе московское государство от поляков было очищено; тогда царь Михаил Федорович в память сего события установил празднество в Москве Казанской Божией Матери два раза в год: в день обретения иконы 8 июля и в день очищения Москвы от поляков 22 октября, с учреждением двух крестных ходов из Успенского собора во Введенскую церковь, где князем Пожарским поставлен был вер-

ный список с чудотворной иконы Казанской, украшенный им многими драгоценностями. Со времени восшествия на престол Михаила Федоровича Казанская икона сделалась семейною в царском роде.

Но до 1649 года праздник в честь Казанской иконы был совершаем, кроме Казани, только в Москве. В сем же году царь Алексей Михайлович, обрадованный рождением сына Димитрия в 1648 году 21 октября во время всенощной на праздник Казанской иконы установил 22 октября праздновать по всей России в благодарение Богу и Пресвятой Богородице.

Чудотворная икона Богородицы перенесена из Казани в Москву в 1539 году, в царствование Иоанна Васильевича, где и оставалась до 1721 года, когда, по воле императора Петра I, была перенесена в Санкт-Петербург и поставлена во временной каменной церкви на месте нынешнего Андреевского собора, что на Васильевском острове, а оттуда вскоре перенесена в Троицкий собор, что на Петербургской стороне.

Императрица Анна Иоанновна соорудила деревянный храм в честь Рождества Богородицы на Невском проспекте близ нынешнего Казанского собора, куда в 1737 году и перенесена чудотворная икона, украшенная императрицею драгоценными камнями. Со времен же императора Павла I храм этот именовался уже Казанским собором.

В 1811 г., по сооружении нынешнего Казанского собора в царствование императора Александра I, в день освящения храма, 15 сентября перенесена сюда и чудотворная икона в присутствии всей Высочайшей фамилии митрополитом Амвросием и поставлена в иконостасе по левую сторону царских врат в главном приделе. Усердием императриц Марии Феодоровны и Елисаветы Алексеевны тогда же прибавлено на

сию икону много драгоценных камней и жемчугу, а от великой княгини Екатерины Павловны прислан в дар редкой величины синий яхонт.

По народному верованию, Казанской иконе Богоматери молятся об избавлении от слепоты.

Икона Казанской Богородицы участвует во всех крестных ходах в столице и сделалась общею святынею всей России.

Явление Казанской иконы, как уже сказано, установлено праздновать 8 июля, в день ее обретения, и 22 октября в память избавления Москвы от поляков.

*

Тропарь (глас 4): Заступнице Усердная, Мати Господа Вышняго! За всех молиши Сына Твоего Христа Бога нашего, и всем твориши спастися в державный Твой покров прибегающим. Всех нас заступи, о Госпоже Царице и Владычице, иже в напастех и скорбех и в болезнях, обремененных грехи многими, предстоящих и молящихся Тебе умиленною душею и сокрушенным сердцем пред Пречистым Твоим образом со слезами, и невозвратно надежду имущих на Тя, избавление всех зол, всем полезная даруй, и вся спаси, Богородице Дево: Ты бо еси божественный покров рабом Твоим.

СМОЛЕНСКАЯ—ОДИГИТРИЯ

Смоленская икона Божией Матери, по сказанию предания, написана св. евангелистом Лукою. О древности этой иконы в России сказания различны: одни

говорят, что эта икона была благословением на путь в Россию царевны Анны, сестры греческого императора Василия и супруги св. князя Владимира; но другие удостоверяют, что император греческий Константин Порфирородный, выдавая дочь свою, царевну Анну, в 1046 году за черниговского князя Всеволода Ярославича, благословил ее иконою в путь. По этой причине икона и названа Одигитрия – Путеводительница. По наследству она досталась сыну Всеволода Владимиру Мономаху, а Владимир Мономах перенес ее в Смоленск и поставил в соборном храме Успения Богородицы, который он выстроил в 1101 году. С того времени икона называется Смоленскою. На сей иконе Богоматерь изображена по пояс. Правая Ее рука покоится на груди, а левая держит Предвечного Младенца со свитком в левой руке и с благословляющею десницею. Цвет верхней одежды Богородицы темно-кофейный, нижней – темно-синий; а одежда Богомладенца темно-зеленая с позолотою. Доска, на которой икона написана, очень тяжела и от времени так изменилась, что трудно узнать, из какого она дерева. Длина ее 1 аршин и 2 вершка, ширина 3 четверти и 2 вершка; она загрунтована на клею мелом и оклеена холстом.

В 1237 году полчища Батыевы, разоряя Россию, подступили к Смоленску; жители ничего не знали о внезапном нападении и не были готовы к защите. Сама Одигитрия была неодолимою Воеводою беззащитного города. Ночью в соборном храме, где стоит чудотворная Ее икона, церковный сторож услышал от Нее повеление объявить войну Меркурию, жителю Смоленска: "Меркурий! изыди скоро в броне воинской, ибо тебя зовет Владычица". Меркурий пришел в храм, пал пред иконою и услышал голос: "Угодник

Мой Меркурий, посылаю тебя оградить дом Мой. Властитель ордынский втайне хочет в нынешнюю ночь напасть на город Мой со всею своею ратью и с исполином своим, на силу которого возлагают свои надежды, чтоб опустошить город, но Я умолила Сына и Бога Моего о доме Моем, да не предаст его в работу вражескую. Изыди в сретение врага, втайне от народа, святителя и князя, неведущих о нападении татар, и силою Христа Бога победишь исполина. Сама Я буду с тобою, помогая рабу Своему; но там вместе с победою ожидает тебя венец мученичества, который прими от Христа". Со слезами поклонился Меркурий до земли св. иконе Богоматери и вышел из храма и града. Призывая на помощь Божию Матерь, Меркурий проник в средину врагов и убил исполина ратного и потом перебил множество врагов; но, утомившись, лег отдохнуть. Татарин, увидев его спящим, отрубил ему голову. Меркурий кровью своею запечатлел подвиг свой. Его погребли в соборной церкви, а в память его мужества воздвигли за Молоховскими воротамиobelisk. Церковь причла Меркурия к лику святых.

В 1398 году во время нашествия Тамерлана на южные пределы России, иконою Смоленской Божией Матери Витовт благословил дочь свою Софию, супругу князя Василия Димитриевича, бывшую в Смоленске для свидания с отцом, и ею перенесена была икона из Смоленска в Москву и поставлена в Благовещенском соборе. В 1456 году в царствование великого князя Василия Васильевича Темного смоленский епископ Мисаил и многие почетнейшие граждане, прибывшие в свите от польского короля Казимира в Москву к великому князю, просили его отпустить их икону в Смоленск. Великий князь после долгих

совещаний с духовенством и боярами решил, что нельзя держать в плену Владычицу мира, и приказал, сняв с нее список, поставить его в Благовещенский собор, а чудотворную икону отпустить в Смоленск. На отпущение иконы совершили торжество. После литургии и по совершении молебствия митрополит и все духовенство с крестным ходом в сопровождении великого князя с семейством, войска и многочисленного народа со слезами провожали икону Владычицы за город до бывшего тогда в предместье Москвы Саввина монастыря. На этом месте, в 1524 г., при великом князе Василии Ивановиче, построен Ново-Девичий монастырь, в память взятия Смоленска и присоединения к российской державе. В этом монастыре поставили икону, списанную с Смоленской Одигитрии, и на 28 июля установили празднество с крестным ходом в честь чудотворной иконы и в возблагодарение за возвращение Смоленска от Литвы.

В 1666 году смоленский архиепископ Варсонофий по царскому указу возил в Москву две смоленские чудотворные иконы Одигитрии для подновления потемневшей от времени живописи. Из этих икон одна стоит поныне в Смоленском Успенском соборе, а другая, написанная в 1602 году, поставлена в церкви над днепровскими воротами: первоначально она находилась в днепровской башне городской стены Смоленска, но в 1727 году, некто Длотовский испросил позволение построить над воротами на свое иждивение церковь во имя Рождества Богородицы, чтобы в этой церкви и была поставлена икона Одигитрии, покровительницы Смоленска. Через два года была построена церковь. Строитель постился, исповедовался и в день освящения приобщился св. тайн. После приобщения он подошел к иконе Одигитрии, со

слезами радости, в чувстве благодарения и духовного восторга пал пред Нею на колени, сложил руки крестообразно, преклонил главу до земли и скончался.

В 1802 году вместо деревянной была поставлена каменная церковь.

В нашествие Наполеона в 1812 году, при оставлении 5 августа нашими войсками Смоленска, чудотворная икона из церкви над воротами была взята артиллерийскою ротою (полков. Глухова) и с того времени оставалась при полках 3-й пехотной дивизии (А. П. Ермолова), которая во всех делах против неприятеля сохраняла эту икону в своих рядах. Накануне Бородинской битвы икону носили по лагерю, чтоб укрепить молитвою воинов Христовых к великому подвигу. По одержании каждой победы над неприятелем пред нею приносились благодарственные молебствия. Войска с благоговением видели среди себя икону Божией Матери и Ее почитали драгоценным залогом помощи от Всевышнего. Когда Всемогущий благословил оружие российское и Смоленск был очищен от врага, чудотворная Смоленская икона Богородицы была по воле военачальника князя М. И. Кутузова возвращена в Смоленск ровно чрез три месяца отсутствия и поставлена на прежнем месте. С иконою посланы были в Смоленск многие вклады и приношения для нее: 1810 р. ас., 5 червонных золотом и пуд серебра, отнятого у неприятеля. Икона прибыла в Смоленск 5 ноября. С того времени установлено 5 ноября ежегодно праздновать изгнание врагов из отечества помощью и заступлением Пресвятой Богородицы.

А древнейшая чудотворная икона, стоявшая в соборной церкви в Смоленске, вынесена была преос-

вященным Иринеем пред Бородинской битвой и принесена в Москву в сопровождении многих из жителей Смоленска. Из Москвы вышли многочисленные толпы народа и духовенство с крестным ходом для встречи чудотворной иконы, которая чрез четыре века вновь посетила Москву, и поставили ее в Успенском соборе на поклонение народу. Толпы православных, собравшихся на улице при виде иконы Богородицы падали на колени и со слезами вопияли к Ней: *Мати Божия, спаси нас*. Больные и раненые воины лежали в Лефортовском дворце: туда отправилось духовенство с чудотворными иконами Иверскою и Смоленскою. Трудно изобразить чувства, выразившиеся на лицах многострадальных воинов, когда они встречали святыню. Забыв свои раны, прекратив свои стоны, они с умилением и слезами радости взирали на святые иконы. Среди страдальцев совершенно было молебное пение и водосвятие: они с усилием оставляли свое скорбное ложе и, лишенные ног, ползли или тащились на костылях, чтоб приложиться иконам Небесной Заступницы.

Церковь молится пред Смоленскою иконою Божией Матери, да избавит нас от многих бед. В XVI веке, когда установлен был праздник в честь этой иконы, как в XV веке, тяготели над Россиею многие тяготы и от внешних врагов — от татар и поляков, и от внутренних междоусобий, и от унии и еще многие другие беды и напасти, особенно в 1812 году бывшие, — кто бы нас избавил, кто бы сохранил нас доныне свободными, если бы не предстояла Владычица-Заступница наша? Церковь с умилением вопиет к Ней:

Тропарь (глас 4): К Богородице прилежно ныне притецем грешнии и смиреннии и припадем в покая-

нии, зовуще из глубины души: Владычице, помози на ны милосердовавши, потщися, погибам от множества прегрешений, Тя бо едину надежду имамамы. Не умолчим никогда, Богородице, силы Твоя глаголати недостойнии. Аще бо не Ты предстояла молящи, кто бы нас избавил от толиких бед; кто же бы сохранил доныне свободны; не имамамы иныя помощи, не имамамы иныя надежды разве Тебе, Владычице.

„ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ”

С 1643 года сия икона находилась в Москве, в храме Преображения Господня и прославилась чудотворениями с 1688 года в царствование царей Иоанна и Петра Алексеевичей, когда совершилось от нее чудесное исцеление родной сестры патриарха Иоакима, Евфимии. Она страдала долгое время тяжелою раною в боку, так что внутренности были видны. Потеряв надежду на выздоровление, она приготавлилась к смерти и просила причастить ее св. Таин, усердно призывая на помощь Спасителя и Божию Матерь. После этого она впала в глубокий сон, который продолжался более полусуток. Проснувшись, она сказала, что Господь посетил ее во сне и что она слышала голос, что во храме Преображения Господня есть образ Всех Скорбящих Радость: ”Призови к себе с этим образом священника, отслужи молебен с водосвятием и получишь исцеление от своей болезни”. Пришедши в себя от потрясения, в котором находилась после такого чудесного откровения, Евфимия настойчиво просила к ней эту икону. Усердно она молилась пред святою иконою и, когда ее окропили святою водою и больная приложилась к ней, мгновенно почувство-

вала она себя исцеленною и сама встала с постели. Пораженные таким чудом все присутствовавшие завопиали: *Владычице, прими молитвы раб Твоих и избави нас от всякия нужды и печали.* Это чудо совершилось 24 октября, почему и празднество святой иконе установлено на 24 октября. После этого все болящие, немощные и скорбящие стали прибегать с усердными молитвами к чудотворной иконе и по вере своей получали исцеление и помощь.

В 1711 году, когда царскую резиденцию положено было перевести из Москвы в С.-Петербург, родная сестра императора Петра I, царевна Наталия Алексеевна, по чувству особенного благоговения к чудотворной иконе Всех Скорбящих Радость, перевезла ее в числе прочих святынь из Москвы и поставила в домово́й церкви Воскресения Христова, устроенной в комнатах дворца Петром I в память спасения его от опасности при р. Пруте и заключения мира с турками. При своем дворце царевна Наталья устроила два первые в С.-Петербурге богоугодные заведения: богадельню для престарелых и убогих женщин, существовавшую до 1780 года, и больницу для бедных. По кончине сестры своей Наталии в 1716 году Петр I положил в ее дворце основание воспитательному дому, повелев богаделенным женщинам воспитывать сирот и, главное, подкидышей. В комнате между алтарем и царевниными покоями была устроена временная чертежная Петра Великого, где он работал во время посещений своей любимой сестры.

В царствование императрицы Елисаветы Петровны воздвигнут на том же месте каменный храм и освящен 24 октября по имеющемуся в нем чудотворному образу в честь Божией Матери Всех Скорбящих Радость. Впоследствии эта церковь была обращена в

приходскую, которую часто посещала Екатерина II и усердно молилась пред чудотворною иконою Богородицы Всех Скорбящих Радость, имея к ней благоговейное почитание, в особенности с тех пор, как в С.-Петербурге свирепствовала оспа, угрожавшая жизни наследника престола Павла Петровича.

На поклонение чудотворной иконе со всех сторон стекаются верующие в великом множестве. К ней прибегают для молитвы все особы царского семейства. С самых времен Петра I чудотворная икона чествовалась и доселе чествуется благоговейно всеми русскими — и народом и правителями его. Источник исцелений от чудотворной иконы Божией Матери изливается обильно на всех прибегающих к Ней с молитвою веры, смирения и надежды.

Царевна Наталья, питая глубокую веру и благоговение к Пресвятой Богородице, обложила чудотворную икону серебро-позлащенной ризою, украсила ее жемчугом и драгоценными камнями. К украшениям вещественным благочестивая сестра Петра Великого приложила и украшения благодати: частицы мощей некоторых святых угодников и другие священные драгоценности, переходившие из рода в род и доставшиеся ей по наследству. В царствование Екатерины II серебро-позлащенная риза царевны Наталии была заменена другою, более прочною, серебро-позлащеною же, на которую были перенесены со старой ризы все драгоценные украшения. Венец и сияние на ней были бриллиантовые с двумя таковыми же коронами и с камнями под сапфир, устроенные в 1816—1817 годах усердием графини Ек. Ад. Головкиной. Средины ризы была вынизана жемчугом; вокруг солнечного сияния разложена была бриллиантовая с аметистами цепь, пожертвованная графом Шереметьевым.

Чудотворная икона находится в отдельной нише по правую сторону иконостаса, на возвышенном пьедестале, в резном и позолоченном киоте, вставленном в бронзовую позолоченную раму с зеркальным стеклом.

Святая икона писана на кипарисной доске, на наложенном поверх ее загрунтованном холсте. Божия Матерь изображена во весь рост с Предвечным Младенцем на левой руке. С обеих Ее сторон помещена следующая надпись: *Тя, исплетшую мируи венец, песнословим! Радуйся, лествице небесная, по ней же сниде Бог! Радуйся, неувядаемая розго!*

К чудотворной иконе Всех Скорбящих Радость прибегают не только православные, но и лица других исповеданий. Самый храм с раннего утра до позднего вечера остается незапертым; никому не возбраняется прибегать к Матери скорбящих, немощных и болящих и призывать Ее заступление и ходатайство в болезнях и печалях. *Призри благосердием, всепетая Богородице, на мое лютое телесе озлобление и исцели души моя болезнь.*

*

Тропарь (глас 2): Всех скорбящих радость и обидимых заступница, алчущих питательница, странных утешение, обуреваемых пристанище, больных посещение, немощных покров и заступление и жезл старости Ты еси, Мати Бога вышняго, Пречистая. Потщися, молимся, спастися рабом Твоим.

„НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ”

В Москве находятся три чудотворные иконы Нечаянной Радости: 1) в церкви Благовещения у Кремлевской стены близ Тайницких ворот, 2) в церкви Феодора Стратилата почтового ведомства, и 3) в церкви Неопалимая Купина близ Девичьего Поля. Ко всем иконам Нечаянной Радости верующие во множестве прибегают и получают утешение и исцеление в недугах.

Изображение иконы Нечаянная Радость следующее: в комнате, вверху — икона Божией Матери, а внизу пред иконою коленопреклоненно молящийся юноша. В книге ”Руно орошенное” [свят. Димитрия Ростовского] так описывается проявление благодатной силы сей иконы:

”Эта икона находилась в доме одного грешника, который не утратил привычки ежедневно молиться пред нею словами Архангельского целования: Радуйся, Обрадованная! Однажды, хотящу ему ити к скверному беззаконию, обратися к образу Пресвятыя Богородицы, да первее совершит моление, посем да идет, и абие нападе на него страх и быв во ужасе, видит образ движущься, и се жива Богородица с Сыном, на руку держимым; отверзошася же язвы Младенца в руках и ногах и боку, и се течаше кровь потоками, яко же на кресте. Сие человек виде, паде от страха и возопи: о, Госпоже, кто сия сотвори? Отвеща Богородица: ты и прочии грешницы грехами Сына Моего распинаете, яко иудеи. И рече грешник: помилуй мя Мати милосердия! Отвеща Богородица: Матерь милосердия Мя нарицаете, скорби же мя исполняете. Грешник рече: ни, Владычице, да не преодолет моя злоба Твоя

неизреченная благодати. Ты бо еси всем грешным надежда. Умоли о мне Сына Твоего, Отца моего. Тогда Преблагословенная Матерь нача молити Господа: Благоутробне Сыне Мой, любви ради Моея помяни сего грешника и прости вся дела его елико содея. И тако скончася видение". И божественный голос заставил грешника раскаяться и получил он нечаянную радость от иконы Пресвятой Богородицы, спасшей его от вечной гибели.

Чудотворная икона *Нечаянная Радость* в церкви Неопалимой Купины прославилась в 1838 году; одна женщина, страдавшая сильною глухотою, так что не могла слышать ни церковного пения, ни колокольного звона, пришла в церковь и усердно молилась пред сею иконою и получила исцеление. День празднования этой иконы в неделю всех святых, а также 9 декабря.

*

Тропарь (глас 4): Днесь вернии людие духовно торжествуем, Заступницу рода христианскаго прославляюще, и ко Пречистому Ея образу притекающе, взываем сице: О, премилостивая Владычице Богородице, подаждь нам нечаянную радость, обремененным грехи и скорбьми многими, и избави нас от всякого зла, молящи Сына Твоего Христа Бога нашего, спасти души наша.

Преп. С и м е о н Новый Богослов

ДЕЯТЕЛЬНЫЕ И БОГОСЛОВСКИЕ ГЛАВЫ

Вера есть (быть готову) умереть Христа ради за заповедь Его, в убеждении, что такая смерть приносит жизнь, — нищету вменять в богатство, худость и ничтожество в истинную славу и знаменитость, и в то время как ничего не имеется, быть уверену, что всем обладаешь, — особенно же (она есть) стяжание неисследимого богатства познания Христа и взирание на все видимое, как на прах или дым. [...]

Когда же мужественно будешь отказываться от всех удовольствий житейских и держать себя чуждым всякого утешения, тогда демоны, возбудив сострадание в родных, заставят их плакать и рыдать о тебе пред лицом твоим. Что это истинно так есть, сие познаешь из того, что, когда ты останешься непоколебим и при этом искушении, то тотчас увидишь, как родные твои возгорятся яростью и ненавистью против тебя, отвратятся от тебя как от врага и смотреть на тебя хотеть не будут. [...]

Когда демоны, сделав все со своей стороны, не успеют расстроить наше по Богу намерение, или

Из книги: "Слова преп. Симеона Нового Богослова". В пер. на русский язык с новогреческого Епископа Феофана. Вып. второй. М. 1890.

воспрепятствовать исполнению его, тогда привходят они в притворяющихся благочестивыми (братий), и посредством их покушаются воспрепятствовать начавшим уже подвизаться в добрых подвигах их. И во-первых, будто любовью и состраданием движимые, советуют им не чуждаться телесных утешений, чтоб и тело, говорят, не изнемогло и самим не впасть в уныние. Потом, вызывая их на бесполезные беседы, целые дни попусту проводить в них заставляют. Затем, если кто из ревностных послушает их советов и станет подобен им, то они начинают смеяться над тем, будто радуясь его гибели; если же не послушает их слов, но сохранит себя чуждым всего, себе внимающим и бездерзновенным (скромным и робким пред всеми), то подвигаются на зависть и вооружаются против него, употребляя все способы, чтобы изгнать его даже из монастыря; ибо для бесчестного тщеславия несносно видеть, как у него пред глазами хвалят истинное смирение. [...]

Благорасположенно любящий тех, которые его поносят и обижают, и причиняют ему ущерб, и молящийся о них в короткое время достигает великого преуспевания. Ибо когда так бывает в чувстве сердца, тогда это благонастроенного сим образом вводит в бездну смирения и изводит из него источники слез, в которых погружается вся троечастность души (т. е. разумная, желательная и раздражительная ее силы), — возводит ум на небо бесстрастия и делает его созерцательным, — вкушением же тамошних благ располагает вменять в уметы все блага настоящей жизни, и самую пищу и питье принимать не в сладость и не так часто. [...]

Что покров, на глаза наложенный, то помыслы мирские и воспоминания житейские для ума, или ока

души. До тех пор, пока попустим им быть, ничего не увидим; когда же изгоним их памятью о смерти, тогда узрим свет истинный, просвещающий всякого человека, грядущего в мир. [...]

Невозможно и плоть наполнять досыта брашнами, и духовно наслаждаться умными и божественными благами. Ибо в какой мере кто работает чреву, в такой лишает себя вкушения духовных благ; напротив, в какой мере кто станет утончать тело свое, соразмерно с тем будет насыщаем пищу и утешением духовными.

Оставим все земное, — не богатство только и золото, и другие вещи житейские, но и самое похотение к ним совершенно изгоним из душ наших. Возненавидим не только удовольствия тела, но и бессловесные движения его, и постараемся умертвить его трудами и подвигами: ибо через него возбуждаются похоти и приводятся в дело. И пока оно живо, по всей необходимости душа наша бывает мертвою, — трудноподвижную, или и совсем неподвижную на всякую заповедь Божию. [...]

Противоречивый подобен тому, кто произвольно предается противникам царя своего, врагам. Противоречие есть удочка, имеющая затравую правдословие (защиту правды, себя-оправдание, самозащиту), которым будучи прельщаемы, проглатываем мы удочку (крючок удильный) греха. Так обыкновенно похищается такая бедная душа за язык и гортань духами злобы. И то воздымается горё, то погружается в хаотическую бездну греха и осуждается вместе с ниспадшими с неба.

Кто, будучи бесчестим или досаждаем, сильно болит от этого сердцем, о том ведомо да будет из сего, что он носит древнего змия в недрах своих. Если он

станет молча переносить наносимое ему, или противоотвечать с великим смирением, то сделает змия сего немощным и расслабленным (и совсем убьет). А если будет противоречить с горечью и говорить с дерзостью, то станет придавать силы змию — изливать яд в сердце свое и немилосердно пожирать внутренности свои; так что змий тот, будучи таким образом каждодневно усиливаем, поглотит, наконец, самое намерение бедной души его исправить себя и держать исправною в добрых порядках жизни, и силу к тому отымет. И станет таковой после сего жить в греху и совсем мертвым быть правде.

Если захочешь отречься от мира и научиться евангельскому житию, то отдай себя не неопытному и не нечуждому страстей учителю, чтоб вместо евангельского дьявольскому не научиться житию. Ибо у добрых учителей и уроки бывают добрые, у худых — худые; от худых же семян и произростания бывают всегда худые.

Молитвами и слезами умоли Бога послать тебе руководителя бесстрастного и святого. Исследуй и сам Божественные Писания, и особенно деятельные писания св. отцов, чтобы, с ними сличая то, чему учат тебя учитель и настоятель, мог ты, как в зеркало, видеть, насколько они согласны между собой, — и затем согласное с писаниями усвоить и удерживать в мысли, а не согласное — рассудив добре — отлагать, чтоб не прельститься. Ибо знай, что во дни сии много явилось прелестников и лжеучителей.

Всякий невидящий (слепой духовно), если берется руководить других, есть прелестник, и последующих ему ввергает в ров пагубы, по слову Господа: "... если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму" (Мф. 15, 14). [...]

Кто во внутреннем своем умном или духовном человеке не облекся во образ Господа нашего Иисуса Христа, небесного человека и Бога, с чувством и сознанием, тот кровь только есть и плоть, и не может посредством слова только воспринять чувство духовной славы, подобно тому, как и слепые от рождения не могут познать, что такое есть свет солнца, из слов только о нем. [...]

Бог от нас, человеков, не требует ничего другого, кроме одного того, чтобы мы не грешили. Но это не есть исполнение закона, и только ненарушимое хранение образа и горнего достоинства, в коих стоя по естеству и нося светло-осиянную одежду Духа, мы пребываем в Боге и Он в нас, бываем по благодати богами и сынами Божиими и знаменуемся светом познания Бога (по слову: "Яви нам свет лица Твоего, Господи", Пс. 4, 7). [...]

Кто стяжал чистое сердце, тот победил страхование. А кто еще очищает его, тот иногда побеждает его, и иногда сам бывает побежден им. Кто же совсем не подвизается (о сей чистоте), тот *или* всеконечно ниспал в состояние нечувствия и, как друг страстей и бесов, при тщеславии болезнует еще и сомнением, "...почитает себя чем-нибудь, будучи ничто..." (Гал. 6, 3), *или* есть раб, преданный в руки страхования, и, как младенчеству уму, трепещет и боится страха там, где для боящихся Бога нет страха, ни страхования.

Боящийся Бога не боится устремления против него бесов, ни их немощных нападений, равно как и угроз злых людей, но, будучи весь как пламень некий и огонь палящий, когда даже проходит по скрытым и неосвященным местам, обращает в бегство демонов, которые больше, чем он от них, бегут от него,

чтобы не быть опаленными от исходящего из него пламеневидного луча божественного огня.

Кто проникнут страхом Божиим, тот не боится обращаться среди злых людей. Имея внутри себя страх Божий и нося непобедимое оружие веры, он силен бывает на все и может делать даже то, что многим кажется трудным и невозможным. Он ходит среди них, как гигант среди обезьянок, или лев рыкающий среди псов и лисиц, уповая на Господа, твердостью мудрования своего изумляет их, ужасает смыслы их, поражая их словами премудрости, как жезлом железным. [...]

Смотри не разори своего дома, желая построить дом ближнего. Трудное это дело и неудобь исполнимое; почему поопасись, как бы не случилось, что взявшись за это, ты дом свой разорить разоришь, но и того дом построить отнюдь не можешь. [...]

Не сделавшийся бесстрастным не знает даже, что есть бесстрастие, и не верит, чтоб был кто-либо такой на земле. Ибо тому, кто сам не отвергся прежде себя и крови своей усердно не истощил за эту, воистину блаженную, жизнь, — как подумать, что другой кто сделал это, чтоб стяжать бесстрастие? Таким же образом и тот, кто мнится иметь Духа Святого, ничего не имея, когда слышит, что действия Духа Святого явно познаваемы бывают в тех, кои имеют Его, никак тому не верит, равно как и тому, что есть кто-либо в настоящем роде равный Апостолам Христовым и всем от века святым, подобно им движимый и воздействуемый Божественным Духом, или в видении Его бывающий, с сознанием того и чувством. Ибо всякий по собственному своему состоянию судит и о том, что касается ближних, — по тому, т. е., каков сам, по добродетели ли сказать, или по грехам. [...]

На всех верных должны мы смотреть, как на одного, и думать, что в каждом из них пребывает Христос, и такое любовное иметь к нему расположение, чтоб быть готовыми положить за него души свои. Отнюдь не должно нам говорить или думать, что кто-либо зол, но всех видеть добрыми, как сказано. Хотя увидишь кого боримым страстями, не брата, а страсти ненавидь, борющие его. А когда увидишь такого, над которым тиранствуют похоти и недобрые привычки, имей к нему еще большее сострадание, чтоб иначе и самому не быть искушену подобно ему, — как изменчивому и состоящему под влиянием изменчивого вещества. [...]

Как тот, кто на пламень разженной печи набрасывает земли, угашает оный, так и житейские попечения и всякий вид пристрастия к чему-либо, даже последнему и ничтожному, истребляет возжегшуюся в начале теплоту сердца. [...]

Всякому, начавшему жить по Богу, полезен страх мук и порождаемая им болезнь сердца. Кто же без такого болезнования и без таких уз страха думает положить начало (доброй жизни), тот не на песке только полагает основание своих деяний, но мечтает построить дом на воздухе без основания, что, конечно, невозможно. Между тем болезнование то скоро порождает всякую радость, узы сии разрывают узы всех грехов и страстей, и палач сей не смерти, а вечной жизни бывает виновником.

Кто не станет уклоняться и бегать сердечного болезнования, порождаемого страхом вечного мучения, но будет последовать ему произволением сердца (следовать с ним по доброму пути, или последовать решениями произволения с сочувствием сердца тому, что внушает оно со страхом) и по мере успеха все бо-

лее и более стягивать себя узами его, — тот поспешнее будет шествовать. Оно представит его и пред лице Царя царствующих. И когда сие будет, тогда — лишь только воззрит он, еще не так ясно, на славу Его, тотчас разрешатся узы его, страх-палач далеко отбежит от него и сердечное болезнование его преложится в радость, которая сделается в нем живым ключом или бьющим источником, источающим всегда чувственно реки слез, а духовно — тишину, кротость и неизреченное услаждение, но при этом — и мужество с готовностью свободно и невозбранно теши ко всякому исполнению заповедей Божиих, что для новоначальных еще невозможно, а свойственно восшедшему к середине преуспеяния; для тех же, кои подходят к совершенству, источник сей бывает светом при внезапном изменении и предложении сердца. [...]

Прежде плача и слез, — никто да не прельщает нас пустыми словами, и сами себя да не прельщаем, — нет в нас покаяния, ни истинного намерения перемениться, ни страха Божия в сердцах наших; не сознали еще мы себя виновными и не осудили и душа наша не была еще в чувстве будущего суда и вечных мук. Ибо если бы мы осудили себя, если бы возымали такие движения сердца, если бы были в таких чувствах, то тотчас извели бы и слезы. Без этого же ни жестокосердие наше никак не может умягчиться, ни душа наша стяжать духовное смирение, ни мы не в силах сделаться смиренными. А кто не таков, тот не может соединиться с Духом Святым; не соединившийся же с Ним через очищение себя от всего страстного, созерцания Бога и Боговедения сподобиться не может, и недостойн сокровенно научаемым быть добродетелям смирения.

Сначала от плача по Богу бывает смирение, от него приходят потом радость и веселие неизреченные; окрест же смирения по Богу вырастает надежда спасения. Ибо чем кто грешнейшим всех людей считает себя от всей души, тем более вместе со смирением разрастается в нем надежда, цветет внутрь сердца его и исполняет его удостоверением, что он несомненно имеет быть спасен посредством смирения.

Чем более кто нисходит в глубину смирения и осуждает себя самого, как недостойного спасения, тем более плачет и изводит источники слез; по мере слез и плача источается в сердце его духовная радость, а вместе с нею соисточается и совозрастает надежда и дает вернейшее удостоверение во спасении. [...]

Есть мнимое смирение, происходящее от нерадения и лености, и от сильного осуждения совести. Возымевшие его нередко почитают его виною спасения; но оно не есть таково воистине, потому что не имеет радостотворного плача, который бы соединен был с ним.

Бывает и плач без духовного смирения, и те, которые плачут таким образом, тоже думают, что такой плач очищает грехи; но они тщетно обманывают себя, потому что лишены бывают сладости Духа, таинственно порождающейся в мысленном сокровище-хранилище души, и не вкушают благодати Господа. Почему таковые скоро воспаляются гневом и не могут совершенно презреть мира и то, что в мире. А кто не презрит сего совершенно и не стяжет ненависти к сему от всей души, тот никогда не сможет стяжать твердую и несомненную надежду спасения, но всегда вдается сомнением туда и сюда, так как не основал надежды своей на камне.

Плач двоякое имеет действие: и, как вода, погашает слезами весь пламень страстей и оmyвает душу от скверны, причиняемой ей ими; и опять, как огонь, присутствием Святого Духа животворит, согревает и обогняет сердце и воспламеняет в нем любовь и вожделение к Богу.

Внимай себе и познай действия, происшедшие в тебе от смирения и плача, и замечай, какую пользу приносят они тебе каждый час. В новоначальных же и такая еще бывает от них польза — отвержение всякой земной заботы и пристрастия и отречение от всех людей, — родителей, родных, друзей, — беспечение и презрение всех вещей, — денег и всего, не только до последней нитки, но даже и до самого тела своего.

Притворяющихся добродетельными и иными являющихся по внешнему виду, иными же бывающих по внутреннему человеку, — исполненных иной раз всякой неправды, полных зависти, рвения и зловония страстей чувственных, — многие почитают как бесстрастных и святых, имея неочищенным око души (чтоб познать их прямо) и не в состоянии будучи познать их по плодам их; а тех, которые живут в благоговеинстве, добродетели и простоте сердца, и суть воистину святые, не отличают от прочих людей, мимоходят их с небрежением и вменяют ни во что. [...]

От того, кто говорит в Духе Святом, высокоумные и недугующие дявольскою гордынею отвращаются, как от высокоумного и горделивого, будучи словами его паче поражаемы, чем приводимы в умиление и сокрушение; а того, кто мелет, как жернов, и говорит от чрева своего или по науке, хвалят и принимают, хотя он о деле спасения все лживо тол-

кует. Таким образом, между такими нет никого, кто бы мог добре, и как есть на самом деле, распознать и видеть (людей и дело спасения).

”Блаженны, — говорит Бог, — чистые сердцем, ибо они Бога узрят” (Мф. 5, 8). Чистым же сердцем делают не одна, не две, не десять добродетелей, а все вместе, слившись, так сказать, во едину добродетельность, достигшую последних степеней совершенства. Однако же и в таком случае — добродетели одни не могут сделать сердца чистым, без воздействия и присещения Духа Святого. Ибо как ковач, как бы искусно он ни умел действовать орудиями, ничего не может сработать без содействия огня, так и человек пусть все делает с своей стороны (для очищения сердца), пользуясь для сей цели добродетелями, как орудиями, но без присещения огня Духа, все делаемое им останется бездейственным и бесполезным для его цели, так как это — одно — не имеет силы очищать нечистоту и скверну души.

В божественном крещении мы получаем отпущение прегрешений, освобождаемое от прародительской клятвы и освящаемся наитием Святого Духа; но совершенную благодать, как она означается в словах: „вселюсь в них и буду ходить” (2 Кор. 6, 16), — не тогда получаем. Ибо это есть достояние совершенно утвержденных в вере и доказавших ее делами. Если же мы по крещении уклоняемся на скверные и злые дела, то совершенно теряем и самое освящение. И уже покаянием, исповедью и слезами, соответственно делам, получаем опять сначала отпущение прегрешений, а потом и освящение высшею благодатью.[...]

Благодать Всесвятого Духа дается уневестившимся Христу душам, как обручение или залог. И как жена без обручения не имеет твердой уверенности,

что несомненно сочетается некогда с мужем, так и душа никогда не воспримет верного удостоверения, что будет вечно сопребывать с Владыкою своим и Богом, или таинственно и неизреченно сочетаваться с Ним и наслаждаться неприступною красотой Его, если не получит обручения или залога благодати Его и не возымеет в себе сознательно Его Самого.

Как обручение не бывает надежно, пока согласительные бумаги, в коих пишутся условия брака, не будут подписаны достойными веры свидетелями, так не бывает твердо воссияние благодати прежде делания заповедей и стяжания добродетелей. Ибо что суть при заключении условия свидетели, тем при духовном обручении бывает делание заповедей и добродетелей: чрез них всякий имеющий спастись получает совершенное обладание обручением (т.е. благодатью Св. Духа). [...]

Как невеста прежде брака получает от жениха только залог обручения, условленное же приданое и прочие обещанные дары ожидает получить после брака, так и Невеста Христова — Церковь верных и душа каждого из нас сначала получает от Жениха Христа только обручение Духа, вечные же блага и небесное царство чает получить по исходе отсюда, будучи удостоверяема в том залогом обручения, который показывает ей все то, как в зеркале, и подтверждает несомненностью получения того, на чем состоялось соглашение ее с Владыкою своим и Богом.

Как если невеста, разгневавшись по тому случаю, что жених замедлил в отлучке, или, будучи занят другими делами, отложил на время совершение брака, презрит любовь его и брачный договор, или изгладит, или раздерет, то вместе с ним тотчас лишается и

всех надежд, столь многое обещавших ей от жениха, так обыкновенно бывает и с душою. Ибо, когда кто из подвижающихся, сказав себе: доколе же должен я злострадать (терпеть всякие лишения)? — вознебрежет о подвижнических трудах и подвигах, и чрез нерадение о заповедях и оставление всегдашнего покаяния как бы изгладит и раздерет свои с Господом условия, то вместе с сим тотчас лишается и залога обручения (благодати) и совершенно теряет всякую надежду на Бога. [...]

По таким признакам каждому надлежит распознавать, получил ли он обручение Духа от Жениха и Владыки Христа. Если получил, да тщится держать сие и хранить; а если еще не сподобился получить, да потщится посредством дел благих, благопотребных деланий и теплого покаяния поскорее получить его и потом сохранить деланием заповедей и приумножением добродетелей. [...]

”Может ли кто взять огонь себе в пазуху, чтобы не прогорело платье его?” (Притч. 6, 27), — говорит премудрый Соломон. А я говорю: кто, приняв внутрь сердца своего непокровенный небесный огонь Духа Святого, не возгорится и не облистается, не воссияет и не возымеет облистаний Божества, в меру своего очищения и восприятия огня? Ибо восприятие огня идет вслед за очищением сердца, и опять очищение сердца идет вслед за восприятием огня, — т. е. сколько очищается сердце, столько приемлет и божественной благодати; и опять, сколько приемлет оно благодати, столько и очищается. Когда же завершится сие (т. е. и очищение сердца и приятие благодати достигнут совершенства и полноты), тогда человек весь всецело бывает бог по благодати. [...]

Как дом бескровный, оставленный таким по нера-

дению здателя, не только негож ни к чему, но еще служит в посмешище здателю, так и положивший основание исполнением заповедей и стены высоких добродетелей воздвигший, если не получит и благодати Святого Духа с видением и ощущением того душевным, несовершен есть и составляет предмет сожаления для совершенных. А лишен же благодати бывает таковой по следующим двум причинам: или потому, что пренебрег покаянием, или потому, что, возмалодушествовав пред полным стяжанием добродетелей, как делом безмерно великим, оставил некоторые из них, которые, однако ж, хотя кажутся нам мало важными, но существенно необходимы для полного устройства и окончания дома добродетелей, так как невозможно, чтоб без них дом сей покровен был благодатью Святого Духа.

Если Сын Божий и Бог для того снизшел на землю, чтоб посредничеством Своим примирить с Отцом Своим нас, сущих врагов Ему, и с Собою сочетать нас осязательно, посредством Святого и Единосущного Духа Святого, то, лишаящийся такой благодати, какую другую получит? Всеконечно таковой ни с Тем (Отцом) не примирился, ни с Сим (Сыном) не имеет сочетания благодатью Св. Духа. [...]

Цель всех по Богу живущих есть — благоугодить Христу Богу нашему и примириться с Богом Отцом через приятие Святого Духа, — и таким образом устроить свое спасение, ибо в этом состоит спасение всякой души. Если этого нет у нас (в цели и в действии), то тщетен всякий другой труд и суетно всякое другое делание наше. — Бесплезен всякий путь жизни, не ведущий к сему того, кто течет по нему. [...]

С несомненною к Богу верою отрехшийся мира и всего, что в мире, верует, что милостивый и щедрый

Господь приемлет приходящих к Нему в покаянии, — и ведая, что Он рабов Своих чрез бесчестие возводит к чести, чрез крайнюю нищету обогащает их, чрез поношения и уничижения прославляет, чрез смерть соделывает наследниками и причастниками жизни вечной — посредством их (т. е. бесчестия, нищеты и проч.) — усиливается тещи, как олень жаждущий, к бессмертному источнику, и по ним восходит к горнему, как по лестнице, — по коей Ангелы восходят и нисходят на помощь восходящим, а Бог восседит вверху ее, ожидая наших посильных трудов и усилий, не потому, чтоб Ему радостно было видеть нас трудящимися, но потому что, человеколюбив будучи, желает награду нам даровать, будто долг.

Бог не попускает тем, которые всеусердно текут к Нему, совсем ниспасть (с той лестницы), но, видя их изнемогающими, содействует им и помогает, простирая к ним свыше руку силы Своя и к Себе возводя, — содействует и явно и неявно, и ведомо и неведомо, — пока они, прошедши всю лестницу, к Нему Самому приближатся, и всецело с Ним соединясь, забудут все земное, с Ним сопребывая там и сожительствуя, — аще в теле, аще ли кромѣ тела, не вем, — и неизреченных наслаждаясь благ.

Праведно есть *прежде* игу заповедей Христовых подклонить нам выи свои, ни в сторону не уклоняясь, ни вспять не возвращаясь и не отставая, но право и усердно шествуя в них даже до смерти, паче и паче обновляя себя и новым воистину делая себя Божиим раем, пока с Отцом Сын чрез Духа Святого внидет и станет обитать в нас. И тогда уже, когда таким образом стяжем Его себе жителем и учителем, — тогда кому из нас повелит Он (взять на себя какое служение), и кому какое служение вверит, тому оно и да

вручится; и он да ведет его так, как сие благоугодно Богу. Но прежде времени не следует сего служения искать, не следует и принимать его, когда дают его люди (сами от себя), но надлежит пребывать в заповедях Владыки нашего и Бога и ожидать повеления Его (взять на себя какое служение). [...]

Кто страха ради Божия отсекает свою волю, тому Бог, неведомо для него, так что он не знает, как то бывает, дарует Свою волю и соделывает ее неизгладимую в сердце его, открывая при сем очи сердца его, чтоб он познал ее (т. е., что это Божия воля), и силу подавая исполнять ее. Творит же сие благодать Святого Духа, а без нее ничего не бывает.

Если ты получил прощение всех своих грехов, просто ли только чрез таинство покаяния и исповеди, или с приятием при сем и святой ангельской схимы, то какой любви, какого благодарения и смирения должно быть сие для тебя источником, — что, будучи достоин бесчисленных мук, ты не только избавлен от этого, но еще удостоиваешься сыноположения, славы и Царства Небесного?

Обращая сие в уме своем и всегда помня, будь готов и преднастройся к тому, чтоб не обесчестить собою Сотворшего тебя и почтившего и бесчисленные простившего тебе согрешения, но всеми делами своими прославить Его и почтить, — чтоб и Он тебя, почтенного Им паче всякой видимой твари (в творении), еще паче почтил в воздаяние за то (во благодати), — и другом Своим искренним наименовал тебя. [...]

Будем смотреть и умудряться, как прославить Бога. Прославляется же Он нами не иначе как так, как прославлен был Сыном. Но чем Сын прославил Отца Своего, тем и Сам прославлен был от Отца. Будем и мы делать то же (что Сын) со тщанием, чтоб тем

прославить Отца нашего, сущего на небесах, благоволившего так наименоваться, и от Него быть прославленными славою Сына, которую имел Он у Него прежде бытия мира. Это суть — крест, или умертвие всему миру, скорби, искушения и другие страсти Христовы, которые перенося с полным терпением, подражаем мы Христовым страстям и прославляем тем Отца нашего и Бога, как сыны Его по благодати и сонаследники Христовы.

Душа, не освободившаяся совершенно от мирских навыков и пристрастия к видимым вещам, в самых чувствах и расположениях сердца своего не может беспечально переносить приключаящихся ей печалей и находящихся на нее напраслин и искушений от демонов и людей. Но, как узами связанная пристрастием к человеческим вещам, уязвляется ущербом в днях, тяжкою поражается скорбью от потери вещей и сильно болезнует о наносимых телу ее ранах.

Кто отторг душу свою от пристрастия и привязанности к чувственному и тесным союзом сочетал ее с Богом, тот не только равнодушен будет к сущим около его деньгам и вещам, и терпя потерю в них будет беспечален, как бы они были не его, а чужие, но и самому телу его причиняемые боли будет переносить с радостью и подобающим благодарением, видя всегда, по слову божественного Апостола, что когда "внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется" (2 Кор. 4, 16). Иначе же с радостью переносить скорби по Богу невозможно. Потребны для сего ведение совершенное и мудрость духовная, — которых лишенный всегда ходит во тьме безнадежия и неведения, не имея никакой возможности видеть свет терпения и утешения (молитвы).

Всякий мнящийся быти мудрым, потому что про-

шел все науки и сведущ во внешней мудрости, никогда не сподобится проникнуть в тайны Божии и увидеть их, если прежде не смирится и не сделается в чувствах сердца своего буим, вместе с самомнением отвергая и приобретенную ученость. Ибо кто так поступает и с неколеблящейся верой последует мужам мудрым в божественных вещах, тот, будучи ими руководим, вместе с ними входит в град Бога живого, и Духом Святым наставляемый и просвещаемый, видит и познает то, чего никто из других людей видеть и познать не может. Так делается он богонаученным.

Богонаученных ученики мудрых века сего людей почитают буими, между тем как сами воистину суть буии и наострились только по внешней премудрости обьюродевшей, которую, по божественному Апостолу, обратил Бог (1 Кор. 1, 20) и богословный глас признал земною, душевною, бесовскою, исполненною зависти и неустройства (Иак. 3, 15). Таковые, будучи вне божественного света, не могут видеть чудес, находящихся в нем, и тех, которые, водворяясь в сем свете, видят, что в нем, и поучают тому, почитают прельщенными, между тем как сами прельщены и никогда не вкушали божественных благ.

И ныне есть и среди нас возвращаются люди бесстрастные, святые и исполненные божественного света, которые так умертвили уды свои, сущие на земли, отребив их от всякой нечистоты и всякого страстного похотения, что не только сами от себя не помышляют делать что-либо худое, но и когда влекут их к тому другие, не терпят никакого изменения в присутствии им бесстрастии. Их узнали бы и те, которые презрительно об них относятся и не верят им, когда они поучают о божественных вещах в премудрости

Духа, если бы добре разумели божественные словеса, каждодневно ими читаемые и поемые. Ибо если бы они знали совершенно Божественное Писание, то веровали бы обещанным нам от Бога и дарованным благам. Но как они непричастны сих благ за свое самомнение и нерадение, то оуждают и тех, которые сподобились причастия их и учат о них, не веря им.

Примечание: Так в греч. Добротолубии. В новогреческом эта глава перефразирована так: "Те, которые говорят, что во времена сии нет ни одного бесстрастного, и не верят тем, которые, в премудрости Духа, ведут беседы о божественных вещах, если бы понимали божественные слова, какие каждодневно читают и поют, узнали бы, что и ныне есть бесстрастные, святые и исполненные божественным светом, и живут среди нас, отребив себя от всякой нечистоты и всякого страстного похотения, — так что не только сами от себя не помышляют делать что-либо худое, но и когда другой кто влечет их к тому, не терпят никакого изменения в бесстрастии, которое в них. Но те, не зная Писаний, говорят, что ныне нет никого такого. Ибо если бы разумели, как должно, Божественное Писание, то верили бы тем благам, которые Богом нам обещаны и дарованы. Но как они непричастны таких благ по причине самомнения и нерадения своего, то не веря им, оуждают и оклеветывают тех, которые сделались причастными их и учат о них.

Исполненные благодати Божией и совершенные в ведении и премудрости, которая свыше, для того только желают ходить в мир и видеть сущих в нем, чтоб напоминанием о заповедях Божиих расположить их к доброделанию и чрез то дать случай заслужить награду некую, — если, конечно, послушают их, возьмут в толк и убедятся. Так как они, не Божиим водимы будучи Духом, во тьме ходят и не знают, куда идут и преуспевают ли в каких заповедях, то (в благодати живущие идут к ним с показанными напоминаниями в желании и надежде) не воспримут ли они когда-нибудь истинного учения Святого Духа,

воспрянув от обдержавшего их самомнения, и искренно, а не с притворством и самохвальством, вняв воле Божией, не покаются ли, чтоб, исполнив ее, соделаться причастными какого-либо дарования духовного. Если же не случится им быть виновниками такой для посещаемых мирян пользы, то они, плача об ожесточении и ослеплении сердец их, возвращаются в свои келии и начинают день и ночь молиться о спасении их. Ибо о другом чем не печалются с Богом непрестанно пребывающие и преисполненные всякого блага.

Какая цель воплощенного домостроительства Бога Слова, которая во всем Божественном Писании проповедуется, но которой мы, читая сие Писание, не знаем? Не другая какая, как та, чтоб приобщившись тому, что наше, сделать нас причастными того, что есть Его. Сын Божий соделался Сыном Человеческим, чтобы нас, человек, соделать сынами Божиими, возводя род наш по благодати в то, что Сам Он есть по естеству, рождая нас свыше благодатию Святого Духа, и тотчас вводя нас в Царство Небесное, или, лучше сказать, даруя нам иметь сие Небесное Царство внутри нас (Лук. 17, 21), чтоб мы, не надеждою только внити в него питаясь, но уже в обладание им быв введены, взывали: "Жизнь наша сокрыта со Христом в Боге" (Кол. 3, 3).

Крещение не отъемлет самовластия и самопроизволения нашего, но дарует нам свободу от тиранства диавола, который не может уже более против воли нашей властвовать над нами. По крещении в нашей уже состоит воле, или пребывать самоохотно в заповедях Того, в Кого крестились, Христа, Владыки и Бога, и ходить путем повелений Его, или, уклонясь

от правого пути сего, опять возвратиться к диаволу, противоборцу и врагу нашему. [...]

Того ради Господь благоволил воспринять лице каждого бедного и каждому бедному Себя уподобил, чтоб никто из верующих в Него не возносился над братом своим, но чтоб каждый, видя в брате своем Бога своего, почитал себя меньшим и худшим брата своего, как есть меньше Сотворшего его, и как Сего принимал его и чтил, и в помощь ему готов был истощить все имение свое, как Христос и Бог наш истощил кровь Свою для спасения нашего. [...]

Как главные заповеди объемлют все заключающиеся в них частные заповеди, так и главные добродетели заключают в себе все частные объемлемые ими добродетели. Продавший, например, все свое и раздавший то бедным, и сделавшийся сам бедным, зараз исполнил все частные, относящиеся сюда, заповеди. Почему не имеет уже нужды просящему давать и от хотящего зяйти у него не отвращаться. Таким же образом и непрестанную стяжавший молитву в сем едином исполненными имеет все заповеди о молитве, — и не состоит уже под необходимостью седмицею в день хвалить Господа, или в вечер, завтра и полудне, как исполненными уже имеющий в себе все молитвы, какими молимся мы и какие поем, по уставу, в определенные времена и часы. Равно, сознатально имеющий в себе дающего ведение человекам Бога, все прошел Святое Писание, — и, как плод, собрал всю могущую от чтения его произойти пользу, — и не имеет уже нужды в чтении книг. Ибо какую будет иметь в сем нужду тот, кто стяжав себе седником себе Того, Кто вдохновлял писавших Божественные Писания, имеет печатлеемыми в себе от

Него неизреченности сокровенных Таин? Напротив, он сам будет для других вдохновенною книгой, носящей новые и древние тайны, написанные перстом Божиим в нем, как совершившем все и почившем в Боге от всех дел своих, что есть верх совершенства. [...]

Умножение познания Бога бывает причиною умаления знания всего другого. То есть, чем больше кто познает Бога, тем больше оскудевает в знании всего прочего. И не только это (бывает с ним), но он все больше и больше приходит в сознание, что не знает и Самого Бога. Обилие воссияния Его в духе бывает совершенным его невидением, и выше чувства воспаряющее чувство — нечувствием всего того, что вне. И как может быть и называться чувством такое чувство, которое не знает, что такое есть, каково и где есть то, в чем оно пребывает, и узнать то, или понять совершенно не может? Да и как возможно, чтобы подлежало чувству то, чего око не видало, о чем ухо не слыхало и что на сердце человеку не всходило?

Дарующий нам то, что выше чувства, дает нам благодатию Святого Духа и другое чувство выше чувства, чтобы мы им чувствовали чисто и ясно дары Его и дарования, кои выше чувства.

Кто глух к слову Бога, тот глух и ко всякому гласу Его; как напротив, кто слышит слова Бога, тот слышит (способен слышать) их все (всякие слова Божии), и никого он не слышит, кроме тех, которые говорят слова свои (поучения) благодатию Слова, и не их слышит он, но только слово, которое безгласно говорится голосом их.

Когда ты долу — в земном, тогда не исследуй того, что горé, т. е. небесного; и восходя горé, преж-

де, чем достигнешь верха, не любопытствуй дольного, чтоб поскользнувшись не упасть, или лучше сказать чтоб не оставаться долу (мняся восходити горé)

Кто обогатился небесным сокровищем, — разумею, пришествием и вселением в него Христа, Который сказал: "...и Мы (с Отцом) придем к нему и обитель у него сотворим" (Ин. 14, 23), тот знает, знанием душевным (опытно, сознанием, чувством), какую получил радость, коликое и каковое сокровище имеет в царских сокровищницах сердца своего. Беседуя с Богом, как друг с другом, с дерзновением стоит он пред лицом Того, Кто обитает в нем во свете неприступном.

Кто верует тому, что я сказал, тот блажен. Кто деятельно подвизается посредством священных подвигов достигнуть ведения о том, (опытно познать то), тот преблажен. Кто посредством делания и созерцания достиг высоты такого состояния и как сын дошел до Самого Бога, тот, чтобы не сказать нечто большее, есть Ангел.

Как тот, кто стоит на берегу моря, видит безмерную пучину вод, но предела их не достигает зрением, а видит только малую некую часть их, так и тот, кто сподобился чрез созерцание узреть безмерное море славы Божией и видеть мысленно Самого Бога, видит умными очами Бога и бездну славы Его не всю, сколько ее есть, но лишь столько, сколько сие возможно для него.

Как тот, кто находится близ моря, не только видит его, но и в самые воды его входит, сколько хочет, так бывает и духовно (с достигшими совершенства духовного), что они, когда хотят, входят в свет Божий и созерцают его и причащаются его сознательно в

меру подъятых трудов, усилий и желательных стремлений. [...]

Приближающиеся к совершенству, видя только еще отчасти беспредельность (духовных вещей) и сознавая непостижимость того, что видят, удивляются и приходят в изумление; а чем более входят они, неведомо как, в свет ведения, тем более сознают свою немощь. То, что является им некоторым образом примрачно, показывает себя как бы зеркалом в гадании, и отчасти осиявая ум, мыслящий о том, когда благоволит явить себя в большем свете и соединиться по причастию с тем, кто им освещается, вовлекая всего его в себя, так что он бывает весь во глубине Духа, как бы в глубине безмерных светлых вод; — тогда он восходит неизъяснимо в совершенное неведение, как вступивший туда, где все выше ведения. [...]

...Глубины Святого Духа не таковы, как глубины воды морской, но они суть живая вода вечной жизни. Все, что находится там, в глубинах Святого Духа, непостижимо и неизъяснимо. Ум входит внутрь того, после того, как минует все видимое и мысленное, и среди тех непостижимых вещей недвижно движется и вращается, живя паче жизни в жизни, будучи светом во свете, и не светом, поколику есть сам в себе. Тогда он видит не себя самого, но Того, Кто есть выше его, и, будучи изменяем мысленно от тамошней славы, становится совсем незнающим себя самого.

Достигший в меру совершенства бывает мертв и немертв, а живущ паче жизнью в Боге, с Коим пребывает, так как он не живет более сам по себе, как говорит Апостол: "...и уже не я вижу, но живет во мне Христос" (Гал. 2, 20). Бывает он так же слеп и не слеп; он смотрит не естественными очами, так как

стал выше всякого естественного зрения, получив новые очи, несравненно лучшие естественных очей, коими и смотрит выше естества. Бывает бездействен и недвижим, как исполнивший всякое собственное действие. Бывает немыслящ, как соделавшийся едино с Тем, Кто выше всякой мысли, и почивший там, где нет места действию ума, — т. е. движению его в воспоминании, или помысле, или размышлении. Не имея возможности постигнуть и познать непостижимое и дивное, оно некоторым образом опочивает на сем совершенным почитием, оным недвижением блаженного нечувствия, т. е. не любопытно наслаждаясь неизъяснимыми благами, с чувством однако ж верным и определенным.

Кто не сподобился достигнуть в такую меру совершенства и проникнуть до таких благ, тот пусть винит себя одного, а не говорит в извинение, что это дело невозможно, или что бывает в нас совершенство, такое однако ж, о котором мы и не знаем. Удостоверяем будучи Божественным Писанием, да ведает он, что дело сие возможно, и в истинной своей силе бывает в действительности, и совершается заведомо с сознанием его; но, по причине неисполнения и нарушения заповедей Божиих, всякий собственно сам себя лишает таких благ, соответственно своей несправности. [...]

Сколько хочет Бог быть нами познанным, столько открывается, — и сколько откроется, столько зрим бывает и познается достойными. Но сподобиться сего и испытать сие никто не может, если прежде не соединится с Духом Святым, стяжав наперед трудами и потами сердце чистое, простое и сокрушенное. [...]

Которых держат в своей власти и над которыми

господствуют страсти, те, когда услышат, что совершенный по Богу человек почитает себя нечистым паче всякого человека, всякого животного и всякого зверя, — и что он, будучи бесчестим, радуется, будучи злословим, благословляет и хвалит, будучи гоним, терпит и со слезами и болезнью сердечною молит Бога о врагах своих, — во-первых, не верят всему этому, почитая и выставляя себя подобными им; потом, будучи обличаемы Божественным Писанием и опровергаемы святыми, показавшими все сие на самом деле, сознаются, что не могут достигнуть в такую меру совершенства; а когда услышат, что если они не станут так поступать, то и спастися не могут, тогда, не желая отстать от греховных навыков и покаяться, в чем согрешили, впадают в безнадежие. [...]

Сердце чисто есть и называется то, которое не находит в себе никакого помышления или помысла мирского, но все прилеплено к Богу и сочетано с Ним так, что не вспоминает уже ничего мирского, ни печального, ни радостного, но превитает в созерцании, возносясь до третьего неба, восторгаясь в рай и видя наследие благ, обетованных святым, — применительно к чему представляет потом, сколько возможно сие для немощи человеческой, и блага вечные. Вот что служит знамением чистоты сердечной и верным признаком, по которому всякий может определить меру своей чистоты и видеть себя как в зеркале.

Как тот, кто находится вне дома, не видит тех, которые заперты в доме, так и тот, кто распялся и умер миру, не имеет никакого чувства о вещах и делах мира.

Как мертвое тело не имеет никакого чувства ни к живым телам, ни к мертвым, лежащим вместе с ним, так и исшедший из мира благодатию Святого Духа и

сущий с Богом не имеет чувства к миру, ни пристрастия к вещам мира, хотя подлежит потребностям тела.

Бывает смерть прежде смерти физической, и прежде воскресения тел бывает воскресение душ, — делом, опытом, силою и истиною. Ибо когда смертное мудрование уничтожается бессмертным умом и мертвенность изгоняется жизнью, тогда душа, как бы воскресшая из мертвых, узревает чисто себя саму, как узревают себя пробудившиеся от сна, и познает истинно Бога, ее воскресившего, о Коем помышляя и Коего благодаря, выходит она за пределы чувств и всего мира, преисполненная неизреченной сладости, и тем заставляя утихнуть всякое мертвенное движение. [...]

Мертв для святых мир и люди мира. Почему, как мирские, видя, не видят добрых дел святых мужей, и слыша, не могут нисколько понять божественных словес, предлагаемых им благодатью Святого Духа, так и духовные и святые мужи не могут видеть лукавых дел лукавых мирских людей, и понять страстных речей их, — т. е. и они, видя, не видят, что в мире, и слыша о том, что касается мирских людей, находятся в таком божественном состоянии и расположении, как бы не слышали то по неимению к тому чувства. Таким образом не бывает никакого общения ни у духовных с мирскими, ни у мирских с духовными.

Как явно разделение света и тьмы и смешение их невозможно: "Что общего у света со тьмою?.. Или какое соучастие верного с неверным?" (2 Кор. 6, 14–15), так такое же бывает разделение одного с другим и в тех, кои имеют Святого Духа, и в тех, кои не имеют Его. Ибо духоносцы имеют житие свое на небесах, сделавшись из людей более ангелами, а эти

(не имеющие Духа) сидят еще во тьме прародительской и в сени смерти, прикованные к земле и земному. И те освещаются обильно мысленным не вечерним светом, а эти только чувственным; те видят и себя самих и ближних, — а эти, видя каждый день и себя самих и ближних умирающими душевной смертью, не знают и не верят, что есть воскресение мертвых, суд и воздаяние каждому по делам его.

Архиепископ Лука

МЕМОАРЫ

Тетрадь I

Мой отец был католиком весьма набожным, всегда ходившим в костел и подолгу молчавшим дома. Он был человеком удивительно чистой души, ни в ком не видевшим ничего дурного, всем доверявшим, хотя по своей должности был окружен нечестными людьми. В нашей православной семье он, как католик, был несколько отчужден.

Мать усердно молилась дома, но в церковь, по видимому, никогда не ходила. Причиной этого было ее возмущение крайней жадностью и ссорами священников, происходившими на ее глазах.

Два брата-юриста не проявляли признаков религиозности. Однако они всегда ходили к выносу Плащаницы и целовали ее и всегда бывали на Пасхальной заутрене. Старшая сестра-курсистка, потрясенная ужасами катастрофы на Ходынском поле, психически заболела и выбросилась из окна третьего этажа, получив тяжелый перелом бедра и ключевой кости и разрыв почек, на почве которых потом образовались почечные камни, от которых она умерла, прожив только 25 лет.

Младшая сестра, доселе здравствующая — прекрасная и очень благочестивая женщина.

Религиозного воспитания в семье я не получал, и если можно говорить о наследственной религиозности, то, вероятно, я унаследовал ее главным образом от очень благочестивого отца.

С детства у меня была страсть к рисованию, и одновременно с гимназией я окончил Киевскую Художественную школу, в которой проявлял немало художественных способностей.

Влечение к живописи у меня было настолько сильным, что по окончании гимназии я решил поступить в Петербургскую Академию Художеств.

Но во время вступительного экзамена я тяжело задумался о том, правильный ли жизненный путь я избираю. Недолгое колебание кончилось тем, что я признал себя не вправе заниматься тем, что мне нравится, и обязанным заняться тем, что полезно для страдающих людей. Из академии я послал матери телеграмму о желании поступить на медицинский факультет, но все вакансии были уже заняты, и мне предложили поступить на естественный факультет с тем, чтобы позже перейти на медицинский. От этого я отказался, так как у меня была большая нелюбовь к естественным наукам, ярко выраженный интерес к наукам гуманитарным, в особенности к богословию и философии, и истории. Поэтому я предпочел поступить на юридический факультет и в течение года с интересом изучал историю и философию права, политическую экономию и римское право.

Но через год меня опять неодолимо повлекло к живописи. Я отправился в Мюнхен, где поступил в частную школу профессора Книрр.

Однако уже через три недели тоска по родине не-

удержимо повлекла меня домой, и еще год с группой товарищей я усиленно занимался рисованием и живописью.

По возвращении из Мюнхена впервые проявилась моя религиозность, ярко отразившаяся на моих художественных занятиях. Я каждый день, а иногда и дважды в день ездил в Киево-Печерскую Лавру, часто бывал в киевских храмах и, возвращаясь оттуда, дома срисовывал то, что видел в Лавре и в храмах. Я сделал много прекрасных набросков и эскизов молящихся людей, Лаврских богомольцев, приходивших за тысячи верст, и тогда уже сложилось то направление художественной деятельности, в котором я работал бы, если бы не оставил живописи. Я пошел бы по дороге Васнецова и Нестерова, ибо уже ярко определилась основная религиозная тенденция в моих занятиях живописью. К этому времени я ясно понял процесс художественного творчества. Повсюду: на улицах и в трамваях, на площадях и базарах я наблюдал все ярко выраженные черты лиц, фигур, движений и по возвращении домой все это зарисовывал.

На выставке в Киевской художественной школе я получил премию за эти свои наброски.

Я даже участвовал в одной из передвижных выставок небольшой картинкой, изображавшей старика-нищего, стоящего с протянутой рукой.

После усердных занятий живописью с группой товарищей я каждый день для отдыха ходил версты две по берегу Днепра и по дороге усиленно размышлял о весьма трудных богословских и философских вопросах. Из этих размышлений, конечно, ничего не вышло, ибо я не имел никакой научной подготовки.

В это же время я страстно увлекся эстетическим учением Льва Толстого и стал, можно сказать, завзя-

тым толстовцем: спал на полу на ковре, а летом, уезжая на дачу, косил траву и рожь вместе с крестьянами, не отставая от них.

Однако мое толстовство продолжалось недолго, лишь до того времени, когда я прочел его запрещенное, изданное за границей, сочинение „В чем моя вера?“, резко оттолкнувшее меня издевательством над православной верой. Я сразу понял, что Толстой — еретик, весьма далекий от подлинного христианства.

Правильное представление о Христовом учении я незадолго до этого вынес из усердного чтения Нового Завета, который по доброму старому обычаю я получил от директора гимназии при вручении мне аттестата зрелости, как напутствие в жизнь.

Очень многие места этой святой книги, сохранявшейся у меня десятки лет, произвели на меня глубочайшее впечатление. Они были отмечены красным карандашом. Но ничто не могло сравниться по огромной силе впечатления с тем местом Евангелия, в котором Иисус, указывая ученикам на созревшее поле пшеницы, сказал им: „Жатвы много, а делателей мало. Итак, молитесь Господина жатвы, чтобы послал делателей на ниву свою“.

У меня буквально дрогнуло сердце, я молча воскликнул: „О, Господи! Неужели у Тебя мало делателей?“

Позже, через много лет, когда Господь призвал меня делателем на ниву Свою, я был уверен, что этот евангельский текст был первым призывом Божиим меня на служение Ему.

Так прошел еще довольно странный год.

Можно было бы поступить на медицинский факультет, но опять взяло раздумье народнического порядка и по юношеской горячности я решил, что

нужно как можно скорее приняться за практически полезную для простого народа работу. Бродили мысли о том, чтобы стать фельдшером или сельским учителем, и в этом настроении я однажды отправился к Директору народных училищ Киевского учебного округа с просьбой устроить меня в одну из школ. Директор оказался умным и проницательным человеком: он хорошо оценил мои народнические стремления, но очень энергично отговаривал меня от того, что я затевал, и убедил поступить на медицинский факультет.

Это соответствовало моим стремлениям быть полезным для крестьян, которые так плохо обеспечены медицинской помощью, но поперек дороги стояло мое почти отвращение к естественным наукам. Я все-таки преодолел это отвращение и поступил на медицинский факультет Киевского университета.

Когда я изучал физику, минералогию, у меня было почти физическое ощущение, что я насильно заставляю мозг работать над тем, что ему чуждо. Мозг, точно сжатый резиновый шар, стремился вытолкнуть чуждое ему содержание.

Тем не менее я учился на одних пятерках и неожиданно чрезвычайно заинтересовался анатомией. Изучая кости, я рисовал их дома и лепил из глины, а своей препарировкой трупов сразу обратил внимание всех товарищей и профессора анатомии.

Уже на втором курсе мои товарищи единогласно решили, что я буду профессором анатомии, и их пророчество сбылось. Через двадцать лет я действительно стал профессором топографической анатомии и оперативной хирургии.

На третьем курсе я со страстным интересом занимался изучением операций на трупах. Произошла

интересная эволюция моих способностей: умение весьма тонко рисовать и моя любовь к форме перешли в любовь к анатомии и тонкую художественную работу при анатомической переправке и при операциях на трупах.

Из неудавшегося художника я стал "художником" в анатомии и хирургии.

На третьем курсе я неожиданно был избран старостой. Это случилось так: перед одной лекцией я узнал, что один из товарищей по курсу — поляк — ударил по щеке другого товарища — еврея. По окончании лекции я встал и попросил внимания. Я произнес страстную речь, обличавшую безобразный поступок студента-поляка. Я говорил о высших формах нравственности, о перенесении обид, вспомнил великого Сократа, спокойно отнесшегося к тому, что его сварливая жена вылила ему на голову горшок грязной воды.

Эта речь произвела столь большое впечатление, что меня единогласно выбрали старостой и назвали "совестью курса".

Так рано проявилась черта глубокого морализма, которая через десятки лет красной нитью проходила в моих проповедях.

Государственные экзамены я сдавал блестяще, на сплошных пятерках, и профессор общей хирургии сказал мне на экзамене: "Доктор, вы теперь знаете гораздо больше, чем я, ибо вы прекрасно знаете все разделы медицины, я же уже многое забыл, что не относится прямо к моей специальности".

Только на экзамене по медицинской химии (теперь она называется биохимией) я получил тройку из-за своей правдивости. На теоретическом экзамене я отвечал отлично, но надо было еще сделать иссле-

дование мочи. Как это, к сожалению, было в обычае, служитель лаборатории за получаемые от студентов деньги рассказал, что надо найти в каждой колбе и пробирке, и я знал, что в моче, которую мне предложено исследовать, есть сахар. Однако, из-за маленькой ошибки, Троммеровская реакция у меня не вышла, и когда профессор, не глядя на меня, спросил: "Ну, что вы там нашли?", я мог бы сказать, что нашел сахар, но сказал, что Троммеровскую реакцию не получил и сахара не обнаружил.

Эта единственная тройка не помешала мне, однако, получить диплом лекаря с отличием.

Когда все мы получили дипломы, товарищи по курсу спросили меня, чем я намерен заняться. Когда я ответил, что намерен быть земским врачом, они с широко раскрытыми глазами сказали: "Как?! Вы будете земским врачом?! Ведь Вы же ученый по призванию!"

Я был обижен тем, что они меня совсем не понимают, ибо я изучал медицину с исключительной целью быть всю жизнь деревенским, мужицким врачом, помогать бедным людям.

Сразу стать земским врачом мне не пришлось, так как я окончил университет осенью 1903 года, перед началом войны с Японией, и началом моей медицинской работы была военно-полевая хирургия, в госпитале Красного Киевского Креста возле Читы.

В нашем госпитале было два хирургических отделения; одним заведовал опытный одесский хирург, а другое главный врач отряда поручил мне, хотя в отряде было еще два хирурга значительно старше меня.

Однако главный врач не ошибся, ибо я сразу же развил большую хирургическую работу на раненых и,

не имея специальной подготовки по хирургии, стал сразу делать крупные и ответственные операции на костях, суставах, на черепе.

Результаты работы были вполне хорошими, ошибок я не делал, несчастий не бывало.

В работе мне иногда помогала недавно вышедшая блестящая книга французского хирурга Лежара "Неотложная хирургия", которую я основательно проштудировал перед поездкой на Дальний Восток.

Я не был кадровым врачом и военной формы никогда не носил.

В Чите я женился на сестре милосердия, работавшей прежде в Киевском военном госпитале, где ее называли "святой сестрой". Там два врача просили ее руки, но она дала обет девства. Выйдя за меня замуж, она нарушила этот обет, и в ночь перед нашим венчанием в церкви, построенной декабристами, она молилась перед иконой Спасителя и вдруг ей показалось, что Христос отвернул Свой лик и образ Его исчез из киота. Это было, по-видимому, напоминанием о ее обете, и за нарушение его Господь тяжело наказал ее невыносимой, патологической ревностью...

Мы уехали из Читы до окончания войны, и я поступил врачом в Ардатовское земство Сибирской губернии.

Там мне пришлось заведовать городской больницей. В трудных и неприглядных условиях я сразу стал широко оперировать по всем отделам хирургии и офтальмологии.

Однако через несколько месяцев мне пришлось отказаться от работы в Ардатове ввиду ее невыносимой трудности.

Надо отметить, что в Ардатовской больнице я сразу столкнулся с большими трудностями и опасностями.

ми (общего наркоза при плохих помощниках), и уже там у меня возникла мысль о необходимости по возможности избегать наркоза и как можно шире заменять его местной анестезией.

Я решил перейти на работу в маленькой участковой больнице и нашел такую в селе Верхний Любаж Фатежского уезда Курской губернии.

Однако и там было не легче, ибо в маленькой больничке на 10 кроватей я стал широко оперировать и скоро приобрел такую славу, что ко мне пришли больные со всех сторон из других уездов Курской губернии и соседней Орловской.

Вспоминаю курьезный случай, когда молодой нищий, слепой с раннего детства, прозрел после сделанной мной операции. Месяца через два он собрал множество слепых со всей округи, и все они длинной вереницей пришли ко мне, ведя друг друга за палки, ища исцеления.

В это время вышла первым изданием (книга? работа?) профессора Брауна (в ориг.название пропущено). Я с жадностью прочел ее и из нее впервые узнал о регионарной анестезии, немногие методы которой весьма недавно были опубликованы.

Я запомнил между прочим, что задачу регионарной анестезии седалищного нерва Браун считал едва ли возможной.

У меня возник живой интерес к регионарной анестезии. Я поставил себе задачу заняться разработкой новых методов ее.

В Любаже мне встретилось несколько редких и весьма интересных хирургических случаев, и о них я там же написал две первых свои статьи: "Элефантиас лица, плексиформная неврома" и другую — "Ретроградное ущемление в грыже кишечной петли".

Чрезмерная слава сделала мое положение в Любаже невыносимым. Мне приходилось принимать амбулаторных больных, приезжавших во множестве и оперировать в больнице с 9 часов утра до вечера, разъезжать по довольно большому участку и по ночам исследовать под микроскопом вырезанное при операциях; делать рисунки микроскопических препаратов для своих статей, и скоро не хватило для огромной работы и моих молодых сил.

Заслуживает упоминания и моя первая трахеотомия, сделанная в совершенно исключительных условиях.

Я приехал для осмотра земской школы в недалекую от Любажа деревню. Занятия уже кончились. Неожиданно прибежала в школу девочка, неся на руках совершенно задыхающегося ребенка. Он поперхнулся маленьким кусочком сахара, который попал ему в гортань. У меня был только перочинный ножик, кусок ваты и немного раствора сулемы. Тем не менее я решил сделать трахеотомию и просил учительницу помочь мне. Но она, закрыв глаза, убежала. Немного храбрее оказалась старуха-уборщица, но и она оставила меня одного, когда я приступил к операции. Я положил спеленутого ребенка себе на колени и быстро сделал ему трахеотомию, протекающую как нельзя лучше. Вместо трахеотомической канюли я ввел в трахею гусиное перо, заранее приготовленное старухой. К сожалению, операция не помогла, так как кусочек сахара застрял ниже, по-видимому в бронхе.

Земской управой я был переведен в уездную Фатежскую больницу, но и там недолго пришлось мне проработать: Фатежский уезд был гнездом самых редких зубров-черносотенцев. И самым крайним из них был председатель земской управы Батезатул,

незадолго до того прославившийся своим законопроектом о принудительной эмиграции в Россию китайских крестьян для передачи их в рабство помещикам.

Батезатул считал меня революционером за то, что я не отправился немедленно, оставив все дела, к заболевшему исправнику, и постановлением Управы я был уволен со службы.

Это, однако, не обошлось благополучно. В базарный день, один из исцеленных мною слепых влез на бочку, произнес зажигательную речь по поводу моего увольнения, и под его предводительством толпа народа пошла громить Земскую Управу, здание которой находилось на базарной площади. Там был только один член управы, от страха залезший под стол.

Мне, конечно, пришлось поскорее уехать из Фатежа. Это было в 1909 году.

В 1907 году у меня родился мой первенец Миша. А в следующем, 1908 году, у меня родилась дочь моя Елена.

Должность акушерки пришлось выполнять мне самому.

Из Фатежа я уехал в Москву и там немного менее года был экстерном хирургической клиники Диаконова. По правилам этой клиники врачи-экстерны должны были писать докторскую диссертацию, и мне предложена была тема: "Туберкулез коленного сустава". Через две—три недели меня пригласил профессор Диаконов и спросил, как идет работа над диссертацией. Я ответил, что уже прочел литературу, но нет у меня интереса к этой теме.

Умный профессор с глубоким вниманием отнесся к моему ответу, и когда узнал, что у меня есть соб-

ственная, моя, тема, с живым интересом стал спрашивать о ней. Оказалось, что он ничего не знает о регионарной анестезии, и мне пришлось рассказать ему о книге Брауна. К моей радости, он предложил мне продолжать работу над регионарной анестезией, оставив работу над предложенной мне темой.

Так как моя тема требовала анатомических исследований и опытов с инъекциями окрашенной желатины на трупах, то мне пришлось перейти в Институт Топографической Анатомии и оперативной хирургии, директор которого был профессор Рейн, председатель Московского Хирургического Общества. Но оказалось, что и он ничего не слышал и не читал о регионарной анестезии.

Скоро мне удалось найти простой и верный способ инъекций и к седалищному нерву у самого выхода его из полости таза, что Генрих Браун считал вряд ли разрешимой задачей. Нашел я и способ инъекций к срединному нерву и регионарной анестезии всей кисти руки. Об этих моих открытиях я сделал доклад в Московском Хирургическом Обществе, привлечший большой интерес.

Но не на что мне было жить в Москве с женой и двумя маленькими детьми, и я должен был уехать в село Романовку Балашовского уезда Саратовской губернии в больницу на 25 коек, где развил большую хирургическую работу и напечатал отчет о ней по образцу отчетов клиники профессора Диаконова.

Работу над регионарной анестезией я продолжал в Москве во время месячных отпусков, работая с утра до вечера в Институте профессора Рейна и у профессора Карузина при кафедре описательной анатомии, где исследовал 300 черепов и нашел очень ценный новый способ инъекции к второй ветви трой-

ничного нерва у самого выхода ее из... (в ориг. фраза не окончена).

К концу этой работы я был уже не в Романовке, а состоял главным врачом и хирургом уездной больницы на 50 коек в г. Переяславле-Залесском.

Незадолго до отъезда из Романовки там — с большим приключением — родился мой сын Алеша. Близилось время родов, но я рискнул уехать в Балашов на заседание Санитарного Совета, надеясь скоро вернуться. Не дождавшись окончания заседания, я поспешил на станцию и увидел поезд, давший уже второй свисток. Не успев взять билета, я сел в вагон поезда, но скоро увидел в нем много татар, чего не бывало в Романовском поезде. Оказалось, что я попал не на свой, а в Харьковский поезд и должен был с ближайшей станции вернуться на Балашов. Но Бог помог, и в Романовке я нашел уже новорожденного сына, которого принимала женщина-врач, раньше меня вернувшаяся из Санитарного Совета по дороге в свой врачебный участок.

В 1916 году, живя в Переяславле, я защитил в Москве докторскую диссертацию о регионарной анестезии. Оппонентами были профессор Мартынов, приват-доцент топографической анатомии и оперативной хирургии, фамилии которого не помню, и профессор Карузин.

Интересен был отзыв профессора Мартынова. Он сказал: "Мы привыкли к тому, что докторские диссертации обычно пишутся на заданную тему с целью получения высших назначений по службе, и научная ценность их невелика. Но когда я читал вашу книгу, то получил впечатление пения птицы, которая не может не петь, и высоко оценил ее".

А профессор Карузин, очень взволнованный, под-

бежал ко мне и, усердно потрясая мою руку, просил прощения за то, что не интересовался моей работой на чердаке, где хранятся черепа, и не подозревал, что там творится такая блестящая работа.

За свою работу я получил от Варшавского университета крупную премию Хойнацкого в 900 рублей золотом, предназначавшуюся за лучшее сочинение, пролагающее новые пути в медицине. Однако денег этих мне не пришлось получить, потому что книга была напечатана небольшим тиражом только 750 экземпляров и быстро распродана в книжных магазинах, куда я неосторожно разослал их, и я не мог представить в Варшавский университет требуемое количество экземпляров.

У земского врача, каким я был 13 лет, воскресные и праздничные дни — самые занятые и обремененные огромной работой. Поэтому я не имел возможности ни в Любаже, ни в Романовке, ни в Переяславле-Залесском бывать на богослужениях в церквях и многие годы не говел.

Однако в последние годы моей жизни в Переяславле я с большим трудом нашел возможность бывать в соборе, где у меня было свое постоянное место, и это возбудило большую радость среди верующих жителей Переяславля.

Было и еще одно важное событие в моей жизни, начало которому Господь положил в Переяславле.

С самого начала своей хирургической деятельности в Чите, Любаже и Романовке, я ясно понял, как огромно значение гнойной хирургии и как мало знаний о ней вынес из университета, и поставил себе задачей глубокое изучение, самостоятельно, диагностики и терапии гнойных заболеваний.

В последнее время в Переяславле пришло мне на

мысль изложить свои достижения в особой книге "Очерки гнойной хирургии". Я составил план к этой книге и написал предисловие к ней. И тогда, к моему крайнему удивлению, у меня появилась весьма странная, но неотвязная и неотступная мысль — "когда эта книга будет написана, на ней будет стоять имя епископа".

Быть священнослужителем, а тем более епископом, мне никогда и во сне не снилось, но неожиданные и неведомые нам пути жизни нашей вполне известны Всевышнему Богу уже во чреве матери нашей. Как увидите дальше, уже через несколько лет стала полной реальностью моя неотвязная мысль — "когда эта книга будет написана, на ней будет стоять имя епископа".

В Переяславле-Залесском мы прожили шесть с половиной лет. Там родился мой младший сын — Валентин.

В городской и фабричной больницах я развил очень широкую хирургическую работу и был одним из пионеров в новых тогда крупнейших операциях на желчных путях, желудке, селезенке и даже на головном мозге.

В 1915 и 1916 годах я кроме этого заведовал небольшим госпиталем для раненых.

В начале 1917 года к нам приехала старшая сестра моей жены, только что похоронившая в Крыму свою молоденькую дочь, умершую от скоротечной чахотки. На великую беду, она привезла с собой ватное одеяло, под которым лежала ее больная дочь.

Я говорил своей Ане, что в одеяле привезена к нам смерть. Так и случилось: сестра Ани прожила у нас всего недели две и вскоре после ее отъезда я об-

наружил у Ани явные признаки начинающегося туберкулеза легких.

Это совпало с тем временем, когда я, по объявлению в газете, при очень большом конкурсе получил приглашение в город Ташкент на должность хирурга и главного врача большой городской больницы.

С нами ехала девушка — прислуга, недавно родившая ребенка. На полдороге от Переяславля до Москвы нам пришлось на неделю остановиться в гостинице Троице-Сергиевой Лавры вследствие высокой лихорадки у Ани.

Посадка на поезд в Москве и дальнейший путь до Ташкента с малыми детьми были крайне трудны, так как было уже сильно расстроено железнодорожное движение.

В Ташкенте при больнице у нас была отличная квартира главврача при больнице в 5 комнат, в которых, однако, мне нередко приходилось самому мыть полы из-за неизбежного при революции расстройстве жизни.

В 1917 году в городе происходила междоусобная война между гарнизоном Ташкентской крепости и полком туркменских солдат под предводительством изменившего революции военного комиссара.

Через весь город над нашей больницей летели с обеих сторон во множестве пушечные снаряды, и под ними мне приходилось ходить в больнице.

Восстание Туркменского полка было подавлено, и началась расправа с участниками контрреволюции. При этом и мне, и завхозу больницы пришлось пережить страшные часы.

Мы были арестованы неким Андреем, служителем больничного морга, питавшим ненависть ко мне

за наказание, полученное им по жалобе моей от начальника города.

Меня и завхоза больницы повели в железнодорожные мастерские, в которых происходил суд над Туркменским полком. Когда мы проходили по железнодорожному мосту, стоявшие на рельсах рабочие что-то кричали Андрею. Как я после узнал, они советовали Андрею не возиться с нами, а расстрелять нас под мостом.

Огромное помещение было полно солдатами восставшего полка, и их по очереди вызывали в отдельную комнату и там почти всем в списке имен ставили кресты.

В трибунале участвовали Андрей и другой служащий больницы, который успел предупредить других участников суда, что меня и завхоза по личной злобе арестовал Андрей. Нам крестов не поставили и быстро отпустили. Когда нас проводили обратно, то встретившиеся по дороге рабочие крайне удивлялись тому, что нас отпустили из мастерских.

Позже мы узнали, что в тот же день вечером в огромной казарме была проведена ужасная человеческая бойня над солдатами Туркменского полка и многими горожанами.

А моя бедная больная Аня знала, что меня арестовали, знала, куда увели, и пережила ужасные часы до моего возвращения. Это тяжелое душевное потрясение крайне вредно отозвалось на ее здоровье, и болезнь стала быстро прогрессировать,

Настали и последние дни ее жизни. Она горела в лихорадке, совсем потеряла сон и очень мучалась. Последние 13 ночей я сидел у смертного одра и днем работал в больнице. Настала и последняя, страшная ночь. Чтобы облегчить страдания умирающей, я

впрыснул ей шприц морфия, и она заметно успокоилась. Минут через двадцать слышу: "Впрысни еще". Через полчаса это повторилось опять, и в течение двух-трех часов я впрыснул ей много морфия, далеко превысив допустимую дозу. Но отравляющего действия его не видел.

Вдруг Аня быстро приподнялась, села и довольно громко сказала: "Приведи детей". Пришли дети, и всех она их перекрестила, но не целовала, вероятно, боясь заразить.

Простившись с детьми, она опять легла, спокойно лежала с закрытыми глазами, и дыхание ее становилось все реже и реже...

Настал и последний вздох...

Гроб был заранее приготовлен. Утром пришли мои операционные служанки, омыли и одели тело и уложили в гроб.

Аня умерла 38-ми лет.

Две ночи я сам читал над гробом Псалтирь, стоя у ног покойной в полном одиночестве.

Часа в три второй ночи я читал 112-й псалом, начало которого поется при встрече архиерея в храме, и последние слова псалма поразили меня, потрясли меня, ибо я с совершенной ясностью и несомненностью воспринял их, как слова Самого Бога, обращенные ко мне:

"И неплодную вселяет в дом матерью, радующеюся о детях".

Господу Богу было ведомо, какой тяжелый и тернистый путь ждет меня, и тотчас после смерти матери моих детей Он Сам позаботился о них и мое тяжелое положение облегчил.

Почему-то, без малейшего сомнения, я принял потрясшие меня слова псалма как указание Божие на

мою операционную сестру Софию Сергеевну Велицкую, о которой я знал только то, что она недавно похоронила мужа и была неплодной, т. е. бездетной, и все мое знакомство с ней ограничивалось только деловыми разговорами, относящимися к операциям.

И однако слова "неплодную вселяет в дом мать, радуящуюся о детях" я без сомнения принял, как Божий приказ возложить на нее заботы о моих детях и воспитание их.

Я едва дождался семи часов утра и пошел к Софии Сергеевне, жившей в хирургическом отделении. Я постучал в дверь. Открыв ее, она с изумлением отступила назад, увидев в столь ранний час своего сурового начальника.

"Простите, София Сергеевна, — сказал я ей, — я очень мало знаю вас, не знаю даже, веруете ли вы в Бога, но пришел к вам с Божиим повелением ввести вас в свой дом "матерью, радуящуюся о детях".

Она с глубоким волнением выслушала, что случилось со мной ночью, и сказала, что ей очень было больно только издали смотреть, как мучалась моя жена, и страстно хотелось помочь нам, но она не решалась предложить нам свою помощь. Она с радостью согласилась исполнить Божие повеление о ней. Она издали любила моих младших детей, но согласилась, что не сладит с Мишей, моим старшим сыном, потому что он обижает младших.

Так и случилось. Трех младших детей она очень любила, и особенно самый младший, Валя, не слезал с ее колен. А Мишу пришлось ей перевоспитывать.

Моя квартира главного врача состояла из пяти комнат, так удачно расположенных, что София Сергеевна могла получить отдельную комнату, вполне изолированную от тех, которые я занимал.

Она долго жила в моей семье, но была только второй матерью для детей, и Богу Всеведущему известно, что мое отношение к ней было совершенно чистым. На этом остановлюсь, а позже расскажу о тех великих благодеяниях, которые получили мои дети от Бога через Софию Сергеевну.

Я скоро узнал, что в Ташкенте существовало церковное братство, и пошел на одно из заседаний его.

По одному из обсуждавшихся вопросов я выступил с довольно большой речью, которая произвела большое впечатление. Это впечатление перешло в радость, когда узнали, что я главный врач городской больницы.

Настоятель вокзальной церкви протоиерей Михаил Андреев в воскресные дни по вечерам устраивал в церкви собрания, на которых он сам или желающие из числа присутствующих выступали с беседами на темы Св. Писания, а потом все пели духовные песни. Я часто бывал на таких собраниях и нередко проводил серьезные беседы на темы Св. Писания.

Я, конечно, не знал, что эти мои беседы будут только началом моей огромной проповеднической работы в будущем.

Когда возникла недоброй памяти "Живая Церковь", то, как известно, везде и всюду на епархиальных съездах духовенства и мирян

обсуждалась деятельность епископов и некоторых из них смешали с их кафедр.

Так съезд на суд над епископом Ташкентским и Туркестанским Иннокентием происходил и в Ташкенте, в большой певческой комнате, очень близко от кафедрального собора. На нем присутствовал и я в качестве гостя и по какому-то очень важному вопросу выступил с большой, горячей речью.

Резких выступлений на съезде не было, и деятельность Преосвященного Иннокентия получила положительную оценку.

Когда окончился съезд и присутствующие расходились, я неожиданно столкнулся в выходных дверях с Владыкой Иннокентием. Он взял меня под руку и повел на перрон, окружавший собор. Обойдя два раза вокруг собора, он говорил о большом впечатлении, которое произвела на него моя речь на собрании, восторгался глубиной и искренностью моей веры и, неожиданно остановившись, сказал мне: "Доктор, вам надо быть священником!"

Как я уже говорил раньше, у меня и мысли не было о священстве, но слова Преосвященного Иннокентия я принял как Божий призыв архиерейскими устами и, минуты не размышляя, ответил: "Хорошо, Владыко! Буду священником, если это угодно Богу!"

Впрочем, позже я говорил с Владыкою о том, что в моем доме живет моя операционная сестра Велицкая, которую я, по явно чудесному Божию повелению, ввел в дом матерью, радующейся о детях, а священник не может жить в одном доме с чужой женщиной. Но Владыка не придавал значения этому моему возражению и сказал, что не сомневается в моей верности седьмой заповеди.

Уже в ближайшее воскресенье, при чтении часов,

я, провожаемый двумя диаконами, вышел в чужом подряснике к стоявшему на кафедре Архиепископу и был посвящен им в чтеца, певца и иподиакона, а во время литургии — и в сан диакона, — уже получившего высшую оценку профессора хирургии.

Конечно, это необыкновенное событие посвящения во диакона произвело огромную сенсацию в Ташкенте, и ко мне пришла большая группа студентов медицинского факультета во главе с профессором.

Конечно, они не могли понять и оценить моего поступка, ибо сами были далеки от религии.

Что поняли бы они, если бы я им сказал, что при виде шутовских шествий издевающихся над Господом нашим Иисусом Христом, мое сердце громко кричало: "Не могу молчать!" и я чувствовал, что мой долг — защищать проповедью оскорбляемого Спасителя нашего и восхвалять Его безмерное милосердие к роду человеческому.

Я забыл раньше сказать о том, что в Ташкенте я был одним из инициаторов открытия университета. Большинство кафедр было замещено избранными из числа ташкентских докторов медицины, и только я один был почему-то избран в Москве на кафедру топографической анатомии и оперативной хирургии.

Через неделю после посвящения во диакона, я был рукоположен в иерея епископом Иннокентием, и мне пришлось совмещать свое священство с чтением лекций на медицинском факультете, слушать которые приходили в большом числе студенты других курсов.

Лекции я читал в рясе, с крестом на груди. В то время еще было возможно невозможное теперь.

Преосвященный Иннокентий, редко сам проповедовавший, назначил меня четвертым священником

собора и поручил мне все дело проповеди. При этом он сказал мне словами Апостола Павла: "Ваше дело не крестити, а благовестити".

Он глубоко понимал, что говорил, и слово его было почти пророческим, ибо теперь, на 38-м году своего священства и 36-м году архиерейства, я вполне ясно понимаю, что моим призванием от Бога была именно проповедь и исповедничество имени Христа. За долгое время своего священнослужения я почти никаких треб не совершал, даже ни разу не крестил полным чином крещения.

Кроме проповедей при богослужениях, совершаемых преосвященным Иннокентием и мной самим, я проводил каждый воскресный день после вечерни в соборе беседы на важные и трудные богословские темы, и даже целую серию часовых бесед по критике материализма.

Богословского образования я не имел, но, с явной Божией помощью, легко преодолевал трудности таких бесед.

Кроме того, мне приходилось в течение двух лет вести публичные диспуты при множестве слушателей с некими отрекшимися от Бога протоиереями, например, бывшим миссионером Курской епархии, возглавлявшим антирелигиозную борьбу в Средней Азии.

Как правило, эти диспуты кончались посрамлением отступника веры, и верующие не давали ему прохода вопросами: "Скажи нам, когда ты врал: тогда ли, когда был попом, или теперь врешь?"

Несчастный хулитель Бога стал бояться меня и просил устроителей диспутов избавить его от "этого философа".

Однажды, неведомо для него, железнодорожные

рабочие пригласили меня в свой клуб для участия в диспуте о религии. В ожидании начала диспута я сидел на сцене при опущенном занавесе и вдруг вижу, поднимается на сцену по лестнице мой всегдашний противник и, увидев меня, крайне смутился, поклонился и вышел вниз.

Первым говорил на диспуте он, но, как всегда, мое выступление разбило совершенно все его доводы, и рабочие наградили меня громкими аплодисментами.

На несчастном хулителе Духа Святого страшно сбылось слово псалмопевца Давида: „смерть грешников люта”. Он заболел раком прямой кишки и при операции оказалось, что опухоль уже проросла в мочевой пузырь. Операционная рана в тазу скоро превратилась в страшную клоаку, наполненную гноем, мочой и червями.

Враг Божий пришел в крайнее озлобление от своих страданий и даже партийные медицинские сестры, назначенные для ухода за ним, не могли выносить его злобы и проклятий и отказывались от ухода за ним.

В это трудное для меня время мне приходилось совмещать одновременно несколько весьма трудных дел: кроме служения и проповедей в кафедральном соборе, заведования кафедрой топографической анатомии и чтения лекций, я должен был спешно изучать богословие.

И в этом деле мне помогал Господь Бог через одного из слушателей моих бесед и диспутов, верующего букиниста, который приносил мне так много богословских книг, что образовалась у меня порядочная библиотека.

Но и этого мало: я продолжал работать в качестве главного врача больницы, широко оперировал каж-

дый день и даже по ночам в больнице, и не мог не обрабатывать своих наблюдений научно.

Для этого мне нередко приходилось делать исследования на трупах в больничном морге, куда ежедневно привозили повозки, горой нагруженные трупами беженцев из Поволжья, где свирепствовали тяжелый голод и эпидемия заразных болезней.

Свою работу на этих трупах мне приходилось начинать с собственноручной очистки их от вшей и нечистот.

Многие из этих исследований на трупах легли в основу моей книги "Очерки гнойной хирургии", выдержавшей три издания общим тиражом 60 тысяч экземпляров.

За нее я получил Сталинскую премию первой степени, и многие называют ее классической.

Однако работа на покрытых вшами трупах обошлась мне недешево. Я заразился возвратным тифом в очень тяжелой форме, но, по милости Божией, болезнь ограничилась одним очень тяжелым приступом и вторым незначительным.

Незадолго до церковного раскола и появления "Живой Церкви" епископ Иннокентий созвал съезд духовенства Ташкентской и Туркестанской епархии, который должен был избрать двух кандидатов на возведение в архиерейский сан. Выбор пал на архимандрита Виссариона и меня.

Вскоре произошло восстание против Патриарха Тихона московских и ленинградских священников, возглавляемое протоиереем Александром Введенским.

По всей России произошло разделение духовенства на стойких и крепких духом, верных Православной Церкви и Патриарху Тихону, и на малодушных, не-

верных, или не разбирающихся в бурных церковных событиях, вошедших в Живую Церковь, возглавляемую Введенским и немногими его сообщниками, имена которых не помню.

Такой раскол произошел и в Ташкентской епархии, и Преосвященный Иннокентий поспешил произвести хиротонию архимандрита Виссариона. Совместно с епископом Сергием Лавровым, недавно переведенным в Ташкент из Ашхабадской ссылки, произвел полным чином наречение во епископа архимандрита Виссариона. Но на другой же день нареченный епископ был арестован и выслан из Ташкента. Позже он примкнул к Григорианскому расколу и получил сан митрополита.

Преосвященный Иннокентий был очень испуган и тайно уехал в Москву, надеясь оттуда тайно попасть в Валаамский монастырь, но это, конечно, ему не удалось.

В самом начале церковного бунта Преосвященный Иннокентий выступил со смелой, сильной проповедью, убеждая священников и старост сохранять верность Церкви Православной и Патриарху Тихону, и ни в коем случае не подчиняться живоцерковному епископу, приезда которого мы ждали. Но два видных протоиерея встали на сторону Живой Церкви, и к ним присоединились другие, и верных осталось немного.

Епископ уехал, в Церкви бунт. Тогда протоиерей Михаил и я стали во главе правления. Мы развили довольно большую деятельность, мы объединили оставшихся верными священников и церковных старост. Мы устроили съезд оставшихся верными, предупредив об этом ГПУ, прося разрешения и присылки наблюдателя.

Вскоре после этого из Ашхабада в Ташкент был переведен ссыльный Уфимский епископ Андрей Ухтомский.

Незадолго до своего ареста и ссылки в Среднюю Азию он был в Москве, и Патриарх Тихон, находившийся под домашним арестом, дал ему право избирать кандидатов для возведения в сан епископа и тайным образом устраивать их хиротонии.

Приехав в Ташкент, Преосвященный Андрей одобрил избрание меня кандидатом во епископа собором Туркестанского духовенства, тайно постриг меня в монахи в моей спальне и направил меня в Таджикский город Пенджикент, отстоящий верст на 90 от города Самарканда. Он говорил мне, что хотел дать мне имя целителя Пантелеймона, но когда побывал на литургии, совершаемой мной, и услышал мою проповедь, то нашел, что мне гораздо более подходит имя Апостола, Евангелиста, врача и художника Луки.

В Пенджикенте были два ссыльные епископа: Даниил Болховской и Василий Суздальский, к которым он написал переданное мною письмо с просьбой совершить надо мной архиерейскую хиротонию. Как я выше писал, я был два года и четыре месяца священником Ташкентского Кафедрального Собора, не переставая работать главным хирургом городской больницы и читать лекции на медицинском факультете.

Мой отъезд в Самарканд был секретным и потому я назначил на следующий день, для отвода глаз, четыре операции, а сам вечером уехал в Самарканд в сопровождении одного иеромонаха и диакона и своего старшего 16-летнего сына.

Утром приехали в Самарканд, но найти парокон-

ного извочика для дальнейшего пути в Пенджикент оказалось невозможным почти, так как все боялись нападения басмачей. Наконец нашелся один забулдыга, который решился нас везти. Ехали, ехали и на половине дороги остановились в чайхане отдохнуть и покормить лошадей.

Две последние ночи я не спал ни минуты и там, как только лег на деревянный помост, на котором пьют чай узбеки, в тот же миг точно в бездну провалился, заснув мертвым сном.

Я спал только три четверти часа, но сон укрепил меня, и я совершенно отдохнул.

Преосвященные Даниил и Василий, прочитав письмо Андрея Ухтомского, решили назначить назавтра литургию для совершения хиротонии, а немедленно отслужить вечерню и утреню в маленькой церкви святителя Николая Мирликийского, без звона и при закрытых дверях.

С ними жил ссыльный московский священник протоиерей Свенцицкий, известный церковный писатель, который тоже принял участие в моей хиротонии.

На вечерне и литургии читали и пели мои спутники и протоиерей Свенцицкий.

Преосвященных Даниила и Василия смущало то обстоятельство, что я не был архимандритом, а только иеромонахом, и не было наречения меня в сан епископа. Однако недолго колебались и решили обойтись без чина наречения. На следующий день назначили литургию, чтобы совершить мою хиротонию. Все мы утром отправились в церковь. Заперли за собой дверь и не звонили, а сразу начали службу и в начале литургии совершили хиротонию во епископа. При хиротонии хиротонисуемый склоняется пред

престолом, а архиереи держат над его головой разомкнутое Евангелие. В этот важный момент хиротонии, когда архиереи разогнули над моей головой Евангелие и читали совершительные слова таинства священства, я пришел в такое глубокое волнение, что всем телом дрожал, и потом архиереи говорили, что подобного волнения не видели никогда. Из церкви Преосвященные Даниил и Василий вернулись домой несколько раньше меня и встретили меня архиерейским приветствием: "Тон деспотин..." Архиереем я стал 18/31 мая 1923 г. В Ташкент мы вернулись на следующий день вполне благополучно.

Когда сообщили об этой хиротонии покойному Патриарху Тихону, то он, ни минуты не сомневаясь, признал и утвердил законной мою хиротонию.

Все священники Кафедрального собора, узнав о моей хиротонии, разбежались, как крысы с тонущего корабля, и свою первую воскресную всенощную и литургию, совпавшую с памятью равноапост. Константина и Елены я мог служить только с одним протоиереем Андреевым, с которым после бегства епископа Иннокентия мы взяли на себя управление епархиальными делами и созывали в Ташкент на епархиальные собрания священников и членов церковных советов, отвергнувших Живую Церковь. На эти собрания мы просили ГПУ прислать своих наблюдателей, но ни разу они не приехали.

На моей первой литургии присутствовал в алтаре Преосвященный Андрей Ухтомский и волновался, ожидая, что я не сумею служить без ошибок. Но ни одной ошибки я не сделал.

Спокойно прошла следующая неделя, и я спокойно отслужил вторую воскресную всенощную. Вернувшись домой, я читал правила к причащению Св.Таин.

В 11 ч. вечера стук во входную дверь, обыск и первый мой арест.

Четверо моих детей остались на попечении Софии Сергеевны Велицкой. Ее и детей выгнали из моей квартиры главного врача и поселили в небольшой каморке, где они могли поместиться только потому, что дети сделали нары, и каморка стала двухэтажной.

Однако Софию Сергеевну не выгнали со службы; она получала два червонца в месяц и на них кормилась с детьми.

Меня посадили в подвал ГПУ. Так положено было начало одиннадцати годам тюрем и ссылок.

Тетрадь II

В конце октября 1919 года умерла моя жена, и я остался с четырьмя детьми, из которых старшему было 12 лет, а младшему — 6 лет.

Тринадцать последних ночей жизни моей жены я не спал, сидя у ее кровати, а когда она умерла, я читал Псалтирь над ее гробом, и в глубокую ночь, когда я дошел до псалма, последние слова его вдруг поразили меня, потрясли как молния. Это были слова: "... и неплодную вселяет в дом матерью, радующеюся о детях".

Эти слова я принял, как Божие указание на мою операционную сестру Софию Сергеевну Велицкую, которой я совсем не знал, имея с нею только деловое общение во время операций. Я знал о ней только, что она бездетная вдова.

Едва дождавшись утра, я пошел в хирургическое отделение, где она жила. Она отпрянула назад, уви-

дев своего сурового профессора, и с изумлением выслушала о том, что случилось ночью над гробом моей жены.

Я только спросил ее, верует ли она в Бога и хочет ли исполнить она Божие повеление заменить моим детям их умершую мать.

Она рассказала, как мучительно переживала она последнее время жизни моей жены и как хотелось ей помочь мне и умирающей больной.

И исполнилось слово Божие, и вселилась она в мой дом "матерью, радующеюся о детях", но, конечно, не второй женой моей, ибо я был до крайности далек от этой мысли.

Прошло больше года...

В день Сретения Господня 1921 года я был рукоположен во диакона, Преосвященным Епископом Ташкентским Иннокентием, а через несколько дней и в сан пресвитера.

Назначив меня младшим священником собора, епископ Иннокентий, редко проповедовавший, поручил мне все дело проповеди, и сказал при этом слова, ставшие пророческими, о главной задаче, которую назначил мне Бог. Вот эти слова:

"Отец Валентин, Ваше дело не крестити, а благовестити".

За долгие годы своего служения, сперва иерейского, а потом архиерейского, я, сколько помнится, никого не крестил полным чином крещения, а только одного тяжело больного ребеночка крестил сокращенным чином и совершил необыкновенное крещение двух детей далеко за полярным кругом в селе Плахине.

Службу в соборе я совмещал довольно долгое время с заведованием кафедрой топографической

анатомии и оперативной хирургии Ташкентского университета.

Лекции читал в рясе и с крестом на груди.

Каждое воскресенье я вел после вечерни внебогослужебные беседы на весьма важные и трудные богословские темы, привлекавшие много слушателей.

Целый цикл этих бесед был посвящен критике материализма.

В то время мне приходилось выступать на антирелигиозных диспутах и вести упорную борьбу с хулителем Бога и религии, бывшим миссионером Курской епархии протоиереем Ломакиным, возглавившим антирелигиозную пропаганду во всем Туркестане.

Я так успешно побивал его, что он стал бояться меня и избегать встреч со мной.

Замечательна смерть этого хулителя Духа Святого: ему была сделана операция рака прямой кишки, который, как оказалось, пророс в мочевой пузырь.

В тазу образовалась крайне зловонная полость, наполненная мочой и калом и кишевшая множеством червей.

Страдание и зловоние так озлобили этого несчастного хулителя Бога, что никто не мог выносить близости его, и даже партийные медицинские сестры отказывались ухаживать за ним.

Весной 1923 года епископ Иннокентий созвал съезд духовенства Ташкентской епархии для выбора кандидатов на возведение в сан епископа.

Выбор пал на архимандрита Виссариона и меня.

Немного позже приехал в Ташкентскую ссылку епископ Уфимский Андрей (кн. Ухтомский), которому патриарх Тихон, бывший тогда под домашним арестом, дал право избирать и поставлять епископов.

Он тайно постриг меня в иеромонаха в моей квартире и дал мне имя Апостола и Евангелиста Луки.

Он говорил мне потом, что хотел мне дать имя целителя Пантелеймона, но, присутствуя при служении мною литургии и после проповеди, увидел во мне апостольскую ревность и дал мне имя Апостола Луки.

Епископ Иннокентий предпринял совершение епископской хиротонии над архимандритом Виссарионом совместно с ссыльным епископом Сергием Лавровым и однажды вечером они совершили первую часть хиротоний — наречение Виссариона во епископа. Однако в ту же ночь епископ Виссарион был арестован.

Поэтому Преосвященный Андрей решил, что моя хиротония должна быть тайной.

В то время я продолжал мою большую хирургическую работу в Ташкентской городской больнице. Я назначил на следующий день операции, а вечером уехал на поезде в город Самарканд в сопровождении иеромонаха, диакона и своего старшего сына.

Преосвященный Андрей написал письмо двум ссыльным епископам: Даниилу Болховскому и Василию Суздальскому, жившим в маленьком городке Пенджикенте, в 90 верстах от Самарканда, и нам надлежало ехать туда на лошадях. Однако не скоро удалось найти извозчика, так как все отказывались ехать в Пенджикент из боязни басмачей. Наконец удалось найти смельчака, не побоявшегося большого риска.

С Божией помощью мы доехали благополучно. Нас с любовью встретили преосвященные Даниил и Василий и разделявший с ними ссылку известный московский протоиерей Свенцицкий. Решили назначить мою хиротонию на другой день в очень маленькой церкви Святителя Николая Мирликийского.

Возникло затруднение в том, что я еще не архи-

мандрит, но вспомнили ряд примеров посвящения во епископа иеромонаха и успокоились.

Наречения не было, а только служили вечерню и утреню.

На другой день оба епископа и протоиерей Свенцицкий и все мои спутники без звона вошли в церковь и заперли дверь.

Когда началась хиротония, и архиереи развернули над моей головой Святое Евангелие, мною овладело очень сильное волнение, какого, по словам преосвященных Василия и Даниила, они никогда не видели.

При возвращении домой я был встречен общим пением "Тон деспотин..."

В тот же день, четверг 18 мая, мы возвратились в Ташкент и на воскресенье 21 мая, в день памяти Равноапостольного Константина и Елены я назначил первую архиерейскую службу. Преосвященного Иннокентия уже не было, так как он уехал в Москву.

Все соборные священники разбежались, как крысы с тонущего корабля, и всенощную и литургию я служил с одним протоиереем Михаилом Андреевым, настоятелем вокзальной церкви.

Преосвященный Андрей с волнением наблюдал из алтаря, не делаю ли я ошибок в первой архиерейской литургии, но, по милости Божией, ошибок не было.

Спокойно прошла неделя. Служил вторую всенощную, и, вернувшись домой, читал правила к причащению.

Часов в 11, когда я еще не кончил правила, оно было прервано стуком в дверь: пришли чекисты арестовать меня.

Я простился с детьми и Софией Сергеевной и в первый раз вошел в "Черный ворон", как называли автомобиль ГПУ.

Меня посадили в подвал ГПУ.

Первый допрос был совершенно нелепым. Меня спрашивали о знакомстве с неведомыми мне людьми, о сообществе с оренбургскими казаками, о которых я, конечно, ничего не знал.

Однажды ночью вызвали на допрос, продолжавшийся часа два. Его вел очень крупный чекист, занимавший потом очень видную должность в московском ГПУ. Он допрашивал меня о моих политических взглядах и о моем отношении к советской власти. Услышав, что я всегда был демократом, он поставил вопрос ребром: "Так кто же вы — друг наш или враг наш?"

Я ответил: "И друг ваш и враг ваш. Если бы я не был христианином, то, вероятно, стал бы коммунистом. Но вы воздвигли гонение на христианство, и потому, конечно, я не друг ваш".

Меня на время оставили в покое, и из подвала перевели в другое, более свободное помещение. Меня держали в наскоро приспособленном под тюрьму ГПУ большом дворе с окружающими его постройками.

На дальнейших допросах мне предъявили вздорное обвинение в сношениях с оренбургскими казаками и другие выдуманные обвинения.

В годы своего священства и работы главным врачом Ташкентской больницы я не переставал писать свои "Очерки гнойной хирургии", которые хотел издать двумя частями и предполагал издать их вскоре: оставалось написать последний очерк 1-го выпуска: "О гнойных заболеваниях среднего уха и осложнениях его".

Я обратился к начальнику тюремного отделения, в котором находился, с просьбой дать мне возмож-

ность написать эту главу. Он был так любезен, что предоставил мне право писать в его кабинете по окончании его работы.

Я скоро окончил первый выпуск своей книги. На заглавном листе этого 1-го выпуска я написал: **ЕПИСКОП ЛУКА. ОЧЕРКИ ГНОЙНОЙ ХИРУРГИИ.**

Так удивительно сбылось таинственное и непонятное мне Божие предсказание об этой книге, которое я получил еще в Переяславле-Залесском несколько лет назад: "Когда эта книга будет написана, на ней будет стоять имя епископа".

Издать книгу двумя выпусками мне не удалось, и она была напечатана первым, далеко не полным изданием только после первой моей ссылки. Имя епископа, конечно, было выпущено.

В тюрьме меня держали недолго и освободили на один день для того, чтобы я ехал свободно в Москву.

Всю ночь моя бывшая квартира главного врача была наполнена прихожанами собора, пришедшими проститься со мной.

В это время мое архиерейское место уже было занято живоцерковным "митрополитом" Николаем, которого я назвал лютым вепрем, возлегшем на моем горнем месте, и запретил иметь с ним общение.

Это мое завещание взбесило чекистов.

Утром, простившись с детьми, я отправился на вокзал и занял место не в арестантском, а в пассажирском вагоне.

После первого, второго и третьего звонков поезд минут 20 не двигался с места. Как я узнал только через долгое время, поезд не мог двигаться по той причине, что толпа народа легла на рельсы, желая удержать меня в Ташкенте.

Но, конечно, это было невозможно.

В Москве я явился в центральное ОГПУ. После короткого, ничего не значащего допроса, мне объявили, что я могу свободно жить в Москве неделю, а потом должен снова явиться в ГПУ.

В течение этой недели я два раза был у Патриарха Тихона и один раз служил совместно с ним.

При вторичной явке в ГПУ меня арестовали и отправили в Бутырскую тюрьму.

После недельного пребывания в карантине меня поместили в уголовную камеру, в которой, однако, бандиты и жулики относились ко мне довольно прилично.

В тюремной больнице я впервые познакомился с Новгородским митрополитом Арсением.

В соседней камере, тоже уголовной, находился священник, имевший очень большое влияние на бандитов и жуликов. Влияние этого священника внезапно прекратилось, когда в камеру вошел старик, матерый вор, которого уголовники встретили как своего вождя — с большим почтением.

Нас каждый день выпускали на прогулку в тюремный двор. Возвращаясь со двора во второй этаж, я впервые заметил у себя одышку.

Однажды, к моему большому удивлению, меня вызвали на свидание. Через решетку я разговаривал со своим старшим сыном Мишей, которому было лет 16. В поисках работы он испытал немало злоключений. В Киеве ему пришлось красить железнодорожный мост, вися в люльке над Днепром.

В библиотеке Бутырской тюрьмы мне, к большой радости, удалось получить Новый Завет на немецком языке, и я усердно читал его.

Глубокой осенью большую партию арестантов Бу-

тырской тюрьмы погнали пешком через всю Москву в Таганскую тюрьму.

Я шел в первом ряду, а недалеко от меня тот матерый вор-старик, который был повелителем шпаны в соседней с моею камерой Бутырской тюрьмы.

В Таганской тюрьме меня поместили не со шпаной, а в камере политических заключенных.

Все арестанты, в том числе и я, получили небольшие тулупчики от жены Максима Горького.

Проходя в клозет по длинному коридору, я увидел через решетчатую дверь пустой одиночной камеры пол, который по щиколотку был залит водой, сидящего у колонны и дрожащего полуголого шпаненка и отдал ему ненужный мне полушубок.

Это произвело огромное впечатление на старика, предводителя шпаны, и каждый раз, когда я проходил мимо уголовной камеры, он очень любезно приветствовал меня и именовал "батюшкой".

Позже, в других тюрьмах, я не раз убеждался в том, как глубоко ценят воры и бандиты простое человеческое отношение к ним.

В Таганской тюрьме я заболел тяжелым гриппом, вероятно, вирусным, и около недели пролежал в тюремной больнице с температурой около 40°.

От тюремного врача получил справку, в которой было написано, что я не могу идти пешком и меня должны везти на подводе.

В московских тюрьмах я сидел вместе с протоиереем Михаилом Андреевым, приехавшим из Ташкента вместе со мной, вместе с ним уехал и из Москвы в свою первую ссылку в начале зимы 1923 года.

Когда поезд пришел в город Тюмень, был тихий лунный вечер и мне захотелось пойти в тюрьму пешком, хотя стража предлагала подводу. До тюрьмы

было не более версты, но, на мою беду, нас погнали быстрым шагом, и в тюрьму я пришел с сильной отдышкой. Пульс был мал и част, а на ногах появились большие отеки до колен. Это было первое проявление миокардита, причиной которого надо считать возвратный тиф, который я перенес в Ташкенте через год после принятия священства.

В Тюменской тюрьме наша остановка продолжалась недолго, около двух недель, и я все время лежал без врачебной помощи, так как единственную склянку лекарства получил только дней через двенадцать.

В Тюменской тюрьме мы впервые встретились с протоиереем Илларионом Голубятниковым и дальше ехали вместе с ним.

Вторая этапная остановка была в городе Омске, но о ней у меня не осталось никаких воспоминаний.

От Омска мы ехали до Новосибирска в "столыпинском" арестантском вагоне, состоявшем из отдельных камер с решетчатыми дверями и узкого коридора с маленькими, высоко поднятыми оконцами.

В камеру, отведенную для меня и моих спутников — двух профессоров, посадили кроме нас, бандита, убившего 8 человек, и проститутку, уходившую по ночам на практику к нашим стражникам.

Бандит знал, что я в Таганской тюрьме отдал свой полушубок дрожавшему шпаненку, и был очень вежлив со мной. Он уверял меня, что никогда и нигде меня не обидит никто из их преступной братии.

Однако уже в Новосибирской тюрьме при мытье в бане у меня украли несколько сот рублей, а позже в той же тюрьме украли чемодан с вещами.

В этой тюрьме нас посадили сперва в отдельную камеру, а вскоре перевели в большую уголовную, где нас шпана встретила настолько враждебно, что я дол-

жен был спастись бегством от них, стал стучать в дверь под предлогом необходимости выйти в клозет и, выйдя, заявил надзирателю, что ни в коем случае в камеру не вернусь.

От Новосибирска до Красноярска ехали без особых приключений и в Красноярске были посажены в большой подвал двухэтажного дома ГПУ.

Подвал был очень грязен и загажен человеческими испражнениями, которые нам пришлось чистить.

Рядом с нашим подвалом был второй каземат, в котором находились казаки повстанческого отряда.

Имени их предводителя я не запомнил, но никогда не забуду ружейных залпов, доносившихся до нас при их расстреле.

В подвале ГПУ мы прожили недолго, и нас отправили дальше по зимнему пути в город Енисейск за 320 километров к северу от Красноярска.

Об этом пути я мало помню, не забуду только операции, которую мне пришлось произвести на одном из ночлегов крестьянину лет тридцати.

После тяжелого остеомиелита, никем не леченного, у него торчала из зияющей раны в дельтовидной области вся верхняя треть и головка плечевой кости. Нечем было перевязывать его, и рубаха и постель его всегда были залиты гноем. Я попросил найти слесарные щипцы и ими без всяких затруднений вытащил огромный секвестр.

В Енисейске мы получили хорошую квартиру в доме зажиточного человека и прожили в нем около двух месяцев.

К нам присоединился еще один ссыльный священник, и все мы по воскресным и праздничным дням совершали всенощную и литургию в своей квартире, в которую входила и гостиная.

В Енисейске было очень много церквей, но и здесь, как в Красноярске, священники уклонились в живоцерковный раскол, и с ними мы, конечно, не могли молиться. Один диакон сохранил верность православию, и я рукоположил его в пресвитера.

В один из праздничных дней я вошел в гостиную, чтобы начать литургию, и неожиданно увидел стоявшего у противоположной стены старика-монаха. Он точно остолбенел, увидев меня, и даже не поклонился.

Придя в себя, он сказал, отвечая на мой вопрос, что в Красноярске народ не хочет иметь общения с неверными священниками и решил послать его в город Минусинск, верст за 200 к югу от Красноярска, где жил православный епископ (имени его не помню).

Но к нему не поехал монах Христофор, ибо какая-то неведомая сила влекла его ко мне.

”Почему же ты так остолбенел, увидев меня?” — спросил я его. ”Как же было мне не остолбенеть! — ответил он, — десять лет назад я видел сон, который как сейчас помню. Мне снилось, что я в Божием храме, и неведомый мне архиерей рукополагает меня в иеромонахи. Сейчас, когда вы вошли, я увидел этого архиерея!”

Монах сделал мне земной поклон, и за литургией я рукоположил его в иеромонаха.

Десять лет тому назад, когда он видел меня, я был земским хирургом в г. Переяславле-Залесском и никогда не помышлял ни о священстве, ни о архиерействе.

А у Бога в то время уже был епископом...

Так неисповедимы пути Господни.

Мой приезд в Енисейск произвел очень большую сенсацию. История достигла апогея, когда я сделал

экстракцию врожденной катаракты трем слепым маленьким мальчикам-братьям и сделал их зрячими.

По просьбе доктора Василия Александровича Башурова, заведовавшего Енисейской больницей, я начал оперировать у него и за два месяца жития в Енисейске сделал немало очень больших хирургических и гинекологических операций.

В то же время я вел большой прием у себя на дому, и было так много желавших попасть ко мне, что в первые же дни оказалось необходимым вести запись больных. Эта запись, начатая в первых числах марта, скоро достигла Св. Троицы.

Незадолго до моего приезда в Енисейск был закрыт женский монастырь, и две послушницы этого монастыря рассказывали мне, каким кощунством и надругательством сопровождалось это закрытие храма Божиего. Дело дошло до того, что комсомолка, бывшая в числе разорявших монастырь, задрала все свои юбки и села на престол.

Этих двух послушниц я постриг в монашество и сам дал им имена: старшую назвал Лукией, а младшую — Валентиной.

Незадолго до Благовещения я был послан в назначенное мне место ссылки — деревню Хая на реке Чуне, притоке Ангары.

Лукия и Валентина с вещами поехали вперед меня, а со мной до районного села Богучан ехали протоиереи Илларион Голубятников и Михаил Андреев.

Ехали мы на лошадях по замерзшему Енисею и Ангаре до Богучан, где нас разлучили, послав Голубятникова и Андреева в недалекие от Богучан деревни, а меня за 120 верст в деревню Хая.

В Богучанах я оперировал больного, у которого был нагноившийся эхинококк печени, и через нес-

колько месяцев, возвращаясь из Хаи, нашел его вполне здоровым.

В Богучанах мне указали благочестивого крестьянина в селе Хая, у которого советовали поселиться, но предупреждали, что у него злая старуха-мать.

В Хае меня уже ожидали мои монашки, поселившиеся у этого крестьянина.

Старуха-мать его встретила меня с большой радостью.

Мне отвели две комнаты, в одной из которой я с монашками совершал богослужение, а в другой спал.

К сожалению, я нарушил правило, по которому служить божественную литургию можно только в храме, и был за это наказан.

Злая старуха только в первые дни приходила на наши богослужения, а потом не только оставалась на нашей половине, но старалась всячески мешать нашим службам.

Удивительным образом Господь запретил мне совершать литургию в доме злой старухи.

У меня было вполне нормальное пищеварение, и литургии шли сперва вполне благополучно, но после освящения Св. Даров я вдруг почувствовал очень сильный позыв на испражнение, несколько раз повторявшийся, и едва-едва мог причаститься Св. Таин и с судорожной поспешностью окончил литургию.

На всю жизнь запомнил я этот тяжелый урок и никогда более не совершал литургию в жилых домах.

Злая старуха все больше и больше стала притеснять нас и прямо-таки выживать из дома.

Дело дошло до того, что мы с монахинями вынесли из дома свои вещи и сели на них у стены.

Видя нас выгнанными из дома, народ возмутился, заставил старуху принять нас обратно в дом.

В Хае мне довелось оперировать у старика катаракту в исключительной обстановке.

У меня был с собой набор глазных инструментов и маленький стерилизатор.

В пустой нежилой избе я уложил старика на узкую лавку под окном и в полном одиночестве сделал экстракцию катаракты. Операция прошла вполне успешно.

За нее я получил 10 беличьих шкурок, ценившихся по рублю.

Довелось мне совершать и погребение умершего крестьянина по пасхальному чину с моими монахинями.

В Хае мы прожили месяца два и был получен приказ отправить меня обратно в Енисейск.

Нам дали двух провожатых крестьян и верховых лошадей. Монахини впервые сели на лошадей. Очень крупные оводы так нещадно жалили лошадей, что целые струи крови текли по их бокам и ногам. Лошадь, на которой ехала монахиня Лукия, не раз ложилась и каталась по земле, чтобы избавиться от оводов, и сильно придавила ей ногу.

На полдороге до Богучан мы побывали в лесной избушке, несмотря на требование провожатых ехать дальше всю ночь. На них подействовала только моя угроза, что они будут отвечать перед судом за бесчеловечное отношение ко мне — профессору.

Не доезжая верст 10 до Богучан, прекратилась наша верховая езда. Меня, никогда прежде не сидевшего верхом и крайне утомленного, пришлось снимать с лошади моим провожатым.

Дальше до Богучан мы ехали на телеге.

Дальше плыли по Ангаре на лодках, пришлось миновать опасные пороги.

Вечером на берегу Енисея, против устья Ангары, мы с монахинями отслужили под открытым небом незабываемую вечерню.

По прибытии в Енисейск меня заключили в тюрьму в одиночную камеру.

Ночью я подвергся такому нападению клопов, которого нельзя было и представить себе. Я быстро заснул, но вскоре проснулся, зажег электрическую лампочку и увидел, что вся подушка, и постель, и стены камеры покрыты почти сплошным слоем клопов. Я зажег свечу и стал поджигать клопов, падавших на пол со стен и постели. Эффект этого поджигания был поразительным: после часа поджигания в камере не осталось ни одного клопа. Они, по-видимому, как-то передали друг другу: "Спасайся, братцы! Здесь поджигают!"

В последующие дни я больше не видел клопов: они все ушли в другие камеры.

В Енисейской тюрьме меня держали недолго и отправили дальше вниз по Енисею, когда пришел из Красноярска караван, состоявший из небольшого парохода, буксировавшего несколько барж, в одну из которых меня поместили вместе с отправляемыми в Туруханский край социал-революционерами.

Монахини Лукия и Валентина хотели провожать меня, но это им не позволили.

Путь по широкому Енисею, текущему в безграничной тайге, был скучен и однообразен.

На полдороге до Туруханска была небольшая остановка в довольно крупном селении, названия которого я не помню.

На берегу меня встретила большая группа ссыльных, встречавших каждый пароход в надежде уви-

деть меня, ибо как-то прослышали о моей ссылке в Туруханск.

Из этой группы подошел и представился мне пресвитер Ленинградской баптистской общины Шилов, с особым нетерпением ожидавший меня. Позже, как увидим, он приезжал ко мне в Туруханск для долгих бесед со мной.

Немного поодаль стояла другая группа людей, тоже ожидавших меня. Это были тунгусы, все больные трахомой. Одному из них, полуслепому от заворота век, я предложил приехать ко мне в Туруханск, в больницу для операции. Он вскоре последовал моему совету, и я сделал ему пересадку слизистой оболочки губы на веки. По окончании ссылки на обратном пути из Туруханска я узнал, что он отлично видит и по-прежнему стреляет белок в глаз.

В Туруханске, когда я выходил из баржи, толпа народа, ожидавшая меня, вся опустилась на колени, прося благословения.

Меня сразу же поместили в квартире врача больницы и предложили вести врачебную работу.

Незадолго до этого врач больницы распознал у себя рак нижней губы и уехал в Красноярск, где ему была сделана операция, уже запоздалая, как оказалось впоследствии.

В больнице оставался фельдшер, и вместе со мной приехала из Красноярска молодая девушка, только что окончившая фельдшерскую школу и очень волновавшаяся от перспективы работать с профессором.

С этими двумя помощниками я делал такие большие операции, как резекция верхней челюсти, большие чревосечения и гинекологические операции и немало глазных.

Уже начинался ледоход на Енисее, когда, к моему

удивлению, приехал ко мне на лодке за 700 верст ленинградский пресвитер баптистов Шилов, о первой встрече с которым на полпути от Енисейска до Туруханска я уже раньше упоминал при описании моего пути от Енисейска до Туруханска.

Шилов предпринял этот опасный и тяжелый путь только ради бесед со мной.

Еще раньше него в Туруханск приехал маленький, щедушный еврей, который из Америки приехал в Москву под видом коммуниста, но чем-то возбудил подозрение и был заключен в упраздненный Соловецкий монастырь.

Этот еврей присутствовал однажды при моей беседе с Шиловым, и я исполнил его просьбу о разрешении присутствовать при наших беседах, которые продолжались дня три по несколько часов ежедневно.

Шилов просил меня совместно разобрать целый ряд текстов Св. Писания и, конечно, я разъяснил их в православном духе. Но странным образом оказалось, как увидим в дальнейшем описании возвращения моего в Ташкент, Шилов счел меня убежденным в правоте баптизма.

Наши беседы закончились, по предложению Шилова, молитвой, но не общей, как ему хотелось, а каждый молился в отдельности. Я прочитал важнейшие православные молитвы, Шилов — баптистскую импровизацию, а еврей — свою молитву.

Шилов успел вернуться в Красноярск на каком-то запоздавшем пароходе.

В Туруханске был закрытый мужской монастырь, в котором, однако, стариком-священником совершались все богослужения. Он подчинился красноярскому живоцерковному архиерею, и мне надо было

обратить его и всю Туруханскую паству на путь верности православию.

Я легко достиг этого проповедью о грехе великом церковного раскола: священник принес покаяние пред народом, и я мог бывать на церковных службах и почти всегда проповедовал в них.

Туруханские крестьяне были мне глубоко благодарны и привозили меня в монастырь и домой на устланных ковром санях.

В больнице я, конечно, никому не отказывал в благословении, которое очень ценили тунгусы и всегда просили.

За это и за церковные проповеди мне пришлось дорого поплатиться.

О председателе Туруханского краевого совета меня предупреждали, что он большой враг и ненавистник религии.

Это, однако, не помешало ему возопить к Богу о спасении когда он попал в жестокую бурю на Енисее на небольшой лодке.

По требованию этого председателя меня вызвал уполномоченный ГПУ и объявил, что мне строго запрещается благословлять больных в больнице, проповедовать в монастыре и ездить в него на покрытых ковром санях. Я ответил, что по архиерейскому долгу не могу отказать людям в благословении, и предложил ему самому повесить на дверях объявление о запрещении больным просить у меня благословения.

Этого, конечно, он сделать не мог.

О поездках в церковь — я тоже предложил ему запретить крестьянам подавать мне сани, устланные ковром.

Этого он тоже не сделал. Однако недолго терпел он мою твердость и бесстрашие.

Здание ГПУ стояло очень близко от больницы. Меня вызвали туда, и у входной двери я увидел сани, запряженные парой лошадей, и милиционера.

Уполномоченный ГПУ встретил меня с большой злобой и объявил, что за неподчинение требованиям Исполкома я должен немедленно уехать дальше из Туруханска, и на сборы мне дается полчаса времени.

Я только спокойно спросил, куда же именно посылают меня, и получил раздраженный ответ: "На Ледовитый океан".

Я спокойно ушел в больницу, и за мной последовал милиционер. Он шепнул мне на ухо: "Пожалуйста, пожалуйста, профессор, собирайтесь как можно скорее: нам нужно только выехать отсюда поскорее и доехать до ближайшей деревни, а дальше поедem спокойно".

Скоро мы доехали до недалекой от Туруханска деревни Селиванихи, получившей свое название от Селиванова, главаря секты скопцов, отбывавшего в ней свою ссылку.

Скоро собрались мне компаньоны по ссылке — социал-революционеры, с большим интересом относившиеся ко мне и снабдившие меня деньгами и меховым одеялом, которое очень пригодилося мне.

После ночлега на съезжей избе поехали дальше.

Путь по замерзшему Енисею в сильные морозы был очень тяжел для меня.

Однако именно в это трудное время я очень ясно, почти реально ощущал, что рядом со мной — Сам Господь Иисус Христос, поддерживающий и укрепляющий меня.

Ночуя в прибрежных станках, мы доехали до Северного Полярного круга, за которым стояла дере-

вушка, названия которой я не помню. В ней когда-то жил в ссылке И. В. Сталин.

Когда мы вошли в избу, хозяин ее протянул мне руку. Я спросил его: "Ты разве не православный? Не знаешь, что у архиереев просят благословения, а не руку подают?"

Это, как позже оказалось, произвело на конвоировавшего меня милиционера очень большое впечатление. Он и раньше, на пути от Селиванихи до следующего станка, говорил мне: "Я чувствую себя на положении Малюты Скуратова, везущего митрополита Филиппа в Отречь монастырь".

Следующий мой ночлег был в станке из двух дворов, в котором жил суровый старик Афиноген, на положении средневекового феодального барона, со своими четырьмя сыновьями. Он присвоил себе исключительное право на ловлю рыбы на Енисее на протяжении 40 километров, и никто не смел оспаривать его. Младший из его сыновей был необыкновенным примером патологической лени. Он отказывался от всякой работы и по целым дням лежал. Его много раз свирепо, до полусмерти, избивали, но ничего не помогало.

Старик Афиноген считал себя примерным христианином и любил читать Св. Писание. До поздней ночи я беседовал с ним, разъясняя ему неправильно понимаемое им.

Дальнейший путь был еще более тяжел. Один из следующих станков сгорел. Мы не могли остановиться в нем на ночь и с трудом достали оленей, ослабевших от недостатка корма. На них пришлось ехать до следующего станка.

Проехав до остановки, не менее 70 верст, я очень

ослабел и так закоченел, что меня на руках внесли в избу и долго отогревали.

Дальнейший путь до станка Плахино, стоявшего за 230 километров от Полярного круга, прошел без приключений.

Моему комсомольцу, как он сам мне сказал, было поручено самому избрать место ссылки, и он решил оставить меня в Плахине.

Это был совсем небольшой станок, состоявший из трех изб, и, как мне показалось, еще двух больших груд навоза и соломы, — но и это были жилища двух небольших семей.

Мы вошли в главную избу, и вскоре сюда же вошли вереницей очень немногочисленные жители Плахина. Все низко поклонились мне, и председатель станка сказал мне: "Ваше Преосвященство! Не извольте ни о чем беспокоиться: мы все для вас устроим".

Он представлял мне одного за другим мужчин и женщин, говоря при этом: "Не извольте ни о чем беспокоиться. Мы уже все обсудили. Каждый мужик обязуется поставлять вам полсаженя дров в месяц. Эта женщина будет для вас готовить, а эта будет стирать. Не извольте ни о чем беспокоиться".

Все просили у меня благословения и показали мне приготовленное для меня помещение в другой избе, состоящей из двух половин. В одной половине жил молодой крестьянин со своей женой. Их переселили в другую половину избы, уплотнив живших там.

Мой конвоир-комсомолец очень внимательно наблюдал за всей сценой знакомства моего с жителями. Он должен был сейчас же уехать ночевать в торговой фактории, стоявшей за несколько километров от Плахина. Было видно, что он взволнован предстоящим прощанием со мной. Но я вывел его из затруд-

нения, благословив и поцеловав его. Это, как увидим в дальнейшем повествовании, произвело на него сильнейшее впечатление.

Я остался один в своем новом помещении. Это была довольно просторная половина избы с двумя оконцами, в которых вместо вторых рам были снаружи приморожены плоские льдины.

Щели в окнах не были ничем заклеены, а в наружном углу местами был виден сквозь большую щель дневной свет.

На полу в углу лежала куча снега. Вторая такая же куча, никогда не таявшая, лежала внутри избы, у порога входной двери. Для ночлега и дневного отдыха крестьяне соорудили широкие нары и покрыли их оленьими шкурами. Подушка была у меня с собой.

Вблизи нар стояла железная печурка, которую на ночь я наполнял дровами и зажигал, а лежа на нарах накрывался своей енотовой шубой и меховым одеялом, которое подарили мне в Селиванихе.

Ночью меня пугали вспышки пламени в железной печке, а утром, когда я вставал со своего ложа, меня охватывал мороз в избе, от которого толстым слоем льда замерзала вода в ведре.

В первый же день я принялся заклеивать щели в окне клейстером и толстой оберточной бумагой от покупок, сделанных в фактории, и ею же пытался закрыть щель в углу избы.

Весь день и всю ночь я топил железную печурку. Когда сидел, тепло одетый, за столиком, то выше пояса было тепло, а ниже его — холодно.

Однажды мне пришлось помыться в таком холоде, так как я дал зарок еще в Хае не мыться в деревянной бане, испытав там крайние затруднения.

Мне принесли таз и два ведра воды — в одном хо-

лодной, с кусками льда, а в другом — горячей, и не понимаю, как я умудрился помыться в таких условиях.

Иногда по ночам меня будил точно сильнейший удар грома. Но это был не гром, а трескался лед поперек широкого Енисея.

Недолго я получал пищу от бабы, которая обязалась стряпать для меня: она подралась со своим любовником и отказалась готовить пищу для меня.

Мне пришлось в первый раз в жизни попробовать самому готовить себе пищу, о чем я не имел никакого понятия*.

Не помню уже, какой курьез получился у меня при попытке изжарить рыбу, но хорошо помню, как я варил кисель.

Я сварил клюкву и стал приливать жидкий крахмал. Сколько я ни лил его, мне все казалось, что кисель жидкий. Я продолжал лить крахмал, пока кисель не превратился в твердую массу.

Испытав такое фиаско со своей кулинарией, я должен был спастись, и надо мной сжалилась другая баба и стала стряпать для меня.

У меня был с собой Новый Завет, с которым я не расставался и в ссылках своих. И в Плахине я предложил крестьянам читать и объяснять Евангелие.

Они как будто с радостью откликнулись на это, но радость была недолгая: с каждым новым чтением слушателей становилось все меньше и меньше, и скоро прекратились мои чтения и проповедь.

Расскажу еще об одном Божием деле, которое пришлось мне совершить в Плахине.

* Рыбу мне приносили крестьяне, а другие продукты покупали в фактории.

Теперь, когда пишу эти воспоминания, я уже более 37 лет в священном сане (более 35 лет — в архиепископском), но, как это ни странно, я крестил только трех детей: одного, близкого к смерти, сокращенным чином, и других двух совсем необыкновенным образом.

Ташкентский епископ Иннокентий, рукополагая меня в диакона и пресвитера, сказал мне словами Апостола Павла: "Ваше дело не крестити, а благовестити".

За все время своего священства я оставался профессором и читал лекции по топографической анатомии и оперативной хирургии в рясе и с крестом на груди.

Оставался и главным хирургом Ташкентской городской больницы, а потому служил только по воскресеньям, никаких треб не совершал, а после вечера вел долгие беседы на важные богословские темы.

Этим и объясняется, что я ни разу не крестил полным чином крещения.

И вот в самой дальней моей ссылке, за 230 верст дальше Полярного круга, в станке Плахино мне пришлось крестить двух малых детей в совсем необычайной обстановке.

В станке было только три избы и два человеческих жилища, из которых одно я принял за стог сена, а другое за кучу навоза!

Вот в этом последнем мне и пришлось крестить.

У меня не было ничего: ни облачения, ни требника, и за неимением последнего, я сам сочинял молитвы, а из полотенец сделал подобие епитрахили.

Убогое человеческое жилище было так низко, что я мог стоять только согнувшись. Купелью служила де-

ревянная кадка, а все время совершения таинства мне мешал теленок, вертевшийся около купели.

Св. миро у меня, конечно, не было, но я вспомнил, что я преемник Апостолов, и заменил миропомазание возложением рук на крещаемых с призывом Св. Духа, как это делали Апостолы в свое время.

И теперь мне, архиерею, крестить не приходится, ибо крестят мои священники.

В Плахине часто бывают очень сильные морозы, и там не живут вороны и воробьи, потому что могут внезапно замерзнуть и на лету камнем упасть на землю.

За два месяца моей жизни в Плахине я только один раз увидел сидевшую на кусте маленькую птичку, похожую на большой комок розового пуха.

Однажды мне пришлось испытать крайне жестокий мороз, когда несколько дней подряд беспрестанно дул северный ветер, называемый тамошними жителями "сивер".

Это тихий, но не прекращающийся ни днем, ни ночью леденящий ветер, который едва переносят лошади и коровы. Бедные животные день и ночь стоят, повернувшись задом к северу.

На чердаке моей избы были развешаны рыболовные сети с большими деревянными поплавками. Когда дул "сивер", поплавки непрестанно стучали, напоминая мне музыку Грига "Пляска мертвецов".

Мне, конечно, всегда приходилось и днем, и ночью выходить из избы по естественным надобностям на снег и мороз. Это было крайне трудно и в обычное время, но когда дул "сивер", положение становилось отчаянным.

В Плахине я прожил немногим более двух ме-

сяцев — до начала марта — и ни одного проезжего в этом станке ни разу не было.

Только в начале марта Господь неожиданно послал мне избавление. В начале Великого поста в Плахино приехал нарочный из Туруханска и привез мне письмо, в котором уполномоченный ГПУ вежливо предлагал мне вернуться в Туруханск.

Я не понимал, что случилось, почему меня возвращают в Туруханск, и узнал, только вернувшись туда.

Оказалось, что в Туруханской больнице умер крестьянин, нуждавшийся в неотложной операции, которой без меня не могли сделать. Это так возмутило туруханских крестьян, что они вооружились вилами, косами и топорами и решили устроить погром ГПУ и сельсовета. Туруханские власти были так напуганы, что немедленно послали за мной гонца в Плахино.

Обратный путь в Туруханск был не слишком трудный, и только в станке Афиногена мне пришлось испытать неприятность.

Отвезти меня в станок, где некогда жил Сталин, Афиноген послал одного из своих сыновей. Лошадь шла все время шагом, и ямщик не хотел погонять ее. Я не стерпел этого, вырвал из рук ямщика вожжи и стал хлестать лошадь. Ямщик соскочил с саней и побежал обратно. Мне ничего не оставалось, как повернуть лошадь и ехать шагом к избе Афиногена.

Этот "истинный христианин" крайне грубо изругал меня, архиерея, но гнев его тотчас утих, когда он получил от меня золотую монету. Он дал мне пару хороших лошадей, а ямщиком — другого своего сына.

На одном из следующих станков я испытал поездку на собаках: шесть здоровых сибирских псов были

запряжены в нарты. Они бежали хорошо, но вдруг одна из них укусила другую, другая — четвертую, и все свалились в дерущуюся кучу. Ямщик соскочил и стал лупить собак деревянным шестом, который служил ему для управления собаками. Порядок был восстановлен, и собаки благополучно довели нас до места назначения.

Первым, кто встретил меня в Туруханске с распростертыми объятиями и неподдельной радостью, был тот самый милиционер-комсомолец, который вез меня из Туруханска в Плахино.

Я опять начал работу в больнице. Уполномоченный ГПУ, выславший меня из Туруханска на север по Енисею с большой злобой и скрежетанием зубов — за мое неподчинение его требованиям не ездить на санях, покрытых ковром, в монастырь, и не благословлять никого в больнице — встретил меня изысканно вежливо и осведомился о моем здоровье, о жите в Плахине.

Однажды случился пикантный инцидент. Уполномоченный по какому-то делу пришел ко мне в больницу. Во время разговора отворилась дверь и в комнату вошла целая вереница эвенков (тунгусов) со сложенными руками для принятия благословения. Я встал и всех благословил, а уполномоченный сделал вид, что не замечает ничего.

И в монастырь я, конечно, продолжал ездить в санях, покрытых ковром.

Это мое второе пребывание в Туруханске длилось восемь месяцев: от Благовещения Пресвятой Богородицы до ноября.

В середине лета, не помню точно в какой форме, я имел, как мне казалось, предсказание от Бога о скором возвращении из Туруханской ссылки. Я ждал

с нетерпением исполнения этого обещания, но шли недели за неделями и все оставалось по-прежнему. Я впал в уныние и однажды, в алтаре зимней церкви, которая сообщалась дверью с летней церковью, со слезами молился пред образом Господа Иисуса Христа. В этой молитве, очевидно, был и ропот против Господа Иисуса за долгое невыполнение обещания об освобождении. И вдруг я увидел, что изображенный на образе Иисус Христос резко отвернул Свой лик от меня. Я пришел в ужас и отчаяние и не смел больше смотреть на икону.

Как побитый пес, вышел я из алтаря и пошел в летнюю церковь, где на клиросе увидел книгу Апостол. Я машинально открыл ее и стал читать первое, что попало мне на глаза.

К большой скорби моей, я не запомнил текста, который прочел, но этот текст произвел на меня прямо-таки чудесное действие. Им обличалось мое неразумие и дерзость ропота на Бога, и вместе с тем подтверждалось обещание нетерпеливо ожидавшегося мною освобождения.

Я вернулся в алтарь зимней церкви и с радостью увидел, глядя на запрестольный образ, что Господь Иисус Христос опять смотрит на меня светлым и благодатным взглядом.

Разве же это не чудо?!

Возвращение из 1-й ссылки

Приближался конец моей Туруханской ссылки.

С низовьев Енисея приходили один за другим пароходы, привозя моих многочисленных товарищей по ссылке, одновременно со мною получивших тот же

срок. Наш срок кончился. И эти последние пароходы должны были отвезти нас в Красноярск.

В одиночку и группами приходили пароходы изо дня в день. А меня не вызывали в ГПУ для получения документов.

Вечером в конце августа пришел последний пароход и наутро должен был уйти.

Меня не вызывали, я волновался, не зная, что было предписание задержать меня еще на год.

Утром 20 августа я по обыкновению читал утреню, а пароход разводил пары.

Первый протяжной гудок парохода...

Я читаю 4-ю кафизму Псалтиря...

Последние слова 31-го псалма поражают меня как гром...

Я всем существом воспринимаю их как голос Божий, обращенный ко мне. Он говорит:

”Вразумлю тя, и наставлю тя на путь сей, в оньже пойдеш; утвержу на тя очи Мои. Не будите яко конь и мекс, имже несть разума, броздами и уздою челюсти их востягнеши, не приближающихся к тебе”.

И внезапно наступает глубокий покой в моей смятенной душе.

Пароход дает третий гудок и медленно отчаливает... Я слежу за ним с тихой, радостной улыбкой, пока он не скрывается от взоров моих...

”Иди, иди — ты мне не нужен...”

Господь уготовил мне другой путь, не путь в грязной барже, которую ты ведешь, а светлый архиерейский путь!”

Через три месяца, а не через год Господь повелел отпустить меня, послав мне маленькую варикозную язву голени с ярким воспалением кожи вокруг нее.

Меня обязаны были отпустить в Красноярск.

Енисей замерз в хаотическом нагромождении огромных льдин. Санний путь по нему должен был установиться только в начале января.

Только один из ссыльных — эсер Чудинов — был задержан при отходе последних пароходов и должен был ехать со мною.

К нему в ссылку приехала жена с десятилетней дочерью, которая внезапно умерла в Туруханске.

Последнее время я постоянно замечал в церкви стоявшего у двери Чудинова, внимательно слушающего мои проповеди.

По Енисею возили только на нартах, но для меня крестьяне сделали крытый возок.

Настал долгожданный день отъезда...

Я должен был ехать мимо монастырской церкви, стоявшей на выезде из Туруханска, в которой я много проповедовал и иногда даже служил.

У церкви меня встретил священник с крестом и большая толпа народа.

Священник рассказал мне о необыкновенном событии. По окончании литургии в день моего отъезда вместе со старостой он потушил в церкви все свечи, но когда для проводов меня вошел в церковь, внезапно загорелась одна свеча в паникадиле с минуту померцала — и потухла.

Так проводила меня любимая мною церковь, в которой под спудом лежали мощи св. мученика Василия Мангазийского.

Тяжкий путь по Енисею был тем светлым путем архиерейским о котором при отходе последнего парохода предсказал мне Сам Бог словами псалма 31-го:

”Вразумлю тя, и наставлю на путь сей, в оньже пойдещи; утвержу на тя очи Мои”.

— Буду смотреть, как ты пойдешь этим путем, а ты не рвись на пароход, как конь или мул, не имеющие разума, которых надо направлять удилами или уздою.

Мой путь по Енисею был поистине архиерейским путем, ибо на всех тех остановках, в которых были приписные церкви и даже действующие, меня встречали колокольным звоном, и я служил молебен и проповедовал.

С самых давних времен архиерея в этих местах не видели.

Тетрадь III

Только в конце 1933 года я был освобожден и приехал в Москву.

Господу Богу было, конечно, известно, что я затеваю новый тяжко-греховный шаг, и Он предупредил меня крушением поезда, которое, к сожалению, только напугало меня, но не образумило.

В Москве первым делом я явился в канцелярию Местоблюстителя митрополита Сергия. Его секретарь спросил меня, не хочу ли я занять одну из свободных архиерейских кафедр.

Оставленный Богом и лишенный разума, я усугубил свой тяжкий грех непослушания Христову повелению ”Паси овцы Моя” страшным ответом ”нет”.

Несколько раньше я имел намерение вернуться в Ташкент и написал об этом митрополиту Арсению,

но из ответа его понял, что он вовсе не обрадуется моему приезду.

Еще до окончания моей архангельской ссылки я послал наркому здравоохранения Владимирскому письмо с просьбой предоставить мне возможность заняться в специальном исследовательском институте разработкой гнойной хирургии.

На погибель себе я от митрополита Сергия отправился в Министерство здравоохранения, чтобы лично ходатайствовать об этом.

Нарком Владимирский меня не принял, а направил к своему заместителю.

Я спросил заместителя об организации для меня специального научно-исследовательского Института гнойной хирургии.

Он очень сочувственно отнесся к моей просьбе и обещал поговорить о ней с директором Института экспериментальной медицины Федоровым, который должен скоро приехать.

На радость диаволу и на свою погибель я очень обрадовался этому, но Бог, хранивший меня и направлявший мои пути, сохранил меня от гибели, ибо Федоров отказался предоставить епископу заведование научно-исследовательским институтом.

Мне некуда было деваться, но на обеде у митрополита Сергия один из архиереев посоветовал мне поехать в Крым.

Без всякой разумной цели я поехал в Феодосию.

Там я чувствовал себя сбившимся с пути и оставленным Богом. Питался в грязной харчевне, ночевал в Доме крестьянина, и, наконец, принял новое решение — вернуться в Архангельск.

Там месяца два снова принимал больных в амбулатории.

В Архангельске открывался в это время Медицинский институт и мне предлагали кафедру хирургии.

Я отказался и, немного опомнившись, уехал в Ташкент.

Оставаться в Ташкенте, мешая митрополиту Арсению, нельзя было.

Я опустился до такой степени, что надел гражданскую одежду и в Министерстве здравоохранения получил должность консультанта при Андижанской больнице.

Там я тоже чувствовал, что благодать Божия оставила меня. Мои операции были неудачны. Я выступил в неподходящей для священника роли лектора о злокачественных образованиях, и скоро тяжело был наказан Богом. Я заболел тропической болезнью папатачи, которая осложнилась отслойкой сетчатки левого глаза.

Уехав в Ташкент, я получил в свое заведование маленькое отделение на 25 кроватей по гнойной хирургии, при клинической больнице. Позже это отделение было расширено до 50 кроватей.

Скоро я узнал об операции швейцарского окулиста Гопена, которой излечивалось от 50 до 80% больных отслойкой сетчатки. Эта операция скоро получила большое распространение во многих странах, и в Москве ее делал профессор Одинцов.

Я оставил работу по гнойной хирургии и поехал в Москву в клинику Одинцова.

Он дважды сделал мне операцию Гопена, ибо в первый раз неточно определил все места отслойки сетчатки.

Я лежал с завязанными глазами после операции,

и поздно вечером меня опять внезапно охватило страстное желание продолжать работу по гнойной хирургии.

Я обдумал, как снова написать об этом наркомуну здравоохранения, и с этими мыслями заснул. Спасая меня, Господь Бог послал мне совершенно необыкновенный, вещий сон, который я помню с совершенной ясностью и теперь, через много лет.

Мне приснилось, что я в маленькой пустой церкви, в которой ярко освещен только алтарь.

В церкви, неподалеку от алтаря, у стены стоит рака какого-то преподобного, закрытая тяжелой деревянной крышкой.

В алтаре на престоле положена широкая доска, и на ней лежит голый человеческий труп.

По бокам и позади престола стоят студенты и врачи и курят папиросы, а я читаю им лекцию на трупе.

Вдруг я вздрагиваю от тяжелого стука и, обернувшись, вижу, что упала крышка с раки преподобного, он сел в гробу и, повернувшись, смотрит на меня с неммым укором.

Я с ужасом проснулся...

Непостижимо для меня, что и этот страшный сон не образумил меня.

По выписке из клиники я вернулся в Ташкент и еще два года продолжал работу в гнойно-хирургическом отделении, работу, которая нередко была связана с необходимостью производить исследования на трупах.

И не раз приходила мне мысль о недопустимости такой работы для епископа. Более двух лет еще я продолжал эту работу и не мог оторваться от нее, потому что она давала мне, одно за другим, очень важные научные открытия, и собранные в гнойном от-

делении наблюдения составили впоследствии важнейшую основу для написания моей книги "Очерки гнойной хирургии", за которую я получил Сталинскую премию 1-й степени и которую теперь называют классической.

В своих покаянных молитвах я усердно просил у Бога прощения на это двухлетнее продолжение работы по хирургии, но однажды моя молитва была остановлена голосом из неземного мира: "В этом не кайся!"

И я понял, что мои "Очерки гнойной хирургии" были угодны Богу, ибо в огромной степени увеличили силу и значение моего исповедания имени Христа в разгар антирелигиозной пропаганды.

10 февраля 1936 года скоропостижно скончался от кровоизлияния в мозг митрополит Арсений.

С преосвященным Арсением у меня были самые близкие и дружеские отношения. Он любил моих детей и Софию Сергеевну и часто бывал у них.

Он подарил мне две своих фотокарточки, на одной из которых написал:

"Жертве за Жертву" (Фил. 2, 17), а на другой:

"Тобою, брат, успокоены сердца святых" (Филим. 7).

Снимался и вместе со мной.

Он очень внимательно слушал мои проповеди и высоко ценил их.

О себе он говорил, что исполнил все предназначенное ему от Бога и потому ждал смерти.

Через год, в 1937 году, начался страшный для Святой Церкви период — период власти Ежова как начальника Московского ОГПУ. Начались массовые аресты духовенства и всех других, подозреваемых

во вражде к советской власти. Конечно, был арестован и я.

Ежовский режим был поистине страшен.

На допросах к арестованным применялись даже пытки.

Был изобретен допрос конвейером, который дважды пришлось испытать и мне.

Этот страшный конвейер продолжался непрерывно, день и ночь.

Допрашивавшие чекисты сменяли друг друга, а допрашиваемому не давали спать ни днем, ни ночью.

Я опять начал голодовку протеста и голодал много дней.

Несмотря на это, меня заставляли стоять в углу, но я скоро падал от истощения.

У меня начались ярко выраженные зрительные и тактильные галлюцинации, сменявшие одна другую.

То мне казалось, что по комнате бегают желтые цыплята, и я ловил их. То я видел себя стоящим на краю огромной впадины, в которой был расположен целый город, ярко освещенный электрическими фонарями.

Я ясно чувствовал, что под рубахой на моей спине шевелятся змеи.

От меня неуклонно требовали признания в шпионаже, но в ответ я только просил указать, в пользу какого государства я шпионил. На это ответить, конечно, не могли.

Допрос конвейером продолжался 13 суток, и не раз меня водили под водопроводный кран, из которого обливали мою голову холодной водой.

Не видя конца этому допросу, я надумал напугать чекистов. Потребовал вызвать начальника Секретного отдела ГПУ и, когда пришел он, сказал, что

подпишу все, чего они хотят, кроме разве покушения на убийство Сталина.

Заявил о прекращении голодовки и просил прислать мне обед.

Я предполагал перерезать себе височную артерию, приставив к виску нож и сильно ударив по головке его.

Для остановки кровотечения нужно было бы перевязать височную артерию, что невозможно в ГПУ, и меня пришлось бы отвезти в больницу или в хирургическую клинику.

Это вызвало бы большой скандал в Ташкенте.

Очередной чекист сидел на другом конце стола.

Когда принесли обед, я незаметно ощупал тупое лезвие столового ножа и убедился, что височной артерии им не перерезать.

Тогда я вскочил и, быстро отбежав на середину комнаты, начал пилить себе горло ножом. Но и кожу разрезать не мог.

Чекист, как кошка, бросился на меня, вырвал нож и ударил кулаком в грудь.

Меня отвели в другую комнату и предложили постать на голом столе с пачкой газет под головой, вместо подушки.

Несмотря на пережитое тяжкое потрясение, я все-таки заснул, и не помню, долго ли я спал.

Меня уже ожидал начальник Секретного отдела, чтобы я подписал сочиненную им ложь о своем шпионаже.

Я только посмеялся над этим требованием.

Потерпев фиаско со своим почти двухнедельным конвейером, меня возвратили в подвал ГПУ.

Я был совершенно обессилен голодовкой и кон-

вейером и, когда нас выпустили в уборную, упал в обморок на грязный пол. В камеру меня принесли на руках.

На другой день меня перевезли в "Черном вороне" в центральную областную тюрьму.

В ней я пробыл около восьми месяцев в очень тяжелых условиях.

Большая камера наша была до отказа наполнена заключенными, которые лежали на трехэтажных нарах и на каменном полу в промежутках между ними.

К параше, стоявшей у входной двери, я должен был пробираться по ночам через всю камеру между лежавшими на полу людьми, спотыкаясь и падая на них.

Передачи были запрещены, и нас кормили крайне плохо.

До сих пор помню обед на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, состоявший из большого чана горячей воды, в которой было разболтано очень немного гречневой крупы.

Не помню, по какому поводу я попал однажды в тюремную больницу. Там, с Божией помощью, мне удалось спасти жизнь молодому жулику, тяжело больному. Я видел, что молодой тюремный врач совсем не понимает его болезни; я сам исследовал его и нашел абсцесс в легких. Мне удалось добиться согласия тюремного врача послать этого больного в клинику, в которой работал мой ученик доктор Ротенберг. Я написал ему, что и как найдет он при операции, а Ротенберг позже мне написал, что дословно подтвердилось все написанное в моем письме.

Жизнь жулика была спасена, и долго еще после этого при наших прогулках в тюремном дворе меня громко приветствовали с третьего этажа уголовные

заклученные и благодарили за спасение жизни жулика.

К сожалению, я забыл многое пережитое в областной тюрьме. Помню только, что меня привозили на новые допросы в ГПУ и усиленно добивались признания в каком-то шпионаже.

Был повторен допрос конвейером, при котором однажды проводивший его чекист заснул. Вошел начальник Секретного отдела и разбудил его.

Попавший в беду чекист, прежде всегда очень вежливый со мной, стал бить меня по ногам своей собственной ногой, обутой в кожаный сапог.

Вскоре после этого, когда я уже был измучен конвейерным допросом и сидел, низко опустив голову, я увидел, что против меня стояли три главных чекиста и наблюдали за мной.

По их приказу меня повели в подвал ГПУ и здесь посадили в очень тесный карцер.

Конвойные солдаты, переодевая меня, увидели очень большие кровоподтеки на моих ногах и спрашивали, откуда они взялись.

Я ответил, что это бил меня своими сапогами какой-то чекист.

В карцере меня мучили несколько дней в очень тяжелых условиях.

Позже я узнал, что результаты моего первого допроса о шпионаже, сообщенные в Московское ГПУ, были там признаны негодными, и приказано произвести новое следствие.

Видимо, этим объясняется мое долгое заключение в областной тюрьме и второй допрос конвейером.

Хотя и это второе следствие осталось безрезультатным, меня все-таки послали в третью ссылку в Сибирь на три года.

Третья ссылка

Везли меня на этот раз уже не через Москву, а через Алма-Ату в Новосибирск.

По дороге до Красноярска меня очень подло обокрали жулики в вагоне. На глазах всех заключенных ко мне подсел молодой жулик, сын ленинградского прокурора, и долго "заговаривал мне зубы", пока за его спиной два жулика опустошили весь мой чемодан.

В Красноярске нас недолго продержали в какой-то пересылочной тюрьме на окраине города и оттуда отвезли в село Большая Мурта 120 верст от Красноярска.

Там я первое время бедствовал без постоянной квартиры, но довольно скоро дали мне комнату при районной больнице и предоставили работать в ней вместе с тамошним врачом и его женой, тоже врачом.

Позже они мне говорили, что я едва ходил от слабости и они считали меня дряхлым стариком.

Однако я довольно скоро окреп и развил большую хирургическую работу в Муртинской больнице.

Из Ташкента мне прислали очень много историй болезни из гнойного отделения Ташкентской больницы, и я имел возможность, благодаря этому, написать много новых глав своей книги "Очерки гнойной хирургии".

Неожиданно вызвали меня в Муртинское ГПУ и объявили мне, что мне разрешено ехать на два месяца в город Томск для работы в тамошней очень обширной библиотеке медицинского факультета.

Можно думать, что это было результатом посланной мной просьбы дать мне возможность закончить

свою работу по гнойной хирургии, очень необходимой для военно-полевой хирургии.

В Томске я отлично устроился на квартире, которую мне предоставила одна глубоко верующая женщина.

За два месяца я успел перечитать всю новейшую литературу по гнойной хирургии на немецком, французском и английском языках и сделал большие выписки из нее.

По возвращении из Томска в Большую Мурту я вполне закончил свою большую книгу "Очерки гнойной хирургии".

Наступила уже весна 1941 года, когда гитлеровские полчища, покончив с западными странами, вторглись в пределы СССР.

В конце июля прилетел в Большую Мурту на самолете главный хирург Красноярского края и просил меня лететь вместе с ним в Красноярск, где я был назначен главным хирургом эвакогоспиталя 15—15.

Этот госпиталь был расположен на трех этажах очень большого здания, прежде бывшего школой.

В нем я проработал не менее двух лет, и воспоминания об этой работе остались у меня светлые и радостные.

Раненые офицеры и солдаты очень любили меня.

Когда я обходил палаты по утрам, меня радостно приветствовали раненые.

Некоторые из них, безуспешно оперированные в других госпиталях по поводу ранений больших суставов, излеченные мной, неизменно салютовали мне высоко поднятыми прямыми ногами.

Приезжавший в наш госпиталь профессор Приоров, инспектор всех эвакогоспиталей, говорил мне, что ни в одном из очень многих госпиталей, которые

он объезжал, он не видел таких блестящих результатов лечения инфицированных суставов, как у меня.

В конце войны я написал небольшую книжку "О поздних операциях при инфицированных ранениях больших суставов", которую представил на соискание Сталинской премии вместе с большой книгой "Очерки гнойной хирургии".

По окончании работы в эвакуогоспитале 15—15 я получил за работу в нем благодарственную грамоту Западно-Сибирского Военного округа, а по окончании войны был награжден медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941—1945 гг."

Священный Синод при Местоблюстителе Патриаршего Престола митрополите Сергии приравнял мое служение по лечению раненых к доблестному архиерейскому служению и ввел меня в чин Архиепископа.

В Красноярске я совмещал лечение раненых с архиерейским служением в Красноярской епархии, и во все воскресенья и праздничные дни ходил далеко за город в маленькую кладбищенскую церковь, так как другой церкви в Красноярске не было.

Ходить я должен был по такой грязи, что однажды на половине дороги завяз в грязь и должен был вернуться домой.

Служение архиерейским чином было невозможно, так как при мне не было никого, кроме старика-священника, и я ограничивался только усердной проповедью Слова Божия.

По окончании моей ссылки в 1943 году я возвратился в Москву и был назначен в Тамбов, в области которого до революции было 110 церквей, а я застал только две: в Тамбове и в Мичуринске.

Имея много свободного времени, я и в Тамбове

около двух лет совмещал церковное служение с работой в госпитале для раненых.

В 1946 году получил Сталинскую премию 1-й степени за свои "Очерки гнойной хирургии" и "Поздние резекции при инфицированных ранениях больших суставов".

В мае 1946 года я был переведен на должность Архиепископа Симферопольского и Крымского.

Студенческая молодежь отправилась на вокзал встречать меня с букетами цветов, но встреча не удалась, так как я прилетел на самолете (26 мая 1946 г.).

„Мемуары” были продиктованы секретарю полностью ослепшим архиепископом Лукой (Войно-Ясенецким) в 1958 г. в Симферополе. Перепечатаны с подлинника. М.П.

А н т о н и й митрополит Сурожский

БЕСЕДА НА ПРИХОДСКОМ ВЕЛИКОПОСТНОМ
ГОВЕНИИ

1

Из года в год в течение всего Великого Поста каждую субботу читается отрывок Евангелия, где нам рассказывается о том, как Христос совершил то или иное чудо в субботний день; и как Он этим вызвал недоумение одних, негодование других, и большую, глубокую радость людей простых, которые не задумывались над нарушением Им закона, а радовались о том, что Бог, нарушая как бы закон, может быть проявляет бесконечную Свою милость, Свою вдумчивую заботу о людях. И вот перед нами стоит вопрос: *Почему* Христос в субботний день, всегда как бы в нарушение законодательства, совершает Свои дела милосердия? И почему всегда эти дела милосердия являются чудом исцеления телесного и, вместе с этим, чудом духовного возрождения человека? Фарисеи спрашивали Его: *Неужели* ты не можешь выбрать другого дня? Они обращались к народу: *Неужели* вам *нужно* приходить именно в субботний день исцеляться — неужели нет шести дней в неделю, когда Бог заповедал *творить* дела перед тем, как Он почил в седьмой день? Неужели Христос только

потому совершает Свои дела милосердия, проявляет Божественную власть прощать грехи, Божественную силу делать человека *цельным* до конца, в душе, в теле — во всем, в субботний день только для того, чтобы вызвать недоумение? Неужели для того, чтобы смутить души честных, добросовестных людей, преданных закону, *долг* которых этот закон хранить, соблюдать? Неужели, когда становится на весы вопрос об их гневе, об их душевном смущении, о вопросе, который они *себе настойчиво* ставят, и Ему, и другим: неужто ты пришел *нарушить* закон против милосердия жалости — неужели перевес берет *просто жалость* и как бы ни во что не вменяется смущение, гнев, боль, оскорбление религиозного чувства? В чем же тут дело?

Это не праздный вопрос, потому что все, что относится ко Христу, имеет к нам прямое, непосредственное, личное отношение. Если это случилось тогда, если апостолы сочли нужным нам это поведать, и не один раз, а раз за разом, то для того, чтобы мы тоже не только задумались, но что-то поняли, чего *не* могли понять люди в то время, потому что они не знали Христа, не знали Кто Он и не понимали того, что понимаем мы теперь.

Бог почил от дел Своих в седьмой день: шесть дней Он творил, шесть дней мы видим как сначала из ничего, а потом из хаоса жизни Он вызывает одну вещь за другой, одно существо за другим, как постепенно, можно сказать, раскрывается Вселенная как цветок, расцветает Вселенная, каждый день начинается вечером, и каждый день расцветает новое утро, и каждое утро по отношению к будущему дню является как бы *вечером*. Раскрывается жизнь от славы к славе, от красоты к красоте, от величия к ве-

лично; и когда *всё* совершено, когда сотворен человек, образ Божий на земле, которому Бог поручил заботу о ней, Господь прекращает Свое творчество и поживает от дел Своих...

Но что же дальше? Дальше эта земля наша поручена человеку; как сказал католический венский архиепископ Кёниг, седьмой день отдыха Божия является днем и часом творчества человека.

И в этом дне мы живем. В Ветхом завете, до Христа, человек силился создать человеческое общество, построить град человеческий; и в этой попытке сплетается много вдохновения, много красоты, и очень много страшного и уродливого. Грех человеческий страшным образом переплетается с правдой Божией; вдохновение, которое ему дано от Бога, сталкивается с греховностью, которую он, человек, *вызвал* к бытию. И вот приходит какой-то момент, та полнота времен, о которой вы слышали сегодня в начале послания к Евреям, когда Сам Бог входит в человеческую историю, когда Сын Божий делается Сыном человеческим, когда Слово делается плотью. И в этот момент, в это короткое 33-летнее время среди людей есть один человек, который является человеком в полном смысле этого слова — *совершенным* человеком. И совершенен он потому, что Он одновременно совершенный Бог. Потому что, пока человек не соединился неразлучно, навсегда, до самых глубин своих с Богом, до того момента человек еще не в полном смысле человек; он только на пути своего очеловечения. Христос, потому что Он — Бог-человек, является человеком в полном, завершенном смысле этого слова. И в Его лице время человеческое находит тоже свое восполнение. Он — единственный в совершенстве, единственный человек может

вступить в этот седьмой день и творить в нем Божию волю, совершенную, спасительную. Этот седьмой день, который является днем отдохновения Отца, который является днем человека, является, одновременно, с Воплощением, днем *Сына* человеческого. Человеку было поручено Богом то творение, которое Бог зачаточно совершил, довести до самого совершенства. Св. Максим Исповедник нам говорит о том, что человек принадлежит двум мирам: телом своим — земле, и душой своей, всем душевным существом, духом своим — Божественному миру. Потому что в Нем сочеталось и то и другое начало, Ему дано быть тем звеном, которое может соединить и землю и небо, сделать из земли область духа, — родной не только человечеству, но всему тварному, так, чтобы в какой-то день осуществить слово ап. Павла, что Бог будет всем во всех.

Но человечество пало, мир стал безобразным, уродливым, страшным; смерть получила неограниченную власть, зло действует почти свободно. И дело человека — победить зло и вернуть Богу то достоинство, ту землю, тот тварный мир, который Бог сотворил, который Он поручил человеку, и который человек *предал* своим падением, отдал во власть разрушения. И роль человека, когда человек возвращается к Богу, *обращается* вновь к Нему, роль человека — исцелить то, что случилось, и вести дальше тварь туда, куда она должна прийти — в Царство Божие.

И вот Христос, *совершенный* человек, потому что Он Бог совершенный, в этот седьмой день, в этот день субботний, как бы показывая нам в притче все наше призвание, исцеляет тела, обновляет души, возобновляет то единство между Богом и тварью, которое было утеряно. И поэтому чудеса Христовы в

субботный день не являются просто *вызовом*, оскорблением, унижением для тех, которые видели только букву Ветхого завета — закон: это *необходимость*. Христос творит в седьмой день то дело дня седьмого, который является днем человека, который является часом человеческого творчества.

Но этот седьмой день — не только суббота в конце ветхозаветной недели; этот седьмой день — *весь* промежуток времени, который поручен человеку и который стелется со дня, когда Господь и Бог наш почил от дел Своих, до дня, когда вновь придет Христос во славе, в этот раз судить живым и мертвым, установить Царство Божие, начало вечности.

И этот седьмой день, этот промежуток времени теперь, с Воплощением Христовым, получил совершенно новое значение и новое содержание: это не время, когда Бог отступился от Своего творческого, всесозидательного труда с тем, чтобы оставить его человеку; это новое время, в которое Бог, милосердием, состраданием, любовью, Сам включился, Сам вошел с тем, чтобы быть с нами. В каком-то смысле, с Воплощением Христовым этот седьмой день, *уже*, как бы заочно, носит в себе всю славу, всю глубину, всю победоносную силу того, что Священное Писание называет Восьмым днем, когда воцарится Бог и когда больше *ничего* не останется ни от смерти, ни от зла, ни от разлуки с Ним... Когда мы думаем о конце времен, мы думаем большей частью о Страшном Суде и о том, что будет потом; Христос ясно говорит нам в Евангелии, что суд *уже* пришел; суд пришел тем, что *Бог* пришел в мир. Но в первый раз, Воплощением Христа, Он вошел еле приметно; Он вошел тихо; Он был узан только теми, у которых совесть была чиста, которым Отец это открыл.

В каком-то смысле можно сказать, что конец всему уже пришел Воплощением Христа; конец может значить две вещи: или последний момент какой-то линии времени, какой-то последовательности событий, — конец книги; конец столетия; конец частной жизни. Это момент, когда все приходит к какому-то окончанию, когда прерывается какая-то череда; но конец может значить нечто другое; это значит цель, конец пути; это не только момент, когда путь прерывается, это момент, когда *незачем* идти дальше, потому что цель достигнута. И в этом отношении, когда Священное Писание нам говорит, что Христос есть Альфа и Омега, начало и конец, оно нам говорит о том, что Христос есть начало нашего бытия, Слово, которым *всё* стало, образ, по которому, сообразно которому сотворен человек. Но вместе с этим Он является и омегой — концом, завершением, полнотой, не только Тем, Который придет в конце времен, а Тем, к Которому все времена устремлены, Тем, к Которому мы идем с надеждой, с ожиданием, с тоской... Но Он уже пришел, и в каком-то смысле можно сказать, что конец времен уже имел место Воплощением Христа; конец времен *уже* присутствует в нашем времени. С тех пор, как Христос жил среди нас, как Бог стал человеком, мы одновременно находимся в том бывании, в том делании, в том времени, которое течет и стремится к своему завершению и вместе с этим к точке *совершенно* покоя, где *все* уже совершено, где все дано. И только потому еще существует и дление, и время, и устремленность, и тоска, что все, что *дано* нами еще не взято, что все нам дано, но не все воспринято. В Новом завете, в книге Откровения, ап. Иоанн постоянно делает одну грамматическую ошибку в тексте, который других ошибок не

знает: когда он употребляет слово "конец", которое по-гречески — среднего рода, он все время его ставит в мужском роде; для него конец это не "ничто", а "некто", это *Кто-то*, а не что-то, не то, что во времени — мгновение или событие. И в этом смысле — да, конец уже пришел. И в то время, в котором мы находимся, это время, где вечность присутствует, это уже не ночь; как Исаия пророк говорит — ночь проходит, уж брезжит свет... Это еще не полдень, это еще не полное сияние вечности, но вечность уже вошла, и тьма вся пронизана светом, тьма горит, нет тьмы; она не темна до конца.

И вот, в этом времени, в этом дне седьмом, в котором мы живем, но в который уже внедрилась вечность, мы должны жить и творить. Христос это нам *ясно* показал вот в этом седьмом дне, субботе, когда Он творил чудеса, исцелял тела, обновлял души. Бог вошел во время и *мы* приобщены этому Богу, и мы призваны в этом времени творить Его дело. Мы недостаточно это понимаем; мы недостаточно понимаем *масштаб* нашего христианского призвания; мы недостаточно понимаем, что мы призваны *со* Христом и подобно Христу преобразить мир. Он нас называет детьми света, когда Он Себя называет *Светом* мира. Мы должны бы, подобно Ему, быть светом, *пронизывающим* тьму, отнимающим у тьмы ее темноту, ее неприглядность. Западный духовный писатель говорит, что христианин — это человек, которому Бог поручил заботу о других людях, о мире, — заботу обо всем; вот об этом я сейчас говорю: об этом нам говорит то, что Христос в субботний день творил чудеса. Этот субботний день, это время, когда должно быть исцелено все, что ранено грехом, воскрешено все, что поражено смертью, возвращено в образ и

подобие и красоту все то, что обезображено. И начинается этот труд, конечно, для каждого из нас — в нас самих. *Но не только* в нас самих; наше призвание не в том только, чтобы измениться, но в том, чтобы быть светом, теплом, любовью *Господними*, потому что мы — Господни...

Я кажется уже говорил не раз о том отрывке Евангелия, который меня каждый год поражает после Пасхи — об исцелении слепорожденного о том, как в конце этого рассказа слепорожденный, а теперь зрячий, видящий, встречает Христа в храме, а Христос ему говорит: веришь ли ты в Сына человеческого? И слепой Ему говорит: *Кто* Он, чтобы мне верить в Него? И Христос отвечает ему словами, которые проходят мимо нашего сознания, потому что они для нас слишком обычны, они не представляют для нас *никакого* события, ничего нового — это самая серая каждодневность; Он ему говорит: "Ты Его *видишь*, Он перед тобой... Мы все родились зрячими, с самого начала нашей жизни мы взором воспринимали тысячи и тысячи вещей, но этот человек родился слепым; он всю жизнь прожил окутанный глубокой мглой, *совершенной* темнотой; окружающий мир для него не имел ни красок, ни стройных форм; окружающий мир он воспринимал только ошупью — даже не в потемках, а в *полной* темноте. И в какой-то день Сын Божий, ставший Сыном человеческим, открыл — тоже в день субботний! — ему глаза. И *первое*, что этот человек увидел, это был лик Христов, лик Бога, ставшего человеком; первое, с чем встретился его взор, это были очи Христовы, в которых он мог прочесть *все* сострадание, все милосердие и всю любовь Божии. И это — первое, что он *увидел*...

Что бывает с нами, когда мы открываем наши гла-

за на жизнь, на мир? Когда мы еще малые дети, над нашей колыбелью склоняется мать, отец — мы видим любовь, мы видим ласку... Но как скоро, когда мы начинаем различать другие лица, вглядываться в другие очи, воспринимать других людей, нам открывается *другой* мир: холодный, чуждый, враждебный... Вот, чего *не должно бы быть* в христианском обществе, вот чего не должно было бы быть благодаря тому, что есть христиане на земле. Люди, встречающие христианина, должны были бы останавливаться взором, вперять свой взор с изумлением, с вопросом: *Что я вижу?* Я вижу не только человеческие черты, я вижу в них то, чего я не видел никогда: Божественный покой, сияние света, бездонную Божию любовь, крестную, Божие сострадание, жалость, радость обо мне, горе обо мне... Встречая общество христиан, люди должны бы, опять, останавливаться мыслью и ставить себе вопрос: *Что это за люди?* Откуда в их среде такая любовь? Причем не просто человеческая любовь, но что-то превосходящее разум и воображение.

Вот то, к чему мы призваны, вот, о чем речь идет. В Седьмой день, в день и час *человека*, человеческого творчества (проп.) человека: стать таким человеком, видя которого, люди, как бы через прозрачное стекло, могли видеть Бога, стать такими, как бывает иногда поверхность озера — тихого, неволнуемого, в котором отражается, совершенно, небо. Христос о Себе говорил: Кто видел Меня тот видел Отца... Христос нас зовет к тому, чтобы люди, видя наши добрые дела, прославили Отца нашего, Который на небесах. Но для *этого* мы должны быть *прозрачными*; нам надо научиться так говорить, так действовать, так жить, чтобы люди *видели* наши дела и, однако, относили их не к нам, а к Богу; поняли бы,

что мы движимы силой, которая превосходит нас; что через нас льется на них свет, который в нас не родился; что слово истины и правды, которое мы говорим — *Божье*, не наше, потому что оно не ранит, а исцеляет.

И это делается возможным *только*, если мы научимся одновременно и сознательной и деятельной жизни. Спаситель нам говорит, что мы должны быть в мире, но не от мира сего, как про Себя Он сказал: Приближается князь мира сего — но во Мне *нет* ничего, что принадлежало бы ему... Он *весь* был в мире; Он был *сплошное творчество*; и вместе с этим — неоскверненный; ничто в мире Его не ранило и не осквернило.

Нам часто кажется, что созерцательная и деятельная жизнь несовместимы, потому что о созерцательной жизни мы думаем в образах монастырей, затворов, пустынь. А о деятельной жизни мы думаем в порядке творчества, внедренного в современность. Но если задумываться, если задуматься над Христом и Его апостолами, то делается так ясно, что и созерцание и творчество — одно и то же, они являются только двумя выражениями одного и того же опыта Бога. В 5-й главе Евангелия от Иоанна в том отрывке, который читается на похоронах, Спаситель говорит: *Якоже слышу сужду, и суд Мой праведен есть, яко не ищу воли Моея, но воли пославшаго Мя Отца...* Суд, который Я произношу, — не Мой суд; это суд Отчий, который Я воспринимаю слухом и провозглашаю устами. И потому он *праведен*. Он не Мой — он Отчий, провозглашенный в послушании... В другом месте той же главы и в другой главе Спаситель говорит о том, что Отец Мой доселе делает, и Аз делаю, Он Мне показывает дела, которые Он творит — и Я их тво-

рю... Опять-таки: созерцание; Христовы очи *вперены* в Бога, как и слух Его открыт Отцу. Христос видит, что Бог задумал, и что творит, и Он это осуществляет Своим человеческим творчеством. Потому Христовы дела все совершенны, что они являются выражением совершенной Божественной целомудрости; слово Христово — это выражение той тайны, которая содержится в извечном молчании Бога; дела Христовы — это осуществление Божественного замысла. И потому *только* Он может их совершать, что Он весь есть слух и весь есть взор; Он вглядывается и вслушивается в эти глубины Божии и из этих глубин Он выносит слово и износит дело.

Нам тоже Он повелел творить, совершать дела, которые Он совершал; мы тоже призваны к подобному, к такому же, как Он, творчеству; и оно возможно только, если мы достаточно — если даже несовершенно погружены в молитвы, в Бога; если наш слух открыт Богу; если наша воля Ему предоставлена; если мы отдали себя Ему, чтобы через нас лилась на этот мир Его любовь, изливала состраданье сила жизни. Но для этого опять, с нас требуется подвиг; прозрачность, которая позволила бы Божественному свету проливаться через нас и достигать других, гибкость, которая позволила бы Божией воле осуществиться через нас, в жизни нам *не* даны, мы должны их искать. Мы должны искать той чистоты разума, той чистоты сердца, той *всецелой* чистоты, которую Отцы называют целомудрием, которая позволила бы свету и теплу Божью проливаться через нас, так, чтобы оставались как бы незамеченными мы — как окно, через которое льется свет. Мы должны научиться творить Божью волю *наперекор* своей воле, несмотря на наше непонимание, недоумение для того, чтобы сломилось

в нас свое-волие, для того, чтобы *гибкой* стала наша воля, для того, чтобы Божественный замысел мог осуществиться и через нас. Ап. Павел говорит: Сила Божия в немощи совершается... Как бы ни были мы хрупки, слабы, бессильны, если мы только отдаемся в руки Божии, Его сила через нас *может* совершиться.

Но слабость, о которой говорит ап. Павел, это не обычная наша слабость, ее нельзя выразить, как мы часто выражаем свою обычную слабость: нет у меня сил, нет вдохновения, нет дерзания — *не могу*. Слабость, о которой говорит ап. Павел другая: она заключается в том, чтобы понять раз и навсегда, что Божье дело человеческой силой все равно не осуществить. Как можем мы стать проводниками Божественной премудрости, Божественной любви, Божественной истины, Божественной силы? Мы ее не вмещаем: но мы можем стать гибкими, прозрачными, безмолвными, послушными, так, чтоб там, где у нас нет никаких сил, мы могли бы все равно и говорить и действовать, прислушиваясь к тому, что нам говорит, и как действует через нас, в нас, вокруг нас и, порой, помимо нас Сам Господь. И тогда созерцание и деятельность сольются в одно, тогда мы поймем, почему Христос и Его Апостолы были так постоянно действенны и деятельны, и вместе с этим не отрывались от созерцания. Творить волю Божию заключается прежде всего в том, чтобы учиться у Христа как жить, как говорить, что делать, заключается в том, чтобы идти тем путем, который отцы называли "евангельский путь", путем заповедей, превосходя наш опыт, предвосхищая понимание, принимая как бы *на веру* слово Божие.

Здесь оно начинается; оно сочетается с отказом от себя. Христос нам говорит: Если кто хочет Мне

последовать — да отвержется себя, да возьмет крест свой и да грядет по Мне... Если мы хотим осуществить что бы то ни было, мы должны начать с того, чтобы сказать: от себя я отрекаюсь; я себе больше не интересен, не дорог; мне дорого нечто другое, и весь мой интерес в чем-то или в ком-то другом — во Христе... И тогда мы обнаруживаем, что *столько* в нас разрушающих, перечаших этому нашему желанию сил. Крест был орудием смерти; в нас все эти силы, противоречащие воле Божией, являются орудием смерти, умерщвления, разрушения. Вот этот крест является действительно крестом жизни: принять на свои плечи все то, что в нас есть разрушительного, мертвого, и нести, пока не удастся умереть и воскреснуть — и последовать за Христом; последовать за Христом через все извилины нашей жизни, которые нам показаны в евангельском рассказе, от зачатия Христова и до смерти Его, ставить себе постоянно вопрос на этой линии жизни: *где я нахожусь? кто я среди тех, кого встречал Христос? где мое место в этом рассказе?* И дальше: если через этот путь мы сроднимся со Христом достаточно — пойти с Ним в Гефсиманский сад; хотя бы даже как те три апостола, которые в него были допущены, и не нашли в себе силы и одного часа побдеть с Ним; а лучше — как святые научились: силой Божией бдеть со Христом в этом мраке и ужасе Гефсимании. И если Господь еще поведет дальше с Собой — то на крест, и может быть, даже в этот страшный опыт богооставленности... Но начнем с того, с чего мы *должны* начать, без чего нет пути: отречься от себя, выбрать крест против отдыха, с тем, чтобы стать людьми, каких Себе избрал Господь, которые в этот седьмой день — который является всей жизнью, всей историей мира —

могли бы со Христом творить дело исцеления и обновления мира, зная, что это исцеление и обновление *уже* пришли, что воскресенье *уже* торжествует и поэтому мы знаем, куда мы идем и куда мы других можем вести.

2

После беседы, которую я провел перед обедом, мне был поставлен вопрос: то, что было сказано, представляет собой идеал, который, может быть, достижим для людей, как Серафим Саровский, Сергей Радонежский, для святых. Но он является слишком высоким для того, чтобы просто можно было к нему приступить и его осуществить. Раньше, чем достигнуть той высоты, на которой человек начинает выполнять свое призвание, нам надо пройти целый путь; и на этом пути находится грех, и, кроме греха личного, личной привязанности к тому, чего не должно бы быть, есть та человеческая немощь, хрупкость, податливость, которая нам часто мешает осуществить то положительное, которое мы *могли* бы осуществить. И вот, как к этому приступить? Раз речь шла сначала о св. Серафиме Саровском, может быть вспомнить его собственные слова. Его спросили однажды: какая разница между погибающим грешником и таким же грешным человеком, достигающим святости? Его ответ был таков: разница только в одном: *в решимости...*

За этим словом, конечно, поднимается картина за картиной, вся подвижническая жизнь святых. Решимость — да. Но на что решиться? Решиться на то, чтобы искать Бога, решиться на то, чтобы преодолеть

все преграды, которые будут стоять на пути; решимость быть бесконечно милостивым к другим и предельно беспощадным к себе. Тосковать по Боге, звать Его как бы из глубины своего отчаяния — доступно всем нам, и мы можем Бога благодарить за то, что нам дана такая тоска, такая неутешность по нашему сиротству. Искать Его даже изо всех сил нам тоже дано; но вот сразиться не только с нашей немощью — вдохновение, тоска, желание могут нам помочь в этом — но сразиться с *каждым* грехом, который нам встретится по пути, и с *основной* нашей греховностью требует того отречения от себя, на котором я кончил прошлую беседу: отвергни себя...

Это, в какой-то мере, мы можем понять и осуществить, если мы подумаем о том, *как скучна* бывает порой, как навязчива бывает память о себе самом... Иногда поднимает душу вдохновение, любовь, зрение красоты, какое-нибудь благородное воспоминание; казалось бы — *жизнь* отдать ради того; казалось бы — это *такая* красота, такой смысл, что исчерпывает все. И *вдруг* — вспомнишь о себе самом, испугаешься — и больше *не можешь* идти ни на подвиг, ни на великое дело. Это случилось с ап. Петром, когда в буре на Генисаретском море ученики вдруг увидели Христа, идущего по волнам. Петр попросился к Нему идти; едва ли, чтобы испытать свою веру или власть Господню над разразившейся бурей, — а потому, что ему захотелось быть там, где находится Господь. Он был человек порывистый, пламенный; он действовал быстро, не задумываясь; увидев Христа, Которого он любил, он захотел с Ним быть. И зная Христа, *каким* Он был, он не усомнился, что это возможно, — только повели Спаситель Христос. И Христос повелел — иди. И Петр пошел по волнам. И шел он твер-

дой поступью, пока *вдруг* не вспомнил о себе, и тогда он стал тонуть.

Вот *вспомнить* о себе — так *грустно*, так опустошающе, так отвратительно бывает: Господи, неужели я *снова* как призрак встал на собственном своем пути, снова о себе вспомнил — и все измельчало, и все, что было цельно, — раздробилось, и все, что было возвышенно, снова стало таким жалким и земным... Если бы мы только могли вспомнить и вспоминать и держать в памяти все время вот это сознание: то, что нам мешает быть большими людьми, по масштабу, к которому нас призвал Господь — это то, что мы *вдруг* вспомним о себе, и все великое рушится... Так странно; мы становимся тогда в масштаб своей собственной мелкости; *все* мельчает. Если бы мы вспомнили это, и помнили все время, тогда каждый раз, когда память о себе подымается в нас, мы бы сказали себе: Ох! Только не это! Только не это! Ты мне скучен: отойди! Отойди от меня, сатана, — ты думаешь о том, что земное, *не* о том, что Божие; ты думаешь о самом мелком — не о том, что самое в тебе великое... Тогда нам было бы скучно, тоскливо, больно, — вспоминать о себе, когда жизнь так глубока и так просторна, тогда как наше призвание столь велико... И в этом надо упражняться, надо учиться тому, чтобы стало скучно вспоминать о себе, потому что все остальное *так* полно смысла, и глубины, и красоты, а мы так *мелки*, когда вспоминаем о себе, и этим разрушаем все.

Другое, что может нам помочь жить, жить с глубиной, жить с силой, — это память смертная. Отцы Церкви об этом говорят все время: *имей память смертную*... Когда мы говорим эти слова современному человеку, ему кажется, что мы хотим омрачить жизнь:

неужели надо помнить о смерти все время, и этим обесценить жизнь? Неужели нам жить как бы под тучей, все время ожидая смерти, все время ожидая, что после смерти — суд? Что же останется от жизни? Если так думать о смерти — ничего не останется от жизни; она превратится в пепел, она обесмыслится, она опустеет...

Но не об этой памяти говорили, как мне кажется, отцы; они думали о том, что только если мы помним, что смерть может нас застичь в любое мгновение, *только* тогда можем мы сделать из каждого мгновения *последнее* мгновение нашей жизни, т. е. завершение жизни. Если бы мы думали, что слова, которые мы сейчас говорим или воспринимаем, что то, что мы делаем сейчас, в одно *мгновенье* может прерваться, — как было бы важно, чтоб это мгновенье случилось не в тот момент — когда наши слова гнилые, наши мысли туманны, наши чувства омрачены, наши поступки недостойны ни нас, ни других, ни Бога...

Мы живем, большею частью, как будто мы совершаем предварительную подготовку; мы как бы пишем черновик нашей жизни, в том смысле, что может быть когда-нибудь мы начисто этот черновик перепишем. И пишем мы *начерно* в течение всей жизни, и не приходит время, когда начисто все можно переписать... А если бы сознавали, что это — *окончательное*, что каждое написанное слово будет навсегда, каждое действие будет навсегда — как бы бережно мы относились и к слову, и к действию. Если бы мы думали, что тот человек, с которым я разговариваю сейчас, через одно мгновение может быть мертвым, — как бы *бережно* я выбирал мысли и слова, с какими чувствами я стоял бы перед ним... Те из нас, которые потеряли близких, это наверное понимают. И тогда

нет мелкого и нет великого — потому что все, самое как будто незначительное, может собою выразить *всю* любовь, всю глубину отношений. Не только слова — но тон голоса; не только то, *что* сделано, но *как* оно сделано — все может стать *так* значительно: взор, улыбка, малая, еле заметная забота...

И вот, если бы мы помнили смерть — не как ужас, а как напоминание о том, что жизнь должна все время быть на уровне вечности, тогда очень многого мы бы не сделали, тогда жизнь была бы иная; радостно думать, когда скончался человек близкий — или дальний — что последнее слово было полно любви, последний взор — полон света, последнее действие — символом, знаком *любви*, которая уйдет в вечность, которая в уровень вечности...

Мы ищем часто в Евангелии пути; и часто мы недоумеваем: где бы начать, с чего? как начать? Есть *личность* Христа, такая сильная и такая ласковая; есть Его дела, пример, который Он нам дал с тем, чтобы мы последовали за Ним; есть Его слова, слова истины, слова, о которых ап. Павел говорит, что они — дух и они — жизнь; есть Божия сила, изливающаяся в таинствах и в тайне Церкви; есть заповеди Христовы. С одной стороны, они так просты и малочисленны: возлюби Бога всем сердцем, всем разумом, всей крепостью, всей жизнью своей; и возлюби ближнего как самого себя. С другой стороны, они так многочисленны и обращены к такому многообразию людей, положений: *где* нам начать? Что значит "возлюбить Бога"? Где нам найти *чувство* любви? А если чувства нет, то в чем же любовь? Еще одна сторона — многообразии заповедей: с которой начать? С самого легкого? Или с того, что нам кажется самым легким до того, как мы прикоснемся к нему? Или с самого

трудного? Начать ли с самого привлекательного? Или наоборот, с того, что менее всего нас влечет к себе? Или есть какая-то иерархия заповедей — более важные и менее важные? Но нет — как будто этого нет — где начать?

Мне кажется, что каждый должен начать по-своему: но не просто по влечению сердца, и еще меньше по вкусу, а искать той заповеди, того образа, той притчи, того наставления, той черты Христовой, которая обращена прямо к тебе. Вы, наверно, помните место в Евангелии от Луки, которое читается в субботу вечером, рассказ о двух учениках, которые шли в Эммаус после воскресения Христова. К ним приблизился Христос, неузнанный, путник, прибывший к ним. И они начали говорить, и Христос им начал рассказывать тайну о Христе, тайну о спасении, тайну о Сыне человеческом. И когда Он им открылся и стал невидим, ученики друг другу говорили: разве сердце в нас не горело, пока Он говорил с нами на пути... Когда мы читаем Евангелие, мы переживаем его очень различно; каждый из нас по отношению к другому, но также каждый из нас по отношению к разным его частям. Некоторые евангельские слова, события, даже черты личности Христовой нам чужды; не только не находят они отголоска в нас, но мы можем в себе даже обнаружить протест против них: нет, это не по мне; этим путем не могу идти, стать таким я не только не могу — *не хочу!*.. Есть другие места, которые не вызывают в нас бури, или негодования, или отречения, но места, которые до души не доходят. Да, сказали бы мы, раз так судит Бог, верно оно так и есть; но я не понимаю, не знаю, не чувствую этого...

Но есть другие места, о которых мы можем ска-

зять, как Лука и Клеопа говорили друг другу: да, от этих слов *сердце* горит, от этих слов делается светло на душе, подымается заря в мысли, от этих слов я делаюсь чище и светлей, эти слова во мне вызывают новую силу, новую надежду, новую радость... Вот эти слова нам *надо* отмечать, эти слова обращены к нам *лично*. Это могут быть очень разные слова; одного трогает одно, другого трогает другое; каждый прислушивается к тому, что Господь ему лично сказал... Так, впрочем, было и при жизни Христовой; Он был все время окружен толпой, все время к Нему кто-то входил с вопросом. Христос отвечал этому человеку; общих ответов у Него нет, все ответы — личные; но в этой же толпе были люди, у которых, может быть, не так ярко, но уже созрел этот же вопрос; слыша ответ Христов, они могли его воспринять, будто он обращен к ним лично. Другие были, которые уже где-то *чуяли* этот вопрос, для которых он не созрел, которые поэтому не могли отозваться всей жизнью на слова Христовы; те складывали эти слова в свою память, в свое сердце. А были такие, для которых и *вопрос* был непонятен и ответ непонятен; те проходили мимо... Так и мы... Бывали тоже несчастные, которые смущались, которые отходили, или которые собирали склоку, чтобы договориться о том, как бы испытать, уловить Христа, потому что слова Его были не только непонятны, но перечили всем их чувствам и убеждениям...

Когда мы читаем жития святых, мы видим, как много таковых, которые построили свою святость на одном евангельском слове; *вдруг* это слово ударило их в душу; слово, картина, черта в Христе — что-то до них дошло. Может быть, годами до этого они слышали эти слова, но были нечутки к ним, они

еще не были готовы, еще не созрели для этих слов; а теперь — услышали; и сразу исполнили. И не только святые — а очень многие простые верующие услышали слово — *и ожили*, словно роса упала на иссохшую землю и былинки подняли голову, и жизнь, которая, как будто, клонилась к смерти, снова всколосилась.

Вот здесь каждый из нас может начать; взять Евангелие, прочесть; каждый из нас может начать; читать спокойно, не ища мудрости, не ища ничего; просто читая открытым сердцем, открытым умом, с желанием просто понять — как мы читаем письмо, в котором повествуется о ком-то, читаем рассказ и вдруг замечаем то или другое — так и мы, если бы мы читали Евангелие с такой открытостью, минутами наше сердце вдруг бы согревалось, минутами оно горело бы, минутами свет и пламя нас бы обдавали, вот эти места нам надо отмечать; надо их отмечать непременно и не забывать никогда: Бог прямо говорил с *моей* душой и сказал нечто, на что душа была способна отозваться, душа ответила радостью, *ожив*. Надо эти места отмечать, потому что они указывают, что в этом, как будто малом, моя душа и Бог уже соединились; мои мысли — Его мысли, мои чувства — Его чувства; моя воля — Его воля... Быть послушным Богу в этом отношении не требует от меня отречения от своей личности, а *только* того, чтобы стать *самим собой* в одном чем-то, где я уже похож на Христа. Только это. Если мы твердо, с верностью, благоговейно будем поступать так, постепенно эта загоревшаяся искра охватит все большее и большее в нас, постепенно эта искра станет пламенем, которое согреет, растопит наше сердце, озарит светом наш ум, наша жизнь начнет меняться. Мы, конечно, будем грешить против всех других заповедей, больше или

меньше, мы, вероятно, будем не всегда выполнять эту заповедь, которая есть закон *моей* собственной жизни, явленный Христом. Но мы должны держаться *этого*. И постепенно нам откроются другие речения Христа, в том или другом образе, в притче, в действии Христовом мы найдем новую заповедь, новое сродство наше со Спасителем. И так, постепенно, изуродованный образ начинает очищаться, как икона, которая была и осквернена и изуродована, постепенно может быть очищена от последующих наслоений все ясней, все ярче, все чище, все прекрасней.

И вот на этом пути начинается борьба с грехом; но не вообще с грехом, а конкретная и *нам лично* необходимая борьба. Когда мы будем стараться жить по этому глубинному закону нашей собственной внутренней жизни, совпадающей с волей Божией, мы, вероятно, обнаружим, что на нашем пути то или иное стоит преградой; и для нас встанет вопрос, *ясно, четко*: или я должен отказаться от того, чтобы быть самим собой, или я должен преодолеть эту преграду. Не потому, что так написано в Евангелии, не потому, что я боюсь Бога и Его суда, а *только* потому, что это — закон жизни и что поддаться, не бороться, не победить — это согласиться на смерть... Тогда можно, как Отцы Церкви, святые нам говорили, возненавидеть грех, потому что этот грех есть отрицание жизни во мне, есть смерть, убийство во мне того, что самое святое, самое живое. Тогда делается понятно, почему Священное Писание, Христос, Евангелие, называют дьявола убийцей от начала; да, он старается *убить* жизнь в нас... Тогда мы можем бороться с грехом со вдохновением, с умом, с настойчивостью; тогда мы чувствуем, что бороться с грехом — это бороться за *жизнь*, это избегать гибели; это не

только выполнить долг, это необходимость жизни самой...

Против заповеди, которая выражает *нас* самих, не обязательно восстает только противоположный грех; очень много восстает различного; против смирения восстает не только гордыня, против воздержания — не только жадность, подкапывают наши силы злые силы очень различно; но если мы хотим жить, мы будем чувствовать, с какой стороны на нас идет разрушающее нас нападение; мы будем чувствовать, что *бежит* кровь, что истекаем мы кровью через ту или другую рану. И придется нам бороться; с какой-то опытностью разовьется в нас внимание, собранность, то, что Феофан Затворник называл "внутрипробывание", т. е. то состояние, когда мы собраны внутри себя, живем в глубинах, и из этой глубины можем видеть надвигающееся на нас нападение. Это называется, языком подвижников, хранение ума, хранение сердца. Но это не боязливое хранение, оно не в том, чтобы себя "охранить" и только; это — бой. Это непрестанная, мужественная, но и радостная борьба. Это борьба не на жизнь, а на смерть, это борьба за нашу жизнь, против нашей вечной гибели. Но это, вместе с тем, борьба за Бога, за Христа, за Его победу; это наша верность Ему, это наша любовь сильная к Нему, это все, что мы можем сделать для Него, потому что мы поставлены в этот мир для того, чтобы победить в нем зло, и, побеждая его в себе, мы побеждаем его в мире...

Мы никогда не думаем, что грех — дело частное. Грех частным никогда не бывает; потушить одну свечу — это значит прибавить темноты в храме; когда потухнет одна душа, то в мире делается темней; когда загорается новая жизнь, божественная жизнь в

человеке — вся вселенная светлеет. Спасаясь или погибая, мы не только себя спасаем или губим; мы делаем нечто решающее для судьбы вселенной. Грех *всегда* убивает нас и лишает других того, что только мы могли бы им дать. И он отнимает у Бога нечто, что могло бы быть Его: наше сердце, нашу жизнь...

Христос нам дал в Евангелии одну молитву — Отче наш; она не является только молитвой, она является целым путем внутренней жизни, она является путем восхождения к Богу и путем возвращения от Бога на спасение мира. Вчитываясь в нее, *исполняя* сами то, о чем мы просим в ней, — ибо мы просим в каждой молитве силу выполнить то, что мы Богу говорим, — мы можем тоже восходить, как по ступеням, к Богу, обратно. И когда мы вернемся, — вернуться в мир, с Богом, спасти этот мир.

Христос нам дал Заповеди Блаженства, которые тоже являются путем, по которому можно пройти от первой заповеди и до последней.

Христос нам дал в Ветхом Завете образ, в книге Исхода, того, как евреи пришли свободными людьми в Египет, как они постепенно привязались к земле, и через это отдались в рабство; как нарастала в них отчаянная тоска по свободе, по самобытности; как в ответ на эту тоску, на крик покаяния целого народа Бог дал им избавителя Моисея. И дальше рассказ о том, как они ушли, как перейдя Чермное море, они, ради того, чтобы стать из рабов свободными, вступили в безводную, жгучую, страшную пустыню. Как в этой пустыне голодом, смертью, трудом, выковались свободные люди, способные сначала принять закон на Синае, потом войти в обетованную землю и ее покорить; и, наконец, установиться на Сионской горе...

Это образы; но если читать и перечитывать, мы видим, как книга Исход, молитва Господня, Заповеди Блаженства, а в церковном опыте — таинства крещения, миропомазания и приобщения построены одинаково: это путь. Об этом сейчас говорить некогда, но вчитывайтесь, посмотрите, сравните и вы увидите, что указан путь, указаны искушения, но указана и цена: раб от своего хозяина получает то, что ему нужно, чтобы прожить; платит он не только трудом, но потерей свободы, человеческого достоинства. Чтобы вырваться на свободу, нам надо выйти в пустыню, — и этого мы боимся; и вот здесь и нужна единственная, данная нам, твердая, немилосердная заповедь Серафима Саровского: о решимости. О такой решимости, которая пренебрегает собой, *до конца*, которая беспощадна к себе. Как говорит Феофан Затворник: если должен в нас ожить новый человек, то ветхий человек должен умереть: *сам он не умрет* — мы должны собственной рукой его убить, а для этого нужна решимость, и не на мгновение, а верность до конца...

1975

ХРИСТОС В НАШЕЙ ЖИЗНИ

Собеседование шестое

Для чего страдания в мире?

Страшно смотреть, когда мучается человек, пусть Бог бы лучше уничтожил человека, чем допустил до такого страдания, — и нередки случаи, когда человек кончает с собой, не выдерживая страдания.

От страданий хотят избавиться, все пускают в ход: хитрость, подлог, но чтоб только избавиться от страдания.

Страдание — самое страшное и бессмысленное в мире.

Страдание висит кошмаром над человечеством, и, как говорят, увы — сколько ни добиваются, чтоб избавиться от страданий, а они становятся все больше и больше.

Чем больше человек бежит от страданий, тем больше они гонятся за ним и достигают его.

Для чего страдания в мире?

В минуту отчаяния некоторые восклицают: лучше б не рождаться человеку на свет, чем познать страдания.

И наконец — страдания кончаются самыми ужасными страданиями — смертью. Не столько сама смерть страшна, сколько именно страдания смерти. И конечно, хорошо, что все кончается со смертью — больше не страдать.

Зачем нам такая жизнь, если нужно страдать?

Жизнь — это когда есть наслаждения. Жизнь для того и существует, чтоб наслаждаться, — так порой рассуждает, как говорят, зеленая молодежь. И она гонится за наслаждениями. А чем можно насладиться? Это вот — пьянствовать, развратничать, курить, одним словом — наслаждаться.

Но наслаждения не вечны. Сколько ни наслаждайся, но и в наслаждениях нас подстерегают страдания.

Спросите у пьяницы, когда у него трещит голова, его тошнит, руки дрожат, ничто не мило — он что, наслаждается в это время?

Спросите у блудника, когда он опозорил и оскорбил не одну женщину, когда в душе стало пусто, разочаровался во всем, тоска... Это что — наслаждения?

А блуд, он только сначала привлекает, а потом разочаровывает, и организм истощается, и здесь ждут страдания своего рода.

Спросите, наконец, у богатого, когда он всем обеспечен? — это он кажется счастливым человеком, а на самом деле он самый разочарованный в жизни. И в богатстве есть страдания.

Везде и во всем страдания, куда ни посмотри. А наслаждения так временны и жалки.

Нет, единственное — смерть, что может нас избавить от страданий. И бывают эпидемии самоубийств. Самоубийца — самый величайший страдалец.

Но хорошо бы кончилось все смертью! Так нет же, религия учит, что и за гробом есть страдания, ад есть. Можно, конечно, ад отвергать... ну, а вдруг он все-таки есть? Разве, если мы его отвергнем, он перестанет от этого быть страшным?

Что же это такое, какой-то заколдованный круг? Неужели есть только страдания и больше ничего?

Есть страдания и наш страх перед этими страданиями!

Для чего же страдания в мире? — кто ответит нам на этот вопрос? Если так трезво смотреть, с хладнокровной объективностью, то страдания бессмысленны, они зачеркивают всякую радость и всякий смысл.

Ну, а если посмотреть на страдания несколько иначе, допустим, поискать, что за причина этих страданий? — Может быть, выяснив причину, мы поймем, как избавиться от страданий?

Страдания, говорят, от несправедливо построенного общества. Построим справедливое общество и страдать не будем.

Допустим. Вот мы построили справедливое общество. Но и в справедливом обществе есть болезни, есть катастрофы, вулканы, землетрясения, есть, наконец, смерть. Значит, и здесь страдания? Тогда, что же за причина? Некоторые пытаются выяснить эту причину, но бессильные выяснить, машут рукой. Да что выяснять, живи, пока живется. А смерть придет, помирать будем, — так бесшабашно бодрят себя.

Но если бы это *пока* продолжалось вечно? Если бы эта *смерть* приходила, как добрая тетя?

Но вот это *пока* вдруг кончится. Думал жить, наслаждаться немного, а тут вдруг бац — болезнь, да самая страшная, которую и назвать даже боятся, и страх смерти лишает сна и покоя. Зайдите в больницу в хирургическое отделение, как там мучаются.

От страданий избавиться нельзя! — вот конечный должен быть вывод. Тогда что же, смириться перед страданиями?

Нет, смириться нельзя, а посмотреть на страдания другими глазами. До сих пор мы смотрели на страдания глазами скептиков, неверующих, испуганных лю-

дей. Смотрели бессмысленными от страха глазами и видели в страданиях только бессмыслицу. А посмотрим глазами мужества, глазами веры...

Вера, если так образно выразиться, это — глаза мужества. И вот этими глазами мужества — глазами веры, посмотрим на страдания.

Богу было угодно крестом Своим спасти мир. Крестом — страданием. Вот, оказывается, когда есть вера, тогда страдания могут быть актом спасения.

Взойдем с вами мысленно на Голгофу.

Там стоят три креста. Посредине крест Христов, это Бог висит, распятый на кресте. Он ни в чем не виновен.

Страдания ни с того, ни с сего не приходят. Это — закон жизни. Страдание детей тоже не невинно, они страдают за грехи взрослых. Грех — причина страдания, и более того — причина смерти. Чтобы избавиться от страданий, нужно, чтобы во всем мире вдруг все перестали грешить. Но можем мы себе представить, чтоб все перестали грешить? — Нет! А раз так, то будут и страдания. Будет и смерть. Пока грех в мире, все будет. И вот Христос, Бог, невинен в грехе, но Он страдает. Что это такое?

По обе стороны страдают разбойники. Они страдают за дело, это и осознал разбойник по правую сторону. Мы за дело страдаем, — говорил он, удерживая разбойника по левую сторону от богохульства.

Чьи страдания больше? — Конечно, страдания Христа.

Вспомните, когда вас невинно обижали, как вы говорили — уж пусть бы за дело, а то ведь без дела, как это больно?

А Христос пришел на землю для чего? — А вот именно, чтобы избавить от страданий. С этой целью

Он исцелял от болезней, воскрешал мертвых, а Его взяли за это да и казнили... Невинного — самой позорной казнью, — смерть на кресте была самой позорной казнью. И не только казнили самой позорной казнью, а еще посреди двух разбойников. В самой казни подвергли величайшему унижению — распяли посреди двух разбойников. Если кому-либо приходилось читать о Туринской плащанице, видеть снимки ее, он знает, что волосы поднимаются дыбом от того, каким только пыткам не подвергали Христа. (Туринская плащаница — это, как доказали ученые-исследователи, тот плат, в который было завернуто тело Христово по снятии с креста.)

И вот мы видим.

Страдает Христос-Бог, Который принял образ человеческий, стал человеком, чтоб спасти человека.

Страдают два разбойника, у которых была одна цель — побольше ограбить, не считаясь с убийствами, и побольше насладиться.

Страдает Невинный и страдают виновные.

Выходит — все страдают, даже и Бог, а не только человек.

Выходит — выше всего и больше всего — страдания! Они выше Бога и человека...

Не будем спешить с таким выводом.

Посмотрим пока на то, как кто страдает.

Начнем с разбойника. Разбойник все-таки человек, и мы все человеки.

Вот тот, что по левую сторону от Христа, упрекает: "Ну что же Ты других спасал, а теперь не хочешь спасать? Спаси Себя и нас. Сойди со креста и мы уверуем".

Это чистойшей марки обвинения безбожников: "Ну где же Бог, если Он есть, куда же Он смотрит? —

такие голоса мы слышим в жизни. — Избавит от страданий и мы поверим, что Он есть”.

А если не избавляет, то и нет Бога, какой это Бог?

И безбожники даже пытаются поправить Бога, сами пытаются избавиться от страданий. Но чего они достигают — это каждый может сам убедиться. Страдания до сих пор есть! — это самый упрямый факт жизни, как говорят.

Послушаем разбойника по правую руку. Этот смотрит несколько иначе, — недаром мы его называем благоразумным. Он разбойника по левую сторону останавливает и говорит (я буду разговор передавать несколько иначе, чем это написано, но суть одна и та же):

— Ну что же ты, — говорит разбойник по правую сторону, — так обращаешься ко Христу? Ведь Он вместе с тобой страдает, разве страдающего рядом можно в чем-то упрекать? — и сам этот разбойник проникается каким-то доверием, любовью, верой ко Христу. По правую сторону разбойник вдруг полюбил Христа, проникся к Нему уважением, и не просит избавить от страданий. А чего просит? — помянуть его, — только помянуть, — когда Он придет в Царство Свое.

Это не простые слова. Постараемся вникнуть в сущность их. Помянуть в Царстве Божию: вот оно — прозрение. Царство Божие... Страдания разбойнику открыли глаза на Царство Божие.

У разбойника по левую сторону было одно желание — освободиться от страданий и снова пойти на преступления, а разбойник по правую увидел Царство Божие. Вот оно — разрешение страданий.

Если есть Царство Божие, то это значит — какие-то часы повисеть на кресте в страданиях, и — вечно

блаженствовать. Благоразумный разбойник понял, что от страданий не избавиться земными средствами, от них можно избавиться, если есть вечность, Царство Божие. И дальше разбойник понял, что Бог вечно не может мучаться, что за Божественными мучениями есть Царство Божие, вечное блаженство. В Боге кончаются страдания. Поверив в Бога, человек обретает смысл в страданиях, знает цель — для чего страдать. Если знаешь цель, для чего страдать, то ты становишься сильнее страданий, они тебя не могут победить. Страшны бесцельные страдания. А без веры в Бога все страдания бесцельны и бессмысленны.

И вот, что просит благоразумный разбойник у Бога? — помянуть его в Царстве Своем.

И вот результат... Посмотрим пока, кто как умирает?

Разбойник по левую сторону — озлобленно, с проклятиями, с унынием. Все кончилось, ничего больше нет. Вот она бездна ада — ничего нет! Это не отвлеченное понятие, — ничего нет, когда просто все кончается. Ничего нет значит — ужас ада. Когда человек на что-то надеется, он еще за что-то хватается, а тут — ничего нет... Вот в чем ужас безбожия — ничего нет! Ничего нет — это не успокаивает, а повергает в отчаяние. Ничего нет!.. попробуйте себе вот сейчас представить — ничего нет?! И на вас посмотрит бездна ада. Ад это — ничего нет. И вот безбожники хотят успокоить нас, проповедуя это страшное — ничего нет.

Если верующие проповедуют Царство Божие, то безбожники проповедуют ад. Только они не хотят сознаться в этом, что проповедуют ад, и прикрывают себя фиговым листком — жить в памяти потомков...

А разбойник по правую сторону? Мы не слышим от него проклятий, он даже верит, что есть Бог и есть Царство Небесное. Но он недостойн этого, он считает для себя счастьем даже лишь быть помянутым там... Потомки есть и уйдут, и еще проклянут, а Бог — Он помянет. Богу все дороги. Бог не забывает никого. И такое сознание дает разбойнику возможность спокойно умереть. Потомки помянут или нет, а Бог обязательно помянет.

А Христос как умирает? Поскольку Он вочеловечился и в Нем есть человеческая сторона, то эта человеческая сторона говорит:

— Боже мой, Боже мой, для чего Ты Меня оставил? — Это не упрек, это только то, что без Бога страдания становятся невыносимыми. Другими словами:

— Боже, поспеши Мне на помощь. Я изнемогаю... — и последние слова, полные спокойствия, мужества и уверенности: — В руки Твои передаю дух Мой...

В руки Бога передаю дух свой! — вот последнее и главное желание всякого верующего. Передать дух свой в руки Божии, у Бога нет страданий, есть блаженство. Представьте, с каким спокойствием умирает такой человек! В руки Божии... Господи, да будет воля Твоя!

Разбойник просит у страдающего Христа помянуть его в Царстве Своем, и Христос ему сказал, что Он не только помянет его, а сегодня же будет с ним в раю...

Вот чем кончаются страдания — оказаться в Царстве Божием, в раю. Итак, на Голгофе совершилось последнее страдание. Умер Христос-Бог, принявший образ человеческий. Умерли и два разбойника.

Но на этом не кончается жизнь, на этом не кончается человеческая история.

Если Бога нет, — да, на этом все кончается. Но если Бог есть, то это начало совершенно другого... Чего другого?

Безбожник, доходя до этого места, стучается лбом о тупик, и дальше не знает, о чем говорить, а мы, веруя в Бога, отсюда-то и начинаем по-настоящему разговор о жизни. Голгофа, если образно выразиться, это разговор о жизни, о бессмертии. Только веруя в Бога, человек не может быть раздавлен страданием, человек не теряет надежды, а бодрится, ищет, ждет, верует. Безбожники клеветают на верующих, что вера в загробную жизнь парализует человеческие силы... Нет, эта вера развивает человеческие силы, ставит цель, дает смысл.

Вот ты, безбожник, для чего ты развиваешь свои таланты? — Ведь смерть-то посмеется над тобой? Ты же веришь, что все погибнет, ничего нет?.. Какой смысл трудиться, для — ничего нет? А вот мы, верующие, знаем, что страдания — это не тупик, смерть не тупик, — Бог избрал страдания для нашего спасения. Страдание — самое страшное, становится в руках Божиих не страшным, а даже спасительным. Только когда знаешь, что страдание спасительно, тогда избежишь всяких кошмаров. Страдания в жизни имеют промыслительный смысл. Не случайно Бог, у Кого много всяких средств для нашего спасения, избрал как средство спасения — страдания.

О том, как страдания являются средством спасения, мы будем говорить в другой раз. А сейчас я хочу моим слушателям поставить такие вопросы.

1. Всякие ли страдания спасительны?

Вспомним из жизни: одни люди во время страда-

ния становятся лучше, отзывчивее, добрее. Другие, наоборот, озлобляются, еще становятся хуже. Пример для этого — вот два разбойника: один еще более озлобился на всех и на все, другой, наоборот, успокоился, примирился, обратился к Богу — помянуть его в Царстве Своем.

2. Какие же страдания являются спасительными?

3. Что значит сораспяться Христу?

Также прошу подумать над примером сотника: истинно Он был Сыном Божиим. Почему он так сказал, видя смерть Христову?

Казалось бы, Христа обесславили, а сотник, несмотря на это, увидел во Христе Сына Божия? Другими словами — увидел Бога. Ведь Сын Божий — это тоже Бог. Как бы сказать — вот такой-то сын человеческий, это равносильно сказать, что он — человек. Раз сын человеческий — значит человек. Следовательно, раз Сын Божий, то и Бог.

Вот что сотника заставило так воскликнуть, видя страдания и смерть Христа, почему он во Христе увидел Бога.

И последующий вопрос, чтоб этот был несколько яснее.

Не делает ли нас созерцание чужих страданий не только лучшими, а прозорливыми? Мы можем то прозреть, что в обыкновенной нашей суетной, шумной жизни не прозреваем?

А теперь постараемся поговорить по поводу вопросов, поставленных на предыдущем собеседовании.

1. Что значит послушание?

2. Послушание бывает ради послушания или ради чего-то другого?

Чтоб начать ответ на эти вопросы, хочу обратить

внимание на то, что Христос был послушлив до смерти и смерти крестной.

Страдая, Христос выполнял божественное послушание... А что такое — выполнял божественное послушание? — Это заботился о спасении. Таким образом, послушание — это акт заботы о спасении. Если в послушании нет заботы о спасении, такое послушание бывает бессмысленным, более того, губительным — мы слушаемся дьявола, который хочет нас погубить. И таким образом — послушание бывает не ради послушания, как и суббота не ради субботы, а послушание бывает ради спасения. Безбожники нас обвиняют, что мы пешки, у нас, мол, не своя воля, а делаем, что нам прикажут. Но пусть слышат! В Евангелии есть слова — испытывайте духов, от Бога ли они? Другими словами, испытывайте и послушание — оно ради спасения или ради чего-то другого?

Послушание нужно!

Послушанием Отцу Небесному Христос — Сын Божий — спас род человеческий. Но послушание нужно ради спасения! Христианин — не фанатик как безбожники нас часто обвиняют, христиане — разумные люди. И у них все осмысленно — ничего случайного не бывает. Так что — мы слушаемся Бога, а не дьявола. Дьявола мы не слушаемся, мы самые непослушные для него.

Но если так, то кому-то наверно хочется спросить: почему же все говорят — послушание, послушание... Послушание, мол, выше поста и молитвы. Серафим Саровский учил послушанию, св. отцы учат послушанию, учат — что бы тебе ни сказали — исполни, не рассуждай.

Давайте, однако, несколько порассуждаем.

Как принимают обет послушания? — Обычно это

бывает в монастыре. Его принимают добровольно, человек ради спасения вручает свою волю духовнику, он смиренно отсекает свои желания, никто не может принудить к монашеству! А раз ты знаешь цель своего послушания, то вот оно и является не фанатизмом, ты ради спасения обрек себя на тяжелый подвиг послушания. Послушание в данном случае — величайший подвиг. Самый главный грех — гордыня, а тут человек себя добровольно смиряет. Тут не просто послушание ради послушания, а послушание ради спасения. Послушание ради спасения, в конечном счете, — послушание Богу, а не ради спасения — послушание дьяволу.

Мы слишком легко теперь играем со словом послушание, под словом послушание прячутся и те, кто не хочет жить своим умом, а кто хочет жить за счет другого. Легко свалить вину на другого: мол, я выполнял послушание, а что сделал преступление — это, мол, ради послушания.

Даже светский суд, не такой совершенный, как Божий, не принимает во внимание такого рода оправдание, а судит по делам. Если ты послушанием хочешь оправдать свои злые поступки — ошибаешься. Ответишь и перед человеком, и перед Богом. Послушание нужно ради спасения. Все в христианстве имеет свое значение ради чего-то, ради высшей цели!

Суббота установлена не ради субботы, то есть праздник не ради праздника, а ради человека. Пост не ради поста, а ради спасения. Пост — не цель, а средство. Все средство, цель — спасение. И вот эту цель спасения нужно видеть во всяком деле.

Христос страдал на кресте — исполнял послушание Отцу Небесному. Притом добровольно, а не по принуждению. Ради спасения рода человеческого. И такое

послушание — божественное страдание — становится спасительным. И мы, если, принимая заслуженно свои страдания, сознаем, что приобщаемся тем к божественному страданию — наши страдания становятся со-страданием, со-распятием Христу. А каждый христианин знает, что сораспяться Христу — быть мертвым для мира и живым для Бога. Это — страдание не ради страдания, это смерть — не для смерти, а все это для жизни и для жизни — вечной.

В заключение хочу рассказать два современных примера, которые мне первый — рассказал очевидец, а второй я сам видел, наблюдал. Рассказываю в подтверждение наших бесед.

— Судили нас, — говорит этот мой знакомый, — и вот судье почему-то захотелось нас спросить — а вы веруете в Бога? — Нас было три человека: я, — говорит мой знакомый, — которого судили уже не первый раз, и другой — много перестрадавший, и один комсорг, который попал в первый раз. Мы сказали: веруем! — а этот комсорг сказал, что он не верует. Через некоторое время, когда он хлебнул горя заключения, пишет из лагеря своей верующей бабке: ”Молись, бабушка, за меня, какой я был дурак на воле, что отказался от Бога. Теперь вижу, что только Бог может помочь”.

Второй случай я наблюдал сам.

Генерал современной армии, безбожник. Не мог слышать о Боге. Когда ему предложили прочесть Библию, отказался.

И вот, когда он столкнулся с действительностью, хлебнул горя, даже в сумасшедшем доме побывал, при разговоре со мной сказал:

— Как же нас обворовали, лишив веры в Христа! — оставили одни только страдания...

Да, если нет Христа – есть голые страдания безбожника. Если есть Христос, страдания становятся спасительными.

Слава Господу нашему Иисусу Христу.

Жан-Жак Грейф

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ

В течение десяти лет, Элизабет Кюблер-Росс, швейцарка, проживающая в США, врач-психиатр, проводила долгие часы у постели умирающих, выслушивая их рассказы. Она начинала свою практику как детский врач, но вскоре распространила ее и на взрослых, так как заметила, что близкие в ужасе покидают больных, как только приближается смерть.

Ее примеру последовали многие врачи в США, а также и в других странах, в том числе и во Франции.

Воодушевленная успехами своих исследований, доктор Кюблер-Росс спустя год взбудоражила научный мир следующим заявлением: "Это не какое-нибудь верование или надежда. Я совершенно точно знаю, что существует жизнь после смерти".

Большинство коллег Элизабет пришли к выводу, что частое общение с умирающими плохо повлияло на ее умственные способности и что недолгое пребывание в сумасшедшем доме пойдет ей на пользу.

В то же время заявление этой неверующей женщины не на всех произвело подобное впечатление. Многие ученые были знакомы с теми волнующими фактами, которые повлияли на убеждение Кюблер-Росс.

Из журнала "Marie-Claire". Пер. с франц.

Доктор философии Раймонд Мууди в 31 год занялся психиатрией, чтобы лучше разобраться в тех волнующих свидетельствах, которые он собирал и из которых составил книгу (Life after Life, Ed. Mockingbird Books, США). Подобными исследованиями занимались также медицинский факультет в Айове, Вирджинии, университет в Стэнфорде.

Ни один из исследователей не осмелился сделать заключение, подобное заключениям Элизабет. Просто, зная, что перед смертью и в момент ее происходят феноменальные вещи, они считали, что лучше обходить эти вопросы молчанием или считать их галлюцинациями.

Доктор Мууди в своей книге обработал 150 интервью людей, которых он разделяет на три категории: возвращенные к жизни после констатации смерти, люди, которые должны были умереть в результате несчастного случая или тяжелой болезни, и родственники умирающих, присутствовавшие в момент их смерти.

Случайно сравнив два свидетельства разных лет, чрезвычайно заинтригованный их сходством, доктор Мууди принялся систематизировать рассказы "оживших" и умирающих. Его удивление возрастало с каждым свидетельством, и ему удалось воссоздать схему, по которой строилось большинство рассказов.

"Человек на грани смерти. Он слышит голос врача, который объявляет, что он мертв. Он начинает слышать неприятный шум, какое-то шипение, и в то же время чувствует, что он бежит по длинному черному туннелю. Внезапно он оказывается вне своего материального тела, как бы над ним и наблюдает реанимационные мероприятия.

После нескольких мгновений смятения, когда

странность ситуации мгновенно фиксируется, человек замечает, что его новая форма — это нематериальное тело, которое слышит и видит, но само невидимо и неслышимо. Вскоре появляются другие подобные ему существа. Умершие ранее родные и друзья окружают вновь прибывшего, в то время как возникает теплый и лучистый свет и перед умершим прокручивается фильм его жизни.

В этот момент человек оказывается на границе жизни и смерти. Его желание переступить этот барьер вытесняется мыслями о незаконченном деле, об оставленных детях. Он возвращается к жизни.

Позднее, с трудом подбирая слова, он пробует рассказать о пережитом им опыте. Но наталкивается на шутки и неверие окружающих. В то же время вся его жизнь изменяется. Как правило, смерть его более не страшит”.

Порядок, по которому происходят события в данных свидетельствах, может меняться: одни видят ранее умерших родственников, не выходя из своего материального тела, другие встречаются с ”существом из света” и т. д. Рассказы людей, переживших клиническую смерть, наиболее содержательны.

Не все умирающие переживают одинаковые состояния. Многие возвращенные к жизни решительно ничего не помнят. Доктор Кюблер-Росс в одном из своих интервью сказала, что все больничные сиделки являются свидетелями разговоров умирающих стариков со своими ранее умершими друзьями.

Прежде это расценивалось как галлюцинации, спровоцированные морфием, или как психические состояния, вызванные страхом смерти. Говоря о случаях, которые она наблюдала, Кюблер-Росс заявила, что больные находятся в здравом уме. Это здра-

вомыслие поразило ее с первых дней, и она стала уделять серьезное внимание их рассказам.

Впервые с этим феноменом Кюблер-Росс столкнулась восемь лет назад во время семинара в университетской больнице в Чикаго. Известная среди больных своим удивительным вниманием к их рассказам, она находилась у изголовья больной раком женщины. Психиатр ставила себе задачей показать студентам, спрятанным за ширмой, как следует слушать умирающих. Поэтому она не прерывала больную:

”... В следующем году моя болезнь приняла наиболее тяжелый оборот. После полудня, сиделка, почувствовав, что я умираю, бросилась из комнаты, чтобы позвать на помощь. В это время я оказалась вне своего тела. Я могла его отчетливо видеть и заметила, что мое лицо бледно. В то же время я себя чувствовала прекрасно, необычайно спокойно. Я видела врачей, пытающихся оживить меня. Я отчетливо слышала все, что они говорили, и помню шутку, которую отпустил один из них, пытаюсь разрядить атмосферу.

Мне хотелось их успокоить, сказать, что все в порядке. Но мое тело не подавало никаких признаков жизни: ни дыхания, ни кровяного давления. Была констатирована моя смерть, и я вернулась в свое тело только тремя часами позже. Мозговое повреждение не было зарегистрировано”.

Врачи, спрятавшиеся за ширмой, пришли к единодушному мнению, что женщина страдает галлюцинационным расстройством, которое можно устранить психиатрическим лечением. ”Квалифицировать рассказ как галлюцинацию, это значит отбросить его как несущественный, — заметила Элизабет Кюблер-Росс, — не лучше ли отнестись к этому с большей широтой взглядов”.

Со времени своей первой встречи с необъяснимыми феноменами, которые сопровождают смерть, Кюблер-Росс уделяла особое внимание всему, что может показаться странным в историях, которые ей довелось услышать у постели умирающих. Сегодня она обладает картотекой, содержащей сотни подобных свидетельств.

Больные Элизабет Кюблер-Росс, как и больные доктора Мууди, во время своего пребывания "между двумя мирами" встречали дорогих им людей. Они видели живительный свет, и верующие считали, что он исходит от Бога. Они возвращались в свое тело для того, чтобы выполнить незаконченные дела или для воспитания детей.

Удивительный случай: слепой химик, которого сочли мертвым, видел извне реанимационные мероприятия, проводимые над его телом и мог описать мельчайшие детали, которые были бы для него невидимы в нормальном состоянии.

Сразу после выхода журнала, содержащего интервью Элизабет Кюблер-Росс, издательство было буквально завалено письмами, исходящими от людей различных слоев общества. Часто свидетельствам предшествовало подробное предисловие: "Я никогда никому не рассказывал, что со мной произошло, потому что я думал, что мне не поверят. Огромное счастье сознавать, что мой опыт не единичен".

Вот, к примеру, выдержка из одного письма:

"Я почувствовал себя в туннеле, болезненная усталость исчезла. Я чувствовал себя превосходно".

Для сравнения несколько свидетельств, собранных доктором Мууди: "Когда мне было девять лет, я тяжело заболел и попал в больницу. Во время анестезии мое сердце остановилось.

И тут я различил ритмичные колебания в сумрачном удлиненном помещении, напоминающем водосток или канаву. Я не могу его описать в точности. Я двигался, и все тот же звон сопровождал мой путь”.

Я почувствовал, что дыхание у меня остановилось. И тут же я на феноменальной скорости бросился бежать по огромному пустому помещению. Его можно было бы назвать туннелем”.

Читатели и читательницы американского журнала, другие свидетели не сговорились ли? Или следует признать возможность существования этого ”туннеля”?

Большинство свидетелей, которых цитирует в своей книге доктор Мууди, находились по другую сторону туннеля. И здесь, при выходе из него, их подстергала главная неожиданность: вопреки привычным понятиям нашей материалистической цивилизации, которая учит нас отождествлять себя со своей физической оболочкой и отрицать существование души, они могли наблюдать за своим телом извне, как если бы это были не они.

”В семнадцать лет я перебирался вплавь через озеро. Несмотря на умение плавать, я почувствовал, что иду ко дну. Мое тело то опускалось, то поднималось, но я заметил, что наблюдаю за этим издали, как если бы я плыл немного сзади своего тела”.

И вот еще: ”Во время регаты мой парусник перевернулся, море было беспокойно, я чуть было не утонул. В одно мгновение я почувствовал, что не произвожу никаких усилий, чтобы не пойти ко дну. Мой ”разум” отделился на 1,5 метра над водой и присутствовал при попытках моего тела ухватить канат. Я чувствовал себя прекрасно и не имел ни малейшего

желания вернуться в свое тело. Вскоре канат обернулся вокруг моей ноги, и я был спасен”.

Первый отрывок взят из книги доктора Мууди, второй написан одним из сотрудников журнала, который никогда не читал эту книгу.

Вернемся же на землю, туда, где чаще всего умирают: в больницу.

”Я неслышно поднялась в воздух и, проплывая недалеко от люстры, могла без труда изучать ее, и остановилась точно под потолком. Я видела врачей, пытающихся вернуть меня к жизни. Медсестра сказала: ”Боже, она мертва!” Другая наклонилась над моим телом, чтобы сделать искусственное дыхание. Я до сих пор помню ее затылок и коротко остриженную головку. Потом врачи прибегли к электрошоку, и я увидела свое тело, сжатое со всех сторон, что мне показалось ужасным. ”Зачем они так стараются? — думала я, — я себя прекрасно чувствую...”.

”Врачи пытались меня оживить, но я хотел им помешать, сказать, чтобы меня оставили в покое. Но они меня не слышали и не чувствовали моих усилий, когда я пытался схватить их за руки”.

Многие больные доктора Мууди также ощущали эту беспомощность. Паря над своей физической оболочкой, они были невидимы и неслышимы для врачей, преодолевали препятствия и не могли ни за что зацепиться.

Однако они принимали эту нематериальную форму за тело:

”Это было тело, но не совсем человеческое. Оно имело форму, но было бесцветно. Было что-то подобное рукам. Но это невозможно описать”.

Часто встречаются упоминания о ногах и голове, присущих этой нематериальной форме. В некоторых

случаях вопроса не существует: "Это было не физическое тело, назовем его энергийным полем".

"Это не было телом, я чувствовал себя в прозрачной капсуле или в энергийном шаре. Я не испытывал никаких физических ощущений".

Молодой человек, попавший в автомобильную катастрофу: "Мое существо, разум, или моя душа, назовите это, как хотите, вышло из меня через голову. Это существо имело плотность, не физическую, а подобную плотности волны. Она очень мала, сферична, но без определенной поверхности. Можно было бы сравнить это с облаком. Мне казалось, что оно покинуло мое тело, и большая часть его вышла из меня, а меньшая часть осталась около головы, будто колеблясь, удалиться ей или возвратиться обратно".

Молодой человек был удивлен тем веществом, что покинуло его тело, и его любопытство позволило ему в деталях его различить.

В большинстве же случаев вначале речь идет о теле, которое покидают.

"Я видел себя плоским, как на фотографии или в зеркале. Вдруг я увидел себя полностью, в трех измерениях, на расстоянии двух метров. Мне понадобилось время, чтобы узнать себя".

"Я ничего не понимал. Я увидел свое собственное тело в кровати. Было грустно видеть его таким жалким".

"Мое тело было уже серым трупом". "Я испытал некое отвращение, я не хотел находиться в одной комнате с трупом, со своим собственным".

В письмах, полученных журналом, часто говорится о встрече ранее умерших родственников.

Женщина, потерявшая дедушку и бабушку, будучи

ребенком, видела их "так же, как вижу вас, до мельчайших деталей одежды".

В книге доктора Мууди умершие описываются несколько иначе:

"Я видел недавно умершего друга, но различил только его фигуру. Я узнал его голову, руки, ноги, но как бы в мыслях, а не реально".

"Я чувствовал незримое присутствие многих людей. Подобие общения время от времени устанавливалось между нами, но без слов, мысленно. Они меня утешали, все будет хорошо, как бы говорили они, мы здесь, чтобы тебе помочь".

Умершие ранее как бы упрощают переход от материального мира к нематериальному.

"У них был счастливый вид, я чувствовал, что они пришли, чтобы сопровождать меня, и что это им чрезвычайно приятно, они как бы поздравляли меня со счастливым прибытием".

"Я Его спрашивал: что происходит? жив я или нет? Он никогда не отвечал, но часто приходил, когда я болел. Однажды врачи сказали, что я буду жить. И более я Его не видел. Мне кажется, что Он ждал, чтобы я перешагнул границу, для того, чтобы войти со мной в контакт".

Неизгладимое впечатление производит на многих встреча с "существом из света".

Вспоминают о мягком, струящемся свете, временами вспыхивающем очень ярко. Но как только его сияние достигает максимума, он перестает ослеплять и можно различить все, что происходит вокруг. Люди, видевшие этот свет, убеждены, что он исходит от какого-то "существа". От него исходит тепло, любовь, магнетизм, который нельзя выразить словами. Описания "существа из света" похожи, имена, кото-

рыми его называют, различны; христиане зовут его Богом или Христом, евреи — "ангелом", атеисты говорят о "существе из света".

Общение с "существом из света" устанавливается без слов. Его мысли передаются человеку. Вот две формулировки: "Готовы ли вы к смерти? Что вы сделали в жизни?"

По-видимому, подведение итогов жизни необходимо прежде, чем расстаться с ней, и сознание того, что все выполнено, помогает покинуть мир без сожалений. Люди, говорившие с доктором Мууди, не были готовы умереть, так как вернулись к жизни. Один из них так описывает свое путешествие: "Без сомнения, я находился вне своего тела. Я видел его лежащим на операционном столе. Сначала мне было несколько не по себе. Тут вспыхнул этот ослепительный свет, и я стал отчетливо видеть врачей и медсестер.

Я спрашивал себя, что происходит? Потом "свет" спросил меня: готов ли я к смерти? Кто-то спрашивал меня, но никого не было видно. Вероятно, мой час еще не настал. Это был своего рода экзамен и я его не выдержал. Я чувствовал себя в безопасности, окруженный привязанностью и необъяснимой любовью. Этот "свет" был так симпатичен!"

Оказывается, в момент смерти, как бы в кино, перед глазами проходит вся жизнь. Для психиатра Расселя Ноя с медицинского факультета университета в Айове в этом нет никаких сомнений. Он взял интервью у 114 человек, среди которых были прыгнувшие с 10 этажа, с самолета, пытавшиеся утопиться и другие, и он так описывает последние секунды существования: момент паники, страха, и затем видение основных событий жизни. В конце концов наступает состояние "трансцендентности", тело более не

играет роли, существует только дух. Доктор Ной считает, что этим моментом все завершается, и что свидетельства, записанные доктором Мууди, есть не что иное, как фантазии, возникающие в последний момент, чтобы сделать смерть более приемлемой.

По схеме доктора Мууди, у людей, находящихся в состоянии комы, жертв несчастных случаев, парашютистов, прыгнувших без парашюта, было ощущение, что "фильм их жизни" показывался им не кем иным, как "существом из света" Собственной Персоной.

Таким образом, "демонстрация фильма", видимо, связана с подведением итогов существования и позволяет лучше ответить на вопросы: "Что вы сделали в жизни? Готовы ли вы к смерти?"

Как и остальные фазы этого опыта, "киносеанс" трудно описать словами. Кажется, что видишь в отдельности каждый момент жизни. Можно различать все детали в трех измерениях, в надлежащем цвете, и даже испытывать ощущения, связанные с разнообразными событиями. Вернувшись к жизни, долгое время хранишь в памяти события давно минувших дней, которые были забыты ранее.

Перед вами детальный рассказ того, что вас ожидает:

"Свет спросил меня, что я могу сказать ему о своей жизни. И тут же возникли видения. Я увидела себя маленькой девочкой, и прожила год за годом до сегодняшнего дня. Я видела себя, плачущей из-за разбитой детской игрушки, потом в начальной школе, получающей приз за успеваемость, в средней школе и т. д.

Все было так отчетливо и живописно, что я как будто присутствовала во всех сценах, видела в деталях все происходящее и не в перспективе, как в жиз-

ни, а как бы изнутри. То есть я видела малышку, окруженную другими детьми, и знала, что она — это я. Чем дальше прокручивалась моя жизнь, исчезал свет, но я чувствовала его присутствие и в некоторые моменты он возникал опять. Целью этих акцентов было обратить мое внимание на особые детали, поступки, действия той девочки, которой я была. Они всегда были связаны или с любовью или с каким-либо знанием. Я увидела себя в дни своей любви”.

Доктор Мууди считает, что ”существо из света” не всегда присутствует при ”киносеансе”. В его книге много свидетельств, которые ограничиваются только описанием самого киносеанса. Солдат, раненный во Вьетнаме, видел ”серию диапозитивов”, промелькнувших необычайно быстро и показавших ему всю его жизнь. Водитель грузовика дает довольно длинное описание своей жизни и говорит, что это лишь десятая часть того, что промелькнуло перед его глазами в тот момент, когда переворачивался его грузовик.

Во многих мифах говорится о границе, которую преодолевает человек, чтобы попасть в страну мертвых. У древних греков это река Стикс... Многие подходили к этой границе, но никто не переступил ее. Не для всех она являлась рекой, в некоторых случаях это был либо барьер, либо полоса серого тумана, дверь, или просто-напросто черта. Вероятно, существует одна-единственная символическая граница между Жизнью и Смертью, но необычайно трудно обозначить ее каким-либо одним словом.

”Мне казалось, что я плыву на лодке, покачиваясь на волнах. На другом берегу я увидел своих родителей, сестру и других умерших ранее. Они манили меня к себе, но я знал, что еще не готов к смерти.

Одновременно же я видел врачей, склонившихся над моим телом, наблюдал за их действиями как зритель, и я хотел им сказать, что они зря стараются, что я не должен умереть. Но никто меня не слышал. И у самого берега, лодка вдруг круто повернулась и, очнувшись, я смог сказать врачу: "Я не умру".

Во многих свидетельствах умершие родные и "существо из света" находятся по другую сторону границы. Один из "оживших" так описывает свою встречу с существом из света: "Я просунул голову в узкую щель. Было очень сумрачно. Я продвигался все дальше и дальше и наконец увидел великолепную лакированную дверь без ручки. Дверь была неплотно закрыта и в щели проникал свет, теплые лучи которого манили к тому, что скрывалось за дверью. Я вскрикнул: "Господи, я здесь, прими меня!" Но я был изгнан так быстро, что у меня даже дух захватило".

Все они вернулись ради других: сами же они были счастливы там, в "царстве света", и остались бы с радостью.

"Я не знаю, почему вернулся на землю. Я много об этом размышлял и думаю, что это для того, чтобы воспитывать моих детей и потому, что был еще не готов к смерти".

"Я не хотела возвращаться, но подумала о своих трех малышах и о муже".

"Кто позаботится о моих трех детях? Я не могла отогнать от себя эту мысль и я не была еще достаточно готова".

"Возвращение в себя" часто происходит после прохода по туннелю. Молодой человек, попавший в автомобильную катастрофу, почувствовал, как его душа вышла из его головы и позже вернулась обратно.

Некоторые не признают, что возвратились к жизни. Их приключение надолго оставляет неизгладимый след.

”Целую неделю я плакал, вспоминая, что видел”.

”Я ничего не забыл. Я об этом постоянно думаю”.

Это впечатление сохраняется надолго, в отличие от снов и галлюцинаций, когда увиденное со временем становится все более далеким. Многие, давшие интервью, уверяли, что это не имеет ничего общего со сновидениями.

Эта в действительности пережитая ”реальность” создает еще большие трудности при рассказе о ”путешествии” другим людям. Чаще всего подобные попытки не увенчиваются успехом: ”Я не люблю об этом рассказывать. Меня все принимают за сумасшедшего”.

”Я рассказал своей матери. Но так как я был еще слишком мал, она не приняла всерьез”.

Многие не пытаются рассказывать о пережитом, слова им кажутся недостаточными. Таким образом, каждый считает, что его опыт особенный. С появлением статьи Кюблер-Росс и книги доктора Мууди у многих открылись глаза на настоящее положение вещей.

”Я не думал, что другие тоже прошли через это. Теперь я знаю, что не сошел с ума”.

Встреча с ”существом из света” оказывает большое влияние на людей. Они начинают задумываться: ”Что я сделал в жизни? А можно ли жить иначе?” Так становятся философами и метафизиками.

Это не мешает им отныне считать каждую секунду жизни драгоценной, ведь она была вырвана у смерти.

Так, например, женщина, ранее занимавшаяся

только собой и своим телом, теперь резко изменила свой образ жизни: ”Я осознала свою душу, она стоит больше, чем форма моего тела”.

Иногда превалирование духовности в человеке позволяет ему переступить за границы общедоступного:

”Мои друзья стали замечать, что встречи со мной вносят в их жизнь покой и ясность”.

”Часто, поднимаясь в лифте, я читаю мысли и чувства моих случайных попутчиков”.

”Я могу угадывать мысли других людей и заранее предвижу, что они хотят сказать. Я не знаю, появилась ли эта способность после моей ”смерти”, или она существовала ранее, я ее просто не замечал.

Люди, которым довелось встретиться с ”существом из света”, возвращаются на землю полные любви и жажды знаний.

”Сколько бы лет вам ни было, не переставайте учиться, — говорит один из них. — Процесс познания бесконечен”.

Всех ”вернувшихся” объединяет отныне общее свойство: они не боятся смерти.

”Я не хотел бы вернуться туда сейчас, так как я знаю, что должен жить здесь. Но я не боюсь смерти, я знаю, что меня ждет, потому что я уже был там”.

”Свет сказал мне, что он возвратится. В этот раз я должен был жить, но придет день, и я умру и снова увижу этот свет”.

Эти люди уже не сомневаются в существовании загробного мира. Для них смерть — не сон и не уход в небытие. Одна женщина охарактеризовала это как ”возвращение к себе”. Другие говорят об освобождении и пробуждении. И атеисты и верующие изменяют свою точку зрения относительно загробной жизни:

для верующих теперь не существует и рая и ада, есть только рай, доступный всем. Нет ни Суда, ни наказаний, ни Божьего гнева, а есть возможность осмыслить свое существование, развить свой ум на пути любви и познания.

Вера в то, что душа существует независимо от тела и живет вечно, складывалась на протяжении многих веков. В наше время также существует эта вера, хотя в Библии говорится об этом сдержанно: "И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление" (Дан. 12, 2).

Это одно из немногих мест, где обещается загробная жизнь, да и не для всех и после долгого сна.

Откуда же пришли к нам свидетельства о душе, существующей помимо тела и предстающей перед святым Петром и Сатаной?

Скорее всего от греческой или варварских цивилизаций, влияние которых, предшествующее влиянию Библии, живо и до сих пор. Платон много писал о человеческом теле и о вечной жизни души. Он считал, что душа первична, и что "рождение" — это "сон", а "смерть" — это "пробуждение".

Платон описывал, как душа покидает тело, встречается с душами других людей, которые вводят ее в новый мир. Божественное существо напоминает душе все пережитое и подводит итоги жизни. Иногда душа возвращается: это описано в десятой книге "Республика воина".

Также в тибетской "Книге мертвых" можно найти много аналогий с рассказами, собранными доктором Кюблер-Росс и доктором Мууди. Эта книга, датированная VIII веком, представляет собой запись устных преданий доисторического времени. Она читалась

умирающим, чтобы помочь им умереть, так как смерть жителей Тибета являлась своего рода искусством.

Вот что происходит в момент смерти, если верить этой книге: Сознание покидает тело и оказывается в пустоте, где царит сумрак, стоит гул, шум и свист. Одновременно можно видеть и родственников, которые суетятся вокруг твоего тела, но которые тебя не видят и не слышат. Ты не понимаешь ровным счетом ничего из того, что происходит, и спрашиваешь себя: "Жив я или мертв?"

Также существует "иная форма тела", которая способна совершать удивительные перемещения в пространстве и остается совершенной даже тогда, когда люди погибают в результате несчастных случаев, потеряв руку или ногу. (Многие свидетели доктора Мууди также переживали аналогичный опыт.)

В "Книге мертвых" говорится также еще о зеркале, в котором можно увидеть всю свою жизнь.

Книга доктора Мууди, кроме цитат из Платона и тибетской книги, содержит фрагменты из работ шведского философа Сведенборга, жившего в XVIII веке: "Я был в состоянии, близком к смерти... Ангелы спросили меня, что я думаю о вечной жизни. Мы объяснялись на универсальном языке. Они показали мне всю мою жизнь и ничто не было скрыто".

Доктор Мууди приводит рационалистическое объяснение феномена смерти, прежде чем прийти к выводу, что все нельзя объяснить и что существует еще непознанное.

Какое же состояние можно назвать "смертью"? Остановка сердца ныне не расценивается как смерть. Случается, что человек продолжает жить и после 20-минутной остановки сердца, хотя, по теории,

мозг его умирает после 5 минут из-за недостатка кислорода.

Доктор Мууди в своей книге останавливается на проблеме наркотиков. Наркотики, применяемые при анестезии, могут привести к разделению тела и души. Многие, принимающие ЛСД, описывали "путешествия", подобные "путешествиям" умирающих. Такой случай произошел с одной женщиной на приеме у зубного врача в момент анестезии.

Многие же свидетели доктора Мууди были близки к смерти в результате несчастных случаев без участия каких-либо наркотиков. Таким образом, наркотики не могут объяснить полностью феномена смерти.

Доктор Мууди говорит, что наоборот, существование "иной реальности" объясняет эффект воздействия наркотиков. Они не являются причинами галлюцинаций, но ключами, открывающими дверь в новую реальность. Вот объяснение физиологического действия наркотиков: в мозг проникает последний сильный импульс, как бы вспышка, для того, чтобы собрать максимум энергии и избежать смерти. Доктор Мууди считает, что это не объясняет всех случаев, приведенных в его книге.

Он предлагает также неврологическое объяснение. Случаи выхода из своего тела, видение моментов жизни, встреч с умершими, известны в психиатрической практике. Часто больные видят своего двойника. Похожи ли эти видения на видения умирающих?

Доктор Мууди доказывает, что "двойники" отличаются от того тела, которое видят извне умирающие. Двойник — это скорее не тело, а душа, он напоминает "иную форму тела" из тибетской "Книги мертвых", которая как бы вышла совершить прогулку раньше положенного времени.

Полная изоляция также часто приводит людей к познанию тех феноменов, о которых шла речь выше.

В лаборатории были проведены опыты: доброволец был опущен в воду температуры тела, ему завязали глаза и заткнули уши. Были констатированы феномены, похожие на те, о которых говорят "умирающие".

Доктор Мууди заметил, что долгое пребывание в клинике — это своего рода изоляция, и что смерть — это уже двойная, полнейшая изоляция.

В то же время объяснить "приключения" умирающих "приключениями" изолированных — это значит подменять одну тайну другой.

Как и в случае с наркотиками, доктор Мууди заявляет, что полное изучение феномена смерти, вероятно, позволит раскрыть тайну изоляции. Наркотики, изоляция и смерть станут тремя различными ключами, открывающими дверь в иной мир.

По данным недавнего социологического опроса, 73% американцев верят, что существует жизнь после смерти. Состоит ли цель Элизабет Кюблер-Росс и доктора Мууди в том, чтобы увеличить число верующих?

Они считают, что вера в существование души — это вопрос религии, и приведенные свидетельства могут привлечь к вере тех, кто не имеет ее. Для тех, кто пережил "путешествие вне своего тела", вера сменилась уверенностью. Эта уверенность быстро передается окружающим. Элизабет Кюблер-Росс и доктор Мууди, пообщавшись с этими людьми, были также побеждены ею.

Они отныне не стараются доказать людям, что душа существует, но настаивают на том, что смерть должна быть изучена.

В нашем обществе, где мы порой закрываем гла-

за на то, что смерть существует, последние моменты умирающих ужасны.

Большинство врачей считают: нельзя говорить больным, что они должны умереть. Эта точка зрения представляется теперь лицемерной.

Элизабет Кюблер-Росс, которая 10 лет провела у постели больных, уверена, что какое-то шестое чувство подсказывает им, когда они должны умереть. К страху перед надвигающейся смертью примешивается еще горечь чувства, что родные и врачи обманывают тебя.

Элизабет Кюблер-Росс считает, что рассказы о пережитом в момент смерти приносят успокоение и надежду обреченным.

Это ли не довод, позволяющий приветствовать подобные рассказы?

Ниже воспроизводится повествование человека, возвращенного к жизни после смерти, преданное гласности г. К. Иксуль – воспроизводится в документальной точности с харбинского издания Казанско-Богородицкого монастыря 1929 г., являющегося в свою очередь воспроизведением издания Троице-Сергиевой Лавры 1916 г. помеченного цензором, Архиепископом Никоном, членом Святейшего Синода и Государственного Совета, знаменитым церковным витией и писателем, издателем расхвалившихся по всей России и пользовавшихся заслуженным уважением "Троицких листков". Не только издание 1916 г., дореволюционное, но и переиздание харбинское является ныне величайшей библиографической редкостью, почему мы и сочли себя обязанными сделать достоянием широкого круга современных читателей этот замечательный памятник – поистине душеспасительный для маловеров. (В 1959 г. повествование это переиздано Свято-Троицким монастырем в Джорданвилле, США, но и это издание осталось почти недоступным читателям в России. – Изд.)

К. Иксуль

НЕВЕРОЯТНОЕ ДЛЯ МНОГИХ, НО ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

(Рассказ этот напечатан несколько лет тому назад в "Московских ведомостях". По поводу его в свое время мы имели переписку с автором, который подтвердил истинность происшествия, присовокупив, что лицо, от имени которого ведется рассказ, после описанного события поступи-

ло в монастырь. Ввиду того, что все поведенное здесь не противоречит церковным воззрениям на таинство смерти и загробную жизнь, находим полезным перепечатать рассказ в отдельном издании.)

1

Многие наш век (разумею XIX, ибо XX так еще юн, что было бы много для его чести считаться с ним и давать ему определение, как веку) называют "веком отрицания" и объясняют такую характерную особенность его духом времени.

Не знаю, возможны ли тут вообще такие подобиа эпидемий, поветрий, но несомненно, что кроме этих, так сказать эпидемических отрицаний, немало есть у нас и таких, которые всецело выросли на почве нашего легкомыслия. Мы зачастую отрицаем то, что совсем не знаем, а то, о чем слышали, то не продумано у нас, и тоже отрицается, — и этого непродуманного накопляются целые вороха, и в голове получается невообразимый хаос: какие-то обрывки разных, и иногда совсем противоречивых учений, теорий, и ничего последовательного, цельного, и все поверхностное, неясное и туманное для нас самих: до полной невозможности разобраться в чем-нибудь. Кто мы, что мы, во что веруем, какой носим в душе идеал, и есть ли он у нас, — все это для многих из нас такие же неведомые вещи, как мирозерцание какого-нибудь патагонца или бушмена. И удивительна странность здесь: кажется, никогда люди не любили так много рассуждать, как в наш "просвещенный" век, и рядом с этим самих себя не хотят осмыслить. Говорю это и по наблюдению над другими, и по личному сознанию.

Не буду вдаваться здесь в общую характеристику моей личности, так как это не к делу, и постараюсь представить себя читателю только в моих отношениях к религиозной области.

Как выросший в православной и довольно набожной семье и затем учившийся в таком заведении, где неверие не почиталось признаком гениальности ученика, из меня не вышел ярый, завзятый отрицатель, какими были большинство молодых людей моего времени. Получилось из меня, в сущности, что-то весьма неопределенное: я не был атеистом и никак не мог считать себя сколько-нибудь религиозным человеком, а так как то и другое являлось не следствием моих убеждений, но сложилось лишь в силу известной обстановки, то и прошу читателя самому подыскать должное определение моей личности в сем отношении.

Официально я носил звание христианина, но, несомненно, никогда не задумывался над тем, имею ли я, действительно, право на такое звание: никогда мне даже и в голову не пришло проверить — чего требует от меня оно и удовлетворяю ли я его требованиям? Я всегда говорил, что верую в Бога, но если бы меня спросили, как я верую, как учит веровать в Него Православная Церковь, к которой я принадлежал, я, несомненно, стал бы в тупик. Если бы меня последовательно и обстоятельнее спросили, верую ли я, например, в спасительность для нас воплощения и страданий Сына Божия, в Его второе пришествие, как Судии, как отношусь я к Церкви, верую ли в необходимость ее учреждения, в святость и спасительность для нас ее таинств и прочее, — я воображаю только, каких нелепостей я бы наболтал в ответ.

Вот образчик:

Однажды бабушка моя, которая сама всегда строго соблюдала пост, сделала мне замечание, что я не исполняю его.

— Ты еще силен и здоров, аппетит у тебя прекрасный, стало быть, отлично можешь кушать постное. Как же не исполнять даже и таких установлений Церкви, которые для нас и не трудны?

— Но это, бабушка, совсем бессмысленное установление, — возразил я. — Ведь и вы кушаете только так, машинально, по привычке, а осмысленно никто такому учреждению подчиняться не станет.

— Почему же бессмысленное?

— Да не все ли равно Богу, что я буду есть: ветчину или балык?

Неправда ли, какая глубина понятий образованного человека о сущности поста!

— Как же это ты так выражаешься? — продолжала, между тем, бабушка. — Разве можно говорить: бессмысленное установление, когда Сам Господь Бог постился?

Я был удивлен этим сообщением, и только при помощи бабушки вспомнил евангельское повествование об этом обстоятельстве. Но то, что я совсем забыл о нем, как видите, нисколько не мешало мне пуститься в возражения, да еще довольно высокомерного тона.

И не подумайте, читатель, что я был пустоголовее, легкомысленнее других молодых людей моего круга.

Вот вам еще один образец.

Одного из моих сослуживцев, и еще слышавшего за человека начитанного и серьезного, спросили: верует ли он во Христа, как в Богочеловека? Он отвечал, что верует, но сейчас же из дальнейшего разговора выяснилось, что воскресение Христа он отрицает.

— Позвольте, да вы же говорите что-то очень странное, — возразила одна пожилая дама. — Что же, по-вашему, далее последовало с Христом? Если вы веруете в Него, как в Бога, как же вместе с этим вы допускаете, что Он мог совсем умереть, то есть прекратить Свое бытие?

Мы ждем какого-нибудь хитроумного ответа от нашего умника, каких-нибудь тонкостей в понимании смерти или нового толкования означенного события. Ничуть не бывало. Отвечает просто.

— Ах, этого я не сообразил! Сказал, как чувствовал.

2

Вот совершенно подобная же несообразность засе-ла и, по недосмотру, свила себе прочное гнездо и в моей голове.

Я веровал в Бога как будто так, как и следовало, то есть понимал Его как Существо личное, всемогущее, вечное; признавал человека Его творением, но в загробную жизнь не верил.

Недурною иллюстрацией к легкомыслию наших отношений и к религии, и к своему внутреннему устройству может служить то, что я и не знал в себе этого неверия, пока так же, как и у вышеупомянутого моего сослуживца, его не обнаружил случай.

Судьба столкнула меня в знакомстве с одним серьезным и очень образованным человеком; он был при этом и чрезвычайно симпатичен и одинок, и я время от времени охотно посещал его.

Придя однажды к нему, я застал его за чтением катехизиса.

— Что это вы, Прохор Александрович (так звали моего знакомого), или в педагоги собираетесь? — удивленно спросил я, указывая на книжку.

— Какое, батенька мой, в педагоги! Хотя бы в школьники порядочные попасть. Где уж других учить! Самому надо к экзамену готовиться. Ведь седина-то, видите, чуть ли не с каждым днем увеличивается: того и гляди вызовут, — со своей обычной добродушной улыбкой проговорил он.

Я не принял эти слова в подлинном значении, подумав, что ему, как человеку, всегда много читающему, просто понадобилась какая-нибудь справка по катехизису. А он, желая, очевидно, объяснить странное для меня чтение, сказал:

— Много всякой современной чепухи читать приходится, вот и проверяю себя, чтобы не сбиться. Ведь экзамен-то нам предстоит грозный, грозный уже тем, что никаких передержек не дадут.

— Но неужели же вы верите этому?

— То есть как же в это не верить? Куда же я денусь, позвольте узнать? Неужели так-таки и рассыплюсь в прах? А уже если не рассыплюсь, то уж тут и вопроса не может быть о том, что к ответу потребуют. Я не пень, я с волей и разумом, я сознательно жил и ... грешил...

— Не знаю, Прохор Александрович, как и из чего могла сложиться у вас вера в загробную жизнь. Думается, умрет человек — и всему тут конец. Видишь его бездыханным, все это гниет, разлагается, о какой же жизни может явиться тут представление? — проговорил я, тоже высказывая, что чувствовал, и как стало быть сложилось у меня представление.

— Позвольте, а куда Лазаря Вифанского прика-

жете мне девать? Ведь это факт. И он ведь такой же человек, из этой же глины слеплен, что и я.

Я с нескрываемым удивлением смотрел на моего собеседника. Неужели же этот образованный человек верит таким невероятностям.

А Прохор Александрович, в свою очередь, посмотрел на меня пристально с минуту, а затем, понизив голос, спросил:

— Или вы невер?

— Нет, почему же, я верую в Бога, — ответил я.

— А богооткровенному учению не верите? Впрочем, ныне и Бога стали различно понимать, и богооткровенную истину стал чуть ли не каждый по своему усмотрению переделывать, какие-то классификации тут позавели: в это, мол, должно верить, а в это можно и не верить! Как будто истин несколько, а не одна. И не понимают, что они уже веруют в продукты собственного ума и воображения, и что если так, тогда уже для веры в Бога тут нет места.

— Но нельзя же всему верить. Иногда встречаются такие странные вещи.

— То есть непонятные? Заставьте себя понять. Не удастся — знайте, что вина здесь в вас, и покоритесь. Начните простолюдину толковать о квадратуре круга, или еще какой-нибудь премудрости высшей математики, он тоже ничего не поймет, но из этого не следует, что и самую эту науку следует отрицать. Конечно, отрицать легче; но не всегда... лепо.

Вдумайтесь, какую вы в сущности несообразность говорите: вы говорите, что в Бога веруете, а в загробную жизнь нет. Но Бог не есть же Бог мертвых, но живых. Иначе какой же это Бог? О жизни за гробом говорил Сам Христос: неужели же Он говорил неправду? Но в этом не могли обличить Его даже и

Его злейшие враги. И зачем тогда приходил и страдал Он, если нам предстоит лишь рассыпаться в прах?

Нет, так нельзя. Это нужно несомненно, непременно, — вдруг горячо заговорил он, — исправить. Ведь поймите, как это важно. Такая вера ведь должна совсем иначе осветить вашу жизнь, дать ей иной смысл, направить иначе всю вашу деятельность. Это целый нравственный переворот. В этой вере для вас и узда, и в то же время и утешение, и опора для борьбы с неизбежными для всякого человека житейскими невзгодами.

3

Я понимал всю логичность слов почтенного Прохора Александровича, но, конечно, несколько минут беседы не могли поселить во мне веры в то, во что я привык не верить, и разговор с ним, в сущности, послужил лишь только к обнаружению моего взгляда на известное обстоятельство, — взгляда, которого я сам дотоле хорошо не знал, потому что высказывать его не приходилось, а раздумывать о нем и подавно.

А Прохора Александровича, по-видимому, серьезно взволновало мое неверие: он несколько раз в течение вечера возвращался к этой теме, и когда я собирался уходить от него, он наскоро выбрал несколько книг в своей обширной библиотеке и, подавая их мне, сказал:

— Прочтите их, и непременно прочтите, потому что так этого оставлять нельзя. Я уверен, что рассудочно вы скоро поймете и убедитесь в полной неосновательности вашего неверия, но надобно это убеждение

провести из ума в сердце, надо, чтобы сердце поняло, а иначе оно продолжится у вас час, день — и опять разлетится, — потому что ум — это решето, через которое только проходят разные помышления, а кладовая для них не там.

Я прочел книжки, не помню уж, все ли, но оказалось, что привычка сильнее моего разума. Я признавал, что все написанное в этих книжках было убедительно, доказательно, — по скудости моих познаний в религиозной области я не мог возразить чего-нибудь мало-мальски серьезного на имевшиеся в них доводы, — а веры у меня все-таки не явилось.

Я сознавал, что это нелогично, верил, что все написанное в книгах — правда, но *чувства* веры у меня не было, и смерть так и оставалась в моем представлении абсолютным финалом человеческого бытия, за которым следовало лишь разрушение.

К моему несчастью, случилось так, что вскоре после означенного разговора с Прохором Александровичем я выехал из того города, где он жил, и мы больше с ним не встречались. Не знаю, быть может, ему, как человеку умному и располагавшему обаянием горячо убежденного человека, удалось бы хотя бы сколько-нибудь углубить мои взгляды и отношения к жизни и вещам вообще, и через это внести некоторые изменения и в мои понятия о смерти, — но предоставленный самому себе и не будучи вовсе по характеру особенно вдумчивым и серьезным молодым человеком, я нисколько не интересовался такими вопросами и, по своему легкомыслию, даже на первое время ни капельки не задумался над словами Прохора Александровича о важности недостатка в моей вере и необходимости избавиться от него.

А затем время, перемена мест, встречи с новыми

людьми не только выветрились из моей памяти и этот вопрос, и беседу с Прохором Александровичем, но даже и самый образ его и мое кратковременное знакомство с ним.

4

Прошло немало лет. К стыду моему должен сказать, что я мало изменился за истекшие годы нравственно. Хотя я уже находился в преполовлении дней моих, то есть был уже человеком средних лет, но в моих отношениях к жизни и себе немного прибавилось серьезности. Я не осмыслил жизнь, какое-то мудрое познание самого себя оставалось для меня такою же "химической" выдумкой, как рассуждения метафизика в известной басне того же имени; я жил, водясь теми же грубоватыми, пустыми интересами, тем же лживым и довольно-таки низеньким пониманием смысла жизни, какими живет большинство светских людей моей среды и образования.

На той же точке стояло мое отношение к религии, то есть я по-прежнему не был атеистом, ни сколько-нибудь осмысленно набожным человеком. Я, как и прежде, ходил по привычке изредка в церковь, по привычке говел раз в год, по привычке крестился, когда полагалось, — и этим ограничивалось все. Никакими вопросами религии я не интересовался и даже не понимал, что там можно чем-нибудь интересоваться; кроме, конечно, самых элементарных, азбучных понятий, я ничего не знал здесь, но мне казалось, что я отлично знаю и понимаю все и что тут так просто, "не хитро", что "образованному" человеку не над чем и голову трудить. Наивность умо-

рительная, но к сожалению, очень свойственная ”образованным” людям нашего века.

Само собой разумеется, что при наличии таких данных, ни о каком прогрессировании моего религиозного чувства, ни о расширении круга моих познаний в этой области не могло быть и речи.

5

И вот в эту пору случилось мне попасть по делам службы в К. и заболеть серьезно.

Так как ни родных, ни даже прислуги в К. у меня не было, то и пришлось лечь в больницу. Доктора определили у меня воспаление легких.

В первое время я чувствовал себя настолько порядочно, что не раз уже думал, что из-за такого пустяка не стоило и ложиться в больницу: но по мере того, как болезнь развивалась и температура стала быстро подниматься, я понял, что с таким ”пустяком” вовсе было бы неинтересно валяться одному-одинешеньку в номере гостиницы.

В особенности донимали меня в больнице длинные зимние ночи; жар совсем не давал спать, иногда даже лежать было нельзя, а сидеть на койке и неловко и утомительно: встать и походить по палате не хочется, то не можется; и так вертишься, вертишься в кровати, то ляжешь, то сядешь, то спустишь ноги, то сейчас же их опять подберешь, и все прислушиваешься: да когда же эти часы будут бить! Ждешь, ждешь, а они, словно назло, пробьют два или три, — стало быть, до рассвета оставалась целая вечность. И как удручающе действует на больного этот общий сон и

ночная тишина! Словно живой попал на кладбище в общество мертвецов.

По мере того, как дело продвигалось к кризису, мне, конечно, становилось все хуже и труднее, по временам начало так прихватывать, что уж было ни до чего, и я томительности бесконечных ночей не замечал. Не знаю, чему следовало приписать это: тому ли, что я всегда был и считал себя человеком очень крепким и здоровым, или это происходило от того, что до этого времени я ни разу не болел серьезно и голове моей чужды были те печальные мысли, какие навевают иногда тяжелые болезни, — только, как ни скверно бывало подчас мое самочувствие, как ни круты бывали в иные минуты приступы моей болезни, мысль о смерти ни разу не пришла мне в голову.

Я с уверенностью ждал, что не сегодня-завтра должен наступить поворот к лучшему, и нетерпеливо спрашивал всякий раз, когда у меня вынимали градусник из-под руки, какова у меня температура. Но, достигнув известной высоты, она словно замерла на одной точке, и на мой вопрос я постоянно слышал ответ: "сорок и девять десятых", "сорок и восемь десятых".

— Ах, какая же это длинная канитель! — с досадой говорил я и затем спрашивал у доктора, неужели и мое поправление будет идти таким же черепашьям шагом?

Видя мое нетерпение, доктор утешал меня и говорил, что в мои годы и с моим здоровьем нечего бояться, что выздоровление не затянется, что при таких выгодных условиях после всякой болезни можно оправиться чуть ли не в несколько дней.

Я вполне верил этому и подкреплял свое терпе-

ние мыслию, что остается только как-нибудь дождаться кризиса, а там все сразу как рукой снимет.

6

В одну ночь мне было особенно плохо; я метался от жара, и дыхание было крайне затруднено, но к утру мне вдруг сделалось легче настолько, что я мог даже заснуть. Проснувшись, первую мою мыслью, при воспоминании о ночных страданиях, было: "Вот это, вероятно, и было переломом. А вась теперь и конец этим придушиваниям и этому несносному жару".

И увидав входившего в соседнюю палату молоденького фельдшера, я позвал его и попросил поставить мне градусник.

— Ну, барин, теперь дело на поправку пошло, — весело проговорил он, вынимая через положенное время градусник, — температура у вас нормальная.

— Неужели, — радостно спросил я.

— Вот извольте посмотреть: тридцать семь и одна десятая. Да и кашель вас, кажется, не так беспокоит.

Я только тут спохватился, что я действительно с половины ночи совсем не кашляю и за все утро, хотя и шевелился и выпил несколько глотков горячего чая, тоже ни разу не кашлянул.

В девять часов пришел доктор. Я сообщил ему, что ночью мне было нехорошо, и высказал предположение, что, вероятно, это был кризис, но что теперь я себя чувствую недурно, и перед утром мог даже заснуть несколько часов.

— Вот это и отлично, — проговорил он и подошел к столу посмотреть лежавшие на нем какие-то таблички и списки.

— Градусник прикажете ставить? — спросил у него в это время фельдшер. — Температура у них нормальная.

— Как нормальная? — быстро подняв голову от стола и с недоумением глядя на фельдшера, спросил доктор.

— Так точно, я сейчас смотрел.

Доктор велел вновь поставить градусник и даже сам посмотрел, правильно ли он поставлен.

Но на этот раз градусник не дотянул и до тридцати семи: оказалось тридцать семь без двух десятых.

Доктор достал из бокового кармана сюртука свой градусник, встряхнул, повертел его в руках, очевидно удостоверившись в его исправности, и поставил мне.

Второй показал то же, что и первый.

К моему удивлению, доктор не выразил ни малейшей радости по поводу этого обстоятельства, не сделав даже, ну, хоть бы из приличия, сколько-нибудь веселой мины, и, повертевшись как-то суетливо и бестолково у стола, вышел из палаты, и через минуту я услышал, что в комнате зазвенел телефон.

7

Вскоре явился старший врач; они вдвоем выслушали, осмотрели меня — и велели чуть ли не всю спину облепить мушками; затем, прописав микстуру, они не сдали мой рецепт с прочими, но послали отдельно с ним фельдшера в аптеку: очевидно, с приказанием приготовить его вне очереди.

— Послушайте, чего это вы вздумали теперь-то, когда я чувствую себя совсем не плохо, жечь меня мушками? — спросил я у старшего доктора.

Мне показалось, будто доктора смутил или раздосадовал мой вопрос, и он нетерпеливо ответил:

— Ах, Боже мой! Да нельзя же вас сразу бросить без всякой помощи на произвол болезни, потому что вы чувствуете себя несколько лучше! Надо же вытянуть из вас всю ту дрянь, что накопилась там за это время.

Через часа три младший доктор вновь заглянул ко мне: он посмотрел, в каком состоянии были поставленные мне мушки, спросил сколько ложек микстуры успел я принять. Я сказал — три.

— Кашляли вы?

— Нет, — отвечал я.

— Ни разу?

— Ни разу.

— Скажите пожалуйста, — обратился я по уходу врача к вертевшемуся почти неотлучно в моей палате фельдшеру, — какая мерзость наболтана в этой микстуре? Меня тошнит от нее.

— Тут разные отхаркивающие средства, немножко и ипекакуаны есть, — пояснил он.

Я в данном случае поступил как раз так, как зачастую поступают нынешние отрицатели в вопросах религии, то есть, ровно ничего не понимая из происходящего, я мысленно осудил и укорил в непонимании дела докторов: дали мне отхаркивающее, когда мне и выхаркивать нечего.

Между тем, спустя часа полтора или два после последнего посещения докторов, ко мне в палату снова

явилось их целых три: два наших и третий, какой-то важный и осанистый, чужой.

Долго они выстукивали и выслушивали меня; появился и мешок с кислородом. Последнее несколько удивило меня.

— Теперь-то к чему же это? — спросил я.

— Да надо же профильтровать немного ваши легкие, — проговорил чужой доктор. — Ведь они, небось, чуть не испеклись у вас.

— А скажите, доктор, чем это так пленила вас моя спина, что вы так хлопчете над нею? Вот уже третий раз за утро выстукиваете ее, всю мушками расписали.

Я чувствовал себя настолько лучше сравнительно с предыдущими днями, и поэтому так далек был мыслию от всего печального, что никакие аксессуары, должно быть, не способны были навести меня на догадки о моем действительном положении; даже появление важного чужого доктора я объяснил себе как ревизию или что-нибудь в этом роде, никак не подозревая, чтоб он вызван был специально для меня, что мое положение требовало консилиума. Последний вопрос я задал таким непринужденным и веселым голосом, что, вероятно, ни у кого из моих врачей не хватило духу, хотя намеком, дать понять мне надвигающуюся катастрофу. Да и правда, как сказать человеку, полному радостных надежд, что ему, быть может, остается всего несколько часов жить!

— Теперь-то и надо похлопотать около вас, — неопределенно ответил мне доктор.

Но и этот ответ я понял в желаемом смысле, то есть, что теперь, когда наступил перелом, когда сила недуга ослабевает, вероятно и должно удобнее приложить все средства, чтоб окончательно выдворить

болезнь и помочь восстановиться всему, что было поражено ею.

9

Помню, часов около четырех я почувствовал как бы легкий озноб и, желая согреться, плотно завернулся в одеяло и лег было в постель, но мне вдруг сделалось очень дурно.

Я позвал фельдшера; он подошел, поднял меня с подушки, и подал мне мешок с кислородом. Где-то прозвенел звонок, и через несколько минут в мою палату торопливо вошел старший фельдшер, а затем, один за другим, и оба наши врачи.

В другое время такое необычное сборище всего медицинского персонала и быстрота, с какой собрался он, удивили и смутили бы меня, но теперь я отнесся к этому совершенно равнодушно, словно оно и не касалось меня.

Странная перемена произошла вдруг в моем настроении! За минуту перед тем жизнерадостный, я теперь, хотя и видел, и отлично понимал все, что происходит вокруг меня, но ко всему этому у меня вдруг явилась такая безучастность, какая, думается, совсем даже и несвойственна живому существу.

Все мое внимание сосредоточилось на мне же самом, но и здесь была удивительно своеобразная особенность, какая-то раздвоенность: я вполне ясно и определенно чувствовал и сознавал себя, и в то же время относился к себе же настолько безучастно, что, казалось, будто даже утерял способность физических ощущений.

Я видел, например, что доктор протягивал руку

и брал меня за пульс — и я видел, и понимал, что он делал, но прикосновения его не чувствовал. Я видел и понимал, что доктора, приподняв меня, все что-то делали и хлопотали над моей спиной, с которой, вероятно, начался у меня отек, но что делали они — я ничего не чувствовал, и не потому, чтобы в самом деле лишился способности ощущать, но потому, что меня нисколько не интересовало это, потому что, уйдя куда-то глубоко внутрь себя, я не прислушивался и не следил за тем, что делали они со мной.

Во мне как бы вдруг обнаружилось два существа: одно — крившееся где-то глубоко и главнейшее; другое — внешнее и, очевидно, менее значительное; и вот теперь словно связывающий их состав выгорел или расплавился, и они распались, и сильнейшее чувствовалось мною ярко, определенно, а слабейшее стало безразличным. Это слабейшее было мое тело.

Могу представить себе, как, быть может всего несколько дней тому назад, был бы поражен я откровением в себе этого неведомого мною дотеле, внутреннего моего существа и сознанием его превосходства над тою, другою моею половиною, которая, по моим понятиям, и составляла всего человека, но которой теперь я почти не замечал.

Удивительно было это состояние: жить, видеть, слышать, понимать все, и в то же время как бы и не видеть, и не понимать ничего, такую чувствовать ко всему отчужденность.

Вот доктор задал мне вопрос: я слышу и понимаю, что он спрашивает, но ответа не даю, не даю потому,

что мне незачем говорить с ним. А ведь он хлопочет и беспокоится обо мне же, но о той половине моего Я, которая утратила теперь всякое значение для меня, до которой мне нет никакого дела.

Но вдруг она заявила о себе, и как резко заявила и необычайно!

Я вдруг почувствовал, что меня с неудержимой силой потянуло куда-то вниз. В первые минуты это ощущение было похоже на то, как бы ко всем членам моим подвесили тяжелые многопудовые гири, но вскоре такое сравнение не могло уже выразить моего ощущения, представление такой тяги уже оказывалось ничтожным.

Нет, тут действовал какой-то ужасающей силы закон притяжения.

Мне казалось, что не только всего меня, но каждый мой член, каждый волосок, тончайшую жилку, каждую клеточку моего тела в отдельности тянет куда-то с такою же неотразимостью, как сильно действующий магнит притягивает к себе куски металла.

И, однако, как ни сильно было это ощущение, оно не препятствовало мне думать и сознавать все; я сознавал и странность самого этого явления, помнил и сознавал действительность, то есть, что я лежу на койке, что палата моя на втором этаже, что подо мною такая же комната; но в то же время, по силе ощущения, я был уверен, что будь подо мной не одна, а десять нагроможденных одна на другую комнат, все это мгновенно расступится передо мной, чтобы пропустить меня... куда?

Куда-то дальше, глубже, в землю.

Да, именно в землю, и мне захотелось лечь на пол; я сделал усилие и заметался.

— Агония, — услышал я произнесенные надо мной доктором слова.

Так как я не говорил, и взгляд мой, как сосредоточенного в самом себе человека, должно быть, выражал полную безучастность к окружающему, то доктора, вероятно, порешили, что я нахожусь в бессознательном состоянии и говорили обо мне надо мною уже не стесняясь. А между тем, я не только отлично понимал все, но не мог не мыслить и в известной сфере не наблюдать.

”Агония! Смерть!” — подумал я, услышав слова доктора. ”Да неужели же я умираю?” — обращаясь к самому себе, громко проговорил я; но как? почему? объяснить этого не могу.

Мне вдруг вспомнилось когда-то давно прочитанное мною рассуждение ученых о том, болезненна ли смерть, и, закрыв глаза, я прислушался к себе, к тому, что происходило во мне.

Нет, физических болей я не чувствовал никаких, но я, несомненно, страдал, мне было тяжело, томно. Отчего же это? Я знал, от какой болезни умираю; что же, душил ли меня отек, или он стеснил деятельность сердца и оно томило меня? Не знаю, быть может, таково было определение наступившей смерти по понятиям тех людей, того мира, который был теперь так чужд и далек для меня, я же чувствовал только то непреодолимое стремление куда-то, тяготение к чему-то, о котором говорил выше.

И я чувствовал, что тяготение это с каждым мгновением усиливается, что я уже вот-вот совсем близко подхожу, почти касаюсь того влекущего меня магнита, прикоснувшись к которому, я всем моим естест-

вом припаяюсь, срастусь с ним так, что уже никакая сила не в состоянии будет отделить меня от него. И чем сильнее чувствовал я близость этого момента, тем страшнее и тяжелее становилось мне, потому что вместе с этим ярче обнаруживался во мне протест, яснее чувствовал, что весь я не могу слиться, что что-то должно отделиться во мне, и это что-то рвалось от неведомого мне предмета притяжения с такою же силою, с какой что-то другое во мне стремилось к нему. Эта борьба и причиняла мне истому, страдания.

12

Значение услышанного мною слова "агония" было вполне понятно для меня, но все во мне как-то перевернулось теперь от моих отношений, чувств и до понятий включительно.

Несомненно, если бы я услышал это слово хотя тогда, когда трое докторов выслушивали меня, я был бы невыразимо испуган им. Несомненно также, что, не случись со мною такого странного переворота, оставаясь я в обычном состоянии больного человека, я и в данную минуту, зная, что наступает смерть, понимал бы и объяснял все происходящее со мной иначе: но теперь слова доктора только удивили меня, не вызвав того страха, какой вообще присущ людям при мысли о смерти, и дал совсем неожиданное, в сопоставлении с моими прежними понятиями, толкование тому состоянию, какое испытывал я.

"Так вот оно что! Это она, земля, так тянет меня, — вдруг ясно всплыло в моей голове, — то есть не

меня, а то свое, что на время дала мне. И она ли тянет или оно стремится к ней?”

И то, что прежде казалось мне столь естественным и достоверным, то есть, что весь я по смерти рассыплюсь в прах, теперь явилось для меня противоестественным и невозможным.

”Нет, весь я не уйду, не могу”, чуть ли не громко крикнул я, и сделал усилие освободиться, вырваться от той силы, что влекла меня, и вдруг почувствовал, что мне стало легко.

Я открыл глаза, и в моей памяти с совершенной ясностью до малейших подробностей запечатлелось то, что увидел я в ту минуту.

Я увидел, что стою один посреди комнаты; вправо от меня, обступив что-то полукругом, столпился весь медицинский персонал: заложив руки за спину и пристально глядя на что-то, чего мне за их фигурами не было видно, стоял младший врач; подле него, слегка наклонившись вперед, — старший; старик фельдшер, держа в руке мешок с кислородом, нерешительно переминался с ноги на ногу, по-видимому не зная, что делать ему теперь со своей ношей, отнести ли ее, или она может еще понадобится; а молодой, нагнувшись, поддерживал что-то, но мне из-за его плеча был только виден угол подушки.

Меня удивила эта группа: на том месте, где стояла она, была койка. Что же теперь там привлекало внимание этих людей, на что смотрели они, когда меня уже там не было, когда я стоял посреди комнаты?

Я подвинулся и глянул туда, куда глядели все они:

Там на койке лежал я.

Не помню, чтобы я испытывал что-нибудь похожее на страх при виде своего двойника; меня охватило только недоумение: как же это? Я чувствую себя здесь, между тем и там тоже я.

Я оглянулся на себя, стоящего посреди комнаты. Да, это несомненно был я, такой же, каким я знал себя.

Я захотел осязать себя, взять правую руку за левую; моя рука прошла насквозь; попробовал охватить себя за талию — рука снова прошла через корпус, как по пустому пространству.

Пораженный таким странным явлением, я хотел, чтобы мне со стороны помогли разобраться в нем и, сделав несколько шагов, протянул руку, желая дотронуться до плеча доктора, но почувствовал, что иду я как-то странно, не ощущая прикосновения к полу, и рука моя, как ни стараюсь я, все никак не может достигнуть фигуры доктора, всего, может быть какой-нибудь вершок-два остается пространства, а дотронуться до него не могу.

Я сделал усилие твердо встать на пол, но, хотя корпус мой повиновался моим усилиям и опускался вниз, а достигнуть пола, так же, как фигуры доктора, мне оказалось невозможным. Тут тоже оставалось ничтожное пространство, но преодолеть его я никак не мог.

И мне живо вспомнилось, как несколько дней тому назад сиделка нашей палаты, желая предохранить мою микстуру от порчи, опустила пузырь с нею в кувшин с холодной водой, но воды в кувшине было много, и она сейчас же вынесла легкий пузырь наверх, а старушка, не понимая, в чем дело, настойчиво

и раз, и в другой, и в третий опускала его на дно и даже придерживала его пальцем, в надежде, что он устоит, но едва принимала палец, как он снова выворачивался на поверхность.

Так, очевидно, и для меня, *теперешнего* меня, окружавший воздух был уже слишком плотен.

14

Что же случилось со мной?

Я позвал доктора, но атмосфера, в которой я находился, оказалась совсем непригодной для меня; она не воспринимала и не передавала звуков моего голоса, и я понял свою полную разобщенность со всем окружающим, свое странное одиночество, и панический страх охватил меня. Было действительно что-то невыразимо ужасное в этом необычном одиночестве. Заблудился ли человек в лесу, тонет ли он в пучине морской, горит ли в огне, сидит ли в одиночном заключении, — он никогда не теряет надежды, что его услышат; он знает, что его поймут, лишь бы донесся куда-нибудь его зов, его крик о помощи; он понимает, что его одиночество продолжится только до той минуты, пока он не увидит живое существо, что войдет сторож в его каземат, и он может сейчас же заговорить с ним, высказать ему что желает, и тот поймет его.

Но видеть вокруг себя людей, слышать и понимать их речь, и в то же время знать, что ты, что бы ни случилось с тобой, не имеешь никакой возможности заявить им о себе, ждать от них, в случае нужды, помощи, — от такого одиночества волосы дыбом становятся на голове, ум цепенеет. Оно было хуже

пребывания на необитаемом острове, потому что там хоть природа воспринимала бы проявление нашей личности, а здесь в одном этом лишении возможности общаться с окружающим миром, как явлению неестественном для человека, было столько мертвящего страха, такое страшное сознание беспомощности, какого нельзя испытать ни в каком другом положении и передать словами.

Я, конечно, сдался не сразу; я всячески пробовал и старался заявить о себе, но попытки эти приводили меня в полное отчаяние. "Неужели же они не видят меня?" — с отчаянием думал я, и снова, и снова приближался к стоящей над моей койкой группе лиц, но никто из них не оглядывался, не обращал на меня внимания, и я с недоумением осматривал себя, не понимая — как могут они не видеть меня, когда я такой же как и был. Но — делал попытку осязать себя и рука моя снова рассекала лишь воздух.

"Но ведь я же не призрак, я чувствую и осознаю себя, и тело мое есть действительное тело, а не какой-нибудь обманчивый мираж", — думал я, и снова пристально осматривал себя и убеждался, что тело мое, несомненно, было тело, ибо я мог всячески рассматривать его и совершенно ясно видеть малейшую черточку, точку на нем. Внешний вид его оставался таким же, как был и прежде, но изменилось, очевидно, свойство его; оно стало недоступно для осязания, и окружающий воздух стал настолько плотен для него, что не допускал его полного соприкосновения с предметами.

"Астральное тело. Кажется это так называется? — мелькнуло в моей голове. — Но почему же, что стало со мной?" — задавал я себе вопросы, стараясь припомнить, не слышал ли я когда-нибудь расска-

зов о таких состояниях, странных трансфигурациях в болезнях.

— Нет, ничего тут не поделаешь! Все кончено, — безнадежно махнув рукой, проговорил в это время младший доктор, и отошел от койки, на которой лежал другой я.

Мне стало невыразимо досадно, что они все толкуют и хлопочут над тем моим я, которого я совершенно не чувствовал, которое совсем не существовало для меня, и оставляют без внимания другого, настоящего меня, который все сознает и, мучаясь страхом неизвестности, ищет, требует их помощи.

”Неужели они не спохватятся меня, неужели не понимают, что там меня нет”, — с досадой думал я и, подойдя к койке, глянул на того себя, который, в ущерб моему настоящему я, привлекал внимание находившихся в палате людей.

Я глянул, и тут только впервые передо мной явилась мысль: да не случилось ли со мной того, что на нашем языке, на языке живых людей, определяется словом ”смерть”?

Это пришло мне в голову потому, что мое лежавшее на койке тело имело совершенно вид мертвеца: без движения, бездыханное, с покрытым какой-то особенной бледностью лицом, с плотно сжатыми, слегка посинелыми губами, оно живо напоминало мне всех виданных мною покойников. Сразу может показаться странным, что только при виде моего бездыханного тела я сообразил, что именно случилось со мною, но, вникнув и проследив, что чувст-

вовал и испытывал я, такое странное, по первому взгляду, недоумение мое станет понятным.

В наших понятиях со словом "смерть" неразлучно связано представление о каком-то уничтожении, прекращении жизни, как же мог я думать, что умер, когда я ни на одну минуту не терял самосознания, когда я чувствовал себя таким же живым, все слышащим, видящим, сознающим, способным двигаться, думать, говорить? О каком уничтожении могла быть тут речь, когда я отлично видел себя, и в то же время даже сознавал странность своего положения. Даже слова доктора, что "все кончено", не остановили на себе моего внимания и не вызвали догадки о случившемся — настолько разнилось то, что произошло со мною, с нашими представлениями о смерти!

Разобщение со всем окружающим, раздвоение моей личности скорее всего могло бы дать мне понять случившееся, если бы я верил в существование души, был человеком религиозным; но этого не было и я водился лишь тем, что чувствовал, а ощущение жизни было настолько ясно, что я только недоумевал над странными явлениями, будучи совершенно не в состоянии связывать моих ощущений с традиционными понятиями о смерти, то есть, чувствуя и сознавая себя, думать, что я не существую.

Впоследствии мне неоднократно приходилось слышать от людей религиозных, то есть не отрицавших существования души и загробной жизни, такое мнение или предположение, что душа человека, едва только сбрось она с себя брэнную плоть, сейчас же становится каким-то всеведущим существом, что для нее ничего нет непонятного и удивительного в новых сферах, в новой форме ее бытия, что она не только мгно-

венно входит в новые законы открывшегося ей нового мира и своего измененного существования, но что все это так сродно ей, что тот переход есть для нее как бы возвращение в настоящее отечество, возвращение к естественному ее состоянию. Такое предположение основывалось главным образом на том, что душа есть дух, а для духа не может существовать тех ограничений, как существуют они для плотского человека.

16

Предположение такое, конечно, совершенно неверно.

Из вышеописанного читатель видит, что я явился в этот новый мир таким же, каким ушел из старого, т. е. с почти теми же способностями, понятиями и познаниями, какие имел, живя на земле.

Так, желая как-нибудь заявить о себе, я прибегал к таким же приемам, какие обыкновенно употребляются для этого всеми живыми людьми, то есть я звал, подходил, старался дотронуться, толкнуть кого-нибудь; заметив новое свойство моего тела, я находил это странным; следовательно, понятия у меня оставались прежние; иначе это не было бы для меня странным, — и, желая убедиться в существовании моего тела, я опять-таки прибегал к обычному мне, как человеку, для этого способу.

Даже поняв, что я умер, я не постиг какими-нибудь новыми способами происшедшей во мне перемены и, недоумевая, то называл мое тело "астральным", то у меня проносилась мысль, что не с таким ли телом был создан первый человек, и что получен-

ные им после падения кожаные ризы, о которых упоминается в Библии, не есть ли то брненное тело, которое лежит на койке и через несколько времени превратится в прах; одним словом, желая понять случившееся, я подводил такие ему объяснения, какие ведомы и доступны были мне по моим земным познаниям.

И это естественно. Душа, понятно, есть дух, но дух, созданный для жизни с телом; поэтому, каким же образом тело может явиться для нее чем-то вроде тюрьмы, какими-то узами, приковывающими ее к несродному будто бы ей существованию?

Нет, тело есть законное, предоставленное ей жилище, и поэтому она является в новый мир в той степени своего развития и зрелости, каких достигла в совместной жизни с телом, в положенной ей нормальной форме бытия. Конечно, если человек был при жизни духовно развит, настроен, его душе много будет более сродно и оттого понятнее в этом новом мире, чем душе того, кто жил, никогда не думая о нем, тогда как первая в состоянии будет, так сказать, сразу читать там, хотя и не бегло и с запинками, второй, подобно моей, нужно начинать с азбуки, нужно время, — чтобы уразуметь и тот факт, о котором она никогда не помышляла, и ту страну, в какую она попала и в которой никогда и мысленно не бывала.

Вспоминая и продумывая впоследствии свое тогдашнее состояние, я заметил только, что мои умственные способности действовали и тогда с такой удивительной энергией и быстротой, что, казалось, не оставалось ни малейшей черты времени для того, чтоб с моей стороны сделать усилие сообразить, сопоставить, вспомнить что-нибудь; едва что-либо являлось передо мной, как память моя, мгновенно

низывая прошлое, выкапывала все завалявшиеся там и заглохшие крохи знания по данному предмету, и то, что в другое время, несомненно, вызвало бы мое недоумение, теперь представлялось мне как бы известным. Иногда я даже каким-то наитием предугадывал и неведомое мне, но все-таки не раньше, чем оно представлялось моим глазам. В этом только и заключалась особенность моих способностей, кроме тех, которые являлись следствием моего измененного естества.

17

Перехожу к повествованию дальнейших обстоятельств моего невероятного происшествия.

Невероятно! Но если оно до сих пор казалось невероятным, то эти дальнейшие обстоятельства явятся в глазах моих образованных читателей такими "наивными" небылицами, что о них и повествовать бы не стоило; но, может быть, для тех, кто пожелает взглянуть на мой рассказ иначе, сама наивность и скудость послужат удостоверением в истинности, ибо если бы я сочинял, выдумывал, то здесь для фантазии открывается широкое поле, и конечно, я бы выдумал что-нибудь помудреннее, поэффективнее.

Итак, что же дальше было со мною? Доктора вышли из палаты, оба фельдшера стояли и толковали о перипетиях моей болезни и смерти, а старушка няня (сиделка), повернувшись к иконе, перекрестилась и громко высказала обычное в таких случаях пожелание мне:

— Ну, Царство ему Небесное, вечный покой...
И едва она произнесла эти слова, как подле меня

явились два Ангела; в одном из них я почему-то узнал моего Ангела-Хранителя, а другой был мне неизвестен*.

Взяв меня под руки, Ангелы вынесли меня прямо через стену из палаты на улицу.

18

Смеркалось уже, шел большой, тихий снег. Я видел его, но холода и вообще перемены между комнатной и надворною не ощутил. Очевидно, подобные вещи утратили для моего измененного тела свое значение. Мы стали быстро подниматься вверх. И по мере того, как подымались мы, взору моему открывалось все большее и большее пространство, и, наконец, оно приняло такие ужасающие размеры, что меня охватил страх от сознания моего ничтожества перед этой бесконечной пустыней. В этом, конечно, сказывались некоторые особенности моего зрения. Во-первых, было темно, а я видел все ясно; следовательно, зрение мое получило способность видеть в темноте; во-вторых, я охватил взором такое пространство, какого, несомненно, не мог охватить моим обыкновенным зрением. Но этих особенностей я, кажется, не осознал тогда, а что я вижу не все, что

* Таковым он остается для меня и поныне, хотя впоследствии я у многих лиц духовных спрашивал, нет ли в учениях нашей Церкви или в творениях св. Отцов каких-либо указаний на его появление при смерти человека? Но до сих пор только от одного простого странника вскользь слышал, что нужно молиться и "встречному ангелу", и на мой вопрос, какой это "встречный ангел", он лишь кратко сказал: "а тот, который встретит там твою душу", и более я ничего не узнал.

для моего зрения, как ни широк его кругозор, все-таки существует предел, — это я отлично понимал и ужасался. Да, насколько, стало быть, свойственно человеку ценить во что-то свою личность: я сознавал себя таким ничтожным, ничего не значащим атомом, появление или исчезновение которого, понятно, должно было оставаться совсем незамеченным в этом беспредельном пространстве, но вместо того, чтобы находить для себя в этом некоторое успокоение, своего рода безопасность, я страшился... что затеряюсь, что эта необъятность поглотит меня, как жалкую пылинку. Удивительный отпор ничтожной точки всеобщему (как мнят некоторые) закону разрушения, и знаменательное проявление сознания человеком его бессмертия, его вечного личного бытия!

19

Идея времени погасла в моем уме, и я не знаю, сколько мы еще подымались вверх, как вдруг послышался сначала какой-то неясный шум, а затем, выплыв откуда-то, к нам с криком и гогом стала быстро приближаться толпа каких-то безобразных существ.

”Бесы!” — с необычайной быстротой сообразил я и оцепенел от какого-то особенного, неведомого мне дотоле ужаса. Бесы! О сколько иронии, сколько самого искреннего смеха вызвало бы во мне несколько дней назад чье-нибудь сообщение, не только о том, что он видел своими глазами бесов, но что он допускает существование их как тварей известного рода! Как и подобало ”образованному” человеку конца XIX века, я под этим названием разумел дурные

склонности, страсти в человеке, почему и само это слово имело у меня значение не имени, а термина, определявшего известное отвлеченное понятие. И вдруг это "известное отвлеченное понятие" представило мне живым олицетворением! Не могу и до сих пор сказать, как и почему я тогда без малейшего недоумения признал в этом безобразном видении бесов. Несомненно лишь, что такое определение совсем выходило из порядка вещей и логики, ибо, предстань мне подобное зрелище в другое время, я, несомненно, сказал бы, что это какая-то небылица в лицах, уродливый каприз фантазии, — одним словом, все, что угодно, но уж конечно, никак не назвал бы его тем именем, под которым понимал нечто такое, чего и видеть нельзя. Но тогда это определение вылилось с такой быстротой, как будто тут и думать было незачем, как будто я увидел что-то давно и хорошо мне известное, и так как мои умственные способности работали в то время, как говорил я, с какой-то непостижимой энергией, то я почти так же быстро сообразил, что безобразный вид этих тварей не был их настоящей внешностью, что это был какой-то мерзкий маскарад, придуманный, вероятно, с целью более устроить меня, и на мгновение что-то похожее на гордость шевельнулось во мне. Мне стало стыдно за себя, за человека вообще, что для того, чтобы испугать его, столь много мнящего о себе, другие твари прибегают к таким приемам, какие нами практикуются по отношению к малым детям.

Окружив нас со всех сторон, бесы с криком и гамом требовали, чтобы меня отдали им, они старались как-нибудь схватить меня и вырвать из рук ангелов, но, очевидно, не смели этого сделать. Среди их невообразимого и столь же отвратительного для слуха,

как сами они были для зрения, воя и гама я улавливал иногда слова и целые фразы.

— Он наш: он от Бога отрекся, — вдруг чуть не в один голос завопили они, и при этом уж с такой наглостью кинулись на нас, что от страха у меня на мгновение застыла всякая мысль.

”Это ложь! Это неправда!” — опомнившись, хотел крикнуть я, но услужливая память связала мой язык. Каким-то непонятным образом мне вдруг вспомнилось такое маленькое, ничтожное событие, и к тому же и относившееся еще к давно минувшей эпохе моей юности, о котором, кажется, я и вспомнить никогда не мог.

20

Мне вспомнилось, как еще во времена моего учения, собравшись однажды у товарища, мы, потолковав о своих школьных делах, перешли затем на разговор о разных отвлеченных и высоких предметах, — разговоры, какие велись нами зачастую.

— Я вообще не люблю отвлеченностей, — говорил один из моих товарищей, — а здесь уж совершенная невозможность. Я могу верить в какую-нибудь пусть и неисследованную наукой силу природы, то есть я могу допустить ее существование и не видя ее явных определенных проявлений, потому что она может быть очень ничтожной или сливающейся в своих действиях с другими силами, и оттого ее трудно и уловить; но веровать в Бога, как Существо личное и всемогущее, — когда я не вижу нигде ясных проявлений этой Личности, — это уже абсурд. Мне говорят: веруй. Но почему должен я веровать, когда я одина-

ково могу верить и тому, что Бога нет. Ведь правда же? И может быть, Его и нет? — уже в упор ко мне отнесся товарищ.

— Может быть, и нет, — проговорил я.

Фраза эта была в полном смысле слова "праздным глаголом"; во мне не могла вызвать сомнений в бытии Бога бестолковая речь приятеля, я даже не особенно следил за разговором, — и вот теперь оказалось, что этот праздный глагол не пропал бесследно в воздухе, мне надлежало оправдываться, защищаться от возводимого на меня обвинения, и таким образом удостоверилось евангельское сказание, что если и не по воле ведущего тайные сердца человеческого Бога, то по злобе врага нашего спасения, нам действительно предстоит дать ответ и во всяком праздном слове.

Обвинение это, по-видимому, являлось самым сильным аргументом моей гибели для бесов, они как бы почерпнули в нем новую силу для смелости своих нападений на меня и уже с неистовым ревом завертелись вокруг нас, преграждая нам дальнейший путь.

Я вспомнил о молитве и стал молиться, призывая на помощь тех Святых, которых знал и чьи имена пришли мне на ум. Но это не устрашало моих врагов. Жалкий невежда, христианин лишь по имени, я чуть ли не впервые вспомнил о Той, Которая именуется Заступницей рода христианского.

Но, вероятно, горяч был мой порыв к Ней, вероятно, так преисполнена ужаса была душа моя, что едва я, вспомнив, произнес Ее имя, как вокруг нас вдруг появился какой-то белый туман, который и стал быстро заволакивать безобразное сонмище бесов. Он скрыл его от моих глаз, прежде чем оно успело

отделиться от нас. Рев и гогот их слышался еще долго, но по тому, как он постепенно ослабевал и становился глуше, я мог понять, что страшная погоня оставила нас.

21

Испытанное мною чувство страха так захватило меня всего, что я не осознавал даже, продолжали ли мы и во время этой ужасной встречи наш полет, или она остановила нас на время; я понял, что мы движемся, что мы продолжаем подниматься вверх, лишь когда предо мною снова разостлалось бесконечное воздушное пространство.

Пройдя некоторое его расстояние, я увидел над собой яркий свет: он походил, как казалось мне, на наш солнечный, но был гораздо сильнее его. Там, вероятно, какое-то царство света.

”Да, именно царство, полное владычество света, — предугадывая каким-то особым чувством еще не виданное мною, думал я, — потому что при этом свете нет теней. Но как же может быть свет без тени?” — сейчас же выступили с недоумением мои земные понятия.

И вдруг мы быстро внеслись в сферу этого света, и он буквально ослепил меня. Я закрыл глаза, поднес руки к лицу, но это не помогало, так как руки мои не давали тени. Да и что значила здесь подобная защита!

”Боже мой, да что же это такое, что это за свет такой? Для меня ведь та же тьма. Я не могу смотреть и, как во тьме, не вижу ничего”, — взмолился я, сопоставляя мое земное зрение и забыв, или, быть мо-

жет, даже и не осознавая, что теперь такое сравнение не годится, что теперь я мог видеть и во тьме.

Эта невозможность видеть, смотреть, увеличивала для меня страх неизвестности, естественный при нахождении в неведомом мне мире, и я с тревогой размышлял: "Что же будет дальше? Скоро ли мы минем эту сферу света и есть ей предел, конец?"

Но случилось иное. Величественно, без гнева, но властно и непоколебимо, раздалось слова: — Не готов!

И затем... затем мгновенная остановка в нашем полете вверх — и мы быстро стали опускаться вниз.

Но прежде, чем покинули мы эти сферы, мне было дано узнать одно дивное явление.

Едва сверху раздалось означенные слова, как все в этом мире, казалось, каждая пылинка, каждый самонаименьший атом отозвались на них своим изволением. Словно многомиллионное эхо повторило их на неуловимом для слуха, но осязаемом и понятном для сердца и ума языке, выражая свое полное согласие с последовавшим определением. И в этом единстве воли была такая дивная гармония, и в этой гармонии столько невыразимой, восторженной радости, пред которой жалким бессолнечным днем явились все наши земные очарования и восторги. Неподражаемым музыкальным аккордом прозвучало это многомиллионное эхо, и душа вся заговорила, вся беззаботно отозвалась на него пламенным порывом слиться с этой общей гармонией.

Я не понял настоящего смысла относившихся ко

мне слов, то есть не понял, что снова должен вернуться на землю и снова жить так же, как раньше жил; что меня несут в какие-либо другие страны, и чувство робкого протеста зашевелилось во мне, когда передо мною сначала смутно, как в утреннем тумане, обозначились очертания города, а затем и ясно показались знакомые улицы.

Вот и памятное мне здание больницы. Так же, как и прежде, через стены здания и закрытые двери был внесен я в какую-то совершенно неизвестную комнату: в комнате этой стояло в ряд несколько окрашенных темною краскою столов, и на одном из них, покрытым чем-то белым, я увидел лежащего себя, или вернее, мое мертвое тело.

Неподалеку от моего стола какой-то седенький старичок в коричневом пиджаке, вода согнутою восковой свечкой по строкам крупного шрифта, читал Псалтирь, а по другую сторону, уже извещенная о моей смерти и успевшая приехать, моя сестра и подле нее, нагнувшись и что-то тихо говоря ей — ее муж.

— Ты слышал Божие определение? — подведя меня к столу, обратился ко мне безмолвствовавший доселе Ангел-Хранитель и, указав затем рукой на мое мертвое тело, сказал: "Войди и готовься".

И засим оба Ангела стали невидимы для меня.

23

Совершенно ясно помню, что и как произошло после этих слов со мною.

Сначала я почувствовал, что меня как бы стеснило что-то; затем явилось ощущение неприятного холода, и возвращение этой утраченной мною способности

чувствовать такие вещи живо воскресило во мне представление прежней жизни, и чувство глубокой грусти как бы о чем-то утраченном охватило меня. (Замечу здесь к слову, что чувство это осталось после описываемого мною события навсегда при мне.)

Желание вернуться к прежней жизни, хотя до этой поры в ней не было ничего особенного скорбного, ни на минуту не шевельнулось во мне: меня нисколько не тянуло, ничто не влекло к ней.

Приходилось ли вам, читатель, видеть пролежавшую некоторое время в сыром месте фотографию? Рисунок на ней сохранился, но от сырости он выцвел, облинял и, вместо определенного и красивого изображения, получилась какая-то сплошная бледно-рыжеватая муть. Так обесцветилась для меня жизнь, превратясь тоже в какую-то сплошную водянистую картинку, и таковою остается она в моих глазах и поныне.

Как и почему почувствовал я это сразу — не знаю, но только она ничем не влекла меня; испытанный мною ужас от сознания моего разобщения с окружающим миром теперь почему-то утратил для меня свое страшное значение; я видел, например, сестру и понимал, что не могу сообщаться с ней, но это нисколько не тяготило меня; я довольствовался тем, что сам вижу ее и знаю все о ней; во мне даже не явилось, как прежде, желание заявить о своем присутствии как-нибудь.

Впрочем, и не до того было. Чувство стеснения заставило меня все больше и больше страдать. Мне казалось, что меня словно жмут какими-то тисками, и ощущение это все усиливалось; я, со своей стороны, не оставался пассивным, делал что-то, боролся ли, стараясь освободиться от него, или делал уси-

лия, не освобождаясь, как-нибудь сладить, одолеть его — определить не могу, помню только, что мне становилось все тесней и тесней и, наконец, я потерял сознание.

24

Очнулся я уже лежащим в больничной палате на койке.

Открыв глаза, я увидел себя окруженным чуть ли не целой толпой любопытных или, выражаясь иначе: с напряженным вниманием наблюдавших меня лиц.

У самого моего изголовья, на придвинутом табурете, стараясь сохранить свое обычное величие, сидел старший врач; его поза и манеры, казалось, говорили, что все это, мол, вещь обыкновенная и ничего тут нет удивительного, а между тем в его устремленных на меня глазах так и сверкало напряженное внимание и недоумение.

Младший доктор — тот уж безо всякого стеснения так и впился в меня глазами, словно стараясь просмотреть всего меня насквозь.

У ног моей койки, одетая в траурное платье, с бледным, взволнованным лицом, стояла сестра моя, подле нее — зять, из-за сестры выглядывало более других спокойное лицо больничной сиделки, а еще дальше за ней виднелась уже совсем перепуганная физиономия нашего молодого фельдшера.

Придя окончательно в себя, я прежде всего приветствовал сестру; она быстро подошла ко мне, обняла меня и заплакала.

— Ну, батенька, и задали же вы нам жару! — со свойственным молодости нетерпением поделиться

поскорее пережитыми необычайными впечатлениями и наблюдениями, проговорил младший доктор. — Кабы вы знали, что с вами творилось!

— Да я отлично помню все, что происходило со мной, — проговорил я.

— Как? Неужели вы не теряли сознание?

— Стало быть — нет.

— Это очень, даже очень странно, — проговорил он, взглянув на старшего доктора. — Странно потому, что вы лежали настоящей кочерыжкой, без малейших признаков жизни, нигде ничего, ни-ни. Как же можно в таком состоянии сохранить сознание?

— Вероятно же — можно, если я и видел и сознавал все.

— То есть видеть-то вы ничего не могли, а слышать, чувствовать. И неужели вы все-все слышали и понимали? Слышали, как вас обмывали, одевали...

— Нет, этого я ничего не чувствовал. Вообще тело мое было для меня совсем не чувствительно.

— Как же так? Говорите, что помните все, что было с вами, а ничего не чувствовали?

— Я говорю, что не чувствовал только того, что делалось с моим телом, находясь под ярким впечатлением пережитого, — проговорил я, думая, что такого пояснения вполне достаточно, чтобы понять высказанное мною.

— Ну-те? — видя, что я остановился на этом, проговорил доктор.

А я даже и запнулся на минуту, не зная, что же ему еще нужно от меня? Мне казалось, что все так понятно, и я снова лишь повторил:

— Я сказал вам, что не чувствовал только моего тела, следовательно всего, что касалось его, но ведь тело мое — не весь же я? Ведь не весь же я лежал ко-

черыжкой. Ведь прочее-то все жило и продолжало действовать во мне! — проговорил я, думая, что раздвоение или вернее раздельность в моей личности, которая была теперь яснее Божьего дня для меня, была так же известна и тем людям, к которым я обращал мою речь.

Очевидно, я еще не вернулся вполне в прежнюю жизнь, не перенесся на точку ее понятий, и говоря о том, что знал теперь и предчувствовал, сам не понимал, что слова мои могут казаться чуть не бредом сумасшедшего для не испытавших ничего подобного и отрицавших все подобное людей.

25

Младший доктор хотел еще что-то возразить или спросить меня, но старший сделал ему знак, чтобы он оставил меня в покое, — не знаю уж, потому ли, что этот покой был действительно нужен мне, или потому, что из моих слов он вывел заключение, что голова моя еще не в порядке и поэтому нечего толковать со мной.

Убедившись, что механизм мой пришел в более или менее надлежащее состояние, меня ослушали: отека в легких не оказалось; затем дав мне выпить, кажется, чашку бульона, все удалились из палаты, позволив лишь сестре побыть со мной еще некоторое время.

Думая, вероятно, что напоминания о случившемся могут взволновать меня, вызывая всякие страшные предположения и гадания, вроде возможности быть погребенным заживо, и т. п., все окружавшие и

навещавшие меня избегали заводить со мною об этом разговоры; исключение составлял только младший доктор.

Его, по-видимому, крайне заинтересовал бывший со мной случай, и он по нескольку раз на день прибежал ко мне, то просто лишь взглянуть, что и как, то задать один-другой выдуманный вопрос; иногда он приходил один, а иногда даже приводил с собой какого-либо товарища, по большей части студента, *посмотреть* на побывшего в мертвецкой человека.

На третий или четвертый день, найдя меня, вероятно, достаточно окрепшим, или, может быть, потеряв терпение выжидать дальше, он, придя вечером в мою палату, пустился уже в более продолжительный разговор со мной.

Подержав меня за пульс, он сказал:

— Удивительно, все дни у вас пульс совершенно ровный, без всяких всплесков, отклонений, а если бы вы знали, что с вами творилось, чудеса, да и только!

Я уже освоил теперь, вошел в колею прежней жизни и понимал всю необычайность случившегося со мной, понимал и то, что знаю о нем только я, и что те чудеса, о которых говорил доктор, есть какие-нибудь внешние проявления пережитого мною происшествия, какие-нибудь диковины с медицинской точки зрения, и спросил:

— Это когда же чудеса со мной творились? Перед тем, как я вернулся к жизни?

— Да, перед тем, как вы очнулись. Я уж не говорю о себе, я человек малоопытный, а случая летаргии до сих пор и совсем не видел, но кому я ни рассказывал из старых врачей, все удивлены, понимаете, до того, что отказываются верить моим словам.

— Да что же, собственно, было со мной столь ди-ковинного?

— Я думаю, вы знаете, — впрочем, тут и знать не надо, оно и так само собою понятно, — что когда у человека проходит даже обычное обморочное состояние, все органы его работают сначала крайне слабо: пульс едва уловить можно, дыхание совсем неприметно, сердца не слышишь. А у вас произошло что-то невообразимое: легкие сразу запыхтели, как какие-то меха исполинские, сердце застучало, что молот о наковальню. Нет, этого даже передать нельзя: это надо было видеть. Понимаете, это был какой-то вулкан перед извержением, мороз бежит по спине, со стороны становилось страшно; казалось, еще мгновение — и кусков не останется от вас, потому что никакой организм не может выдержать такой работы.

”Гм... не диво же, что я, перед тем, как очнулся, потерял сознание”, — подумал я.

А до рассказа доктора я все недоумевал и не знал, как объяснить то странное, как казалось мне, обстоятельство, что во время умирания, то есть, когда все замирало во мне, я ни на минуту не потерял сознание, а когда мне надлежало ожить, я впал в обморочное состояние. Теперь же это стало понятно мне: при смерти я хотя тоже чувствовал стеснение, но в крайний момент оно разрешилось тем, что я сбросил с себя то, что причиняло его, а одна душа, очевидно, не может падать в обмороки: когда же мне следовало вернуться к жизни, я, наоборот, должен был принять на себя то, что подвержено всяческим физическим страданиям, до обмороков включительно.

Доктор, между тем, продолжал:

— И вы помните, что это не после какого-нибудь обморока, а после полуторасуточной летаргии! Можете судить о силе этой работы по тому, что вы представляли собой замороженную кочерыжку, а спустя какие-нибудь пятнадцать-двадцать минут, ваши члены получили уже гибкость, а к часу согрелись даже и конечности. Ведь это невероятно, баснословно! И вот, когда я рассказываю, мне отказываются верить.

— А знаете, доктор, почему это случилось так необычайно? — сказал я.

— Почему?

— Вы, по вашим медицинским понятиям, под определением летаргии понимаете нечто сходное с обмороком?

— Да, только в наивысшей степени...

— Ну, тогда, стало быть, со мной была не летаргия.

— А что же?

— Я, стало быть, действительно умирал и вернулся к жизни. Если бы здесь было только ослабление деятельности в организме, то тогда бы она, конечно, восстановилась без подобной "бульверсии", а так как телу моему надлежало экстренно приготовиться к принятию души, то и работать все члены должны были тоже эстраординарно.

Доктор с секунду слушал меня внимательно, а затем его лицо приняло равнодушное выражение.

— Да вы шутите, а для нас, медиков, это крайне интересный случай.

— Могу вас уверить, что я и не думаю шутить. Я сам несомненно верю тому, что говорю, и хотел бы

даже, чтобы и вы поверили... ну хотя бы для того, чтобы серьезно исследовать такое исключительное явление. Вы говорите, что я ничего не мог видеть, а хотите — я вам сейчас нарисую всю обстановку мертвецкой, в которой я *живым* никогда не был, хотите, расскажу, где кто из вас стоял и что делал в момент моей смерти и вслед за тем?

Доктор заинтересовался моими словами, и когда я рассказал и напомнил ему, как все было, он, с видом человека, сбитого с толку, промывчал:

— Н-да, странно. Какое-то ясновидение...

— Ну, доктор, это уж совсем что-то не вяжется: состояние мороженого судака — и ясновидение!

Но верх изумления вызвал в нем мой рассказ о том состоянии, в котором я находился в первое время после разъединения моей души с телом, о том, как я видел все, видел, что они хлопочут над моим телом, которое, по его бесчувствию, имело для меня значение сброшенной одежды; как мне хотелось дотронуться, толкнуть кого-нибудь, чтобы привлечь внимание к себе, и как ставший слишком плотным для меня воздух не допускал моего соприкосновения с окружающими меня предметами.

Все это он слушал, чуть не буквально разиня рот и сделав большие глаза, и едва кончил я, поспешил проститься со мной и ушел, вероятно, спеша поделиться с другими столь интересными повествованиями.

Вероятно, он сообщил об этом и старшему врачу, ибо этот последний, во время визита на следую-

ший день, осмотрев меня, задержался около моей койки и сказал:

— У вас, кажется, были галлюцинации во время летаргии. Так вы смотрите, постарайтесь отделаться от этого, а то...

— Могу с ума спятить? — подсказал я.

— Нет, это, пожалуй, много, а может перейти в манию.

— А разве бывают при летаргии галлюцинации?

— Что ж вы спрашиваете. Вы знаете это теперь лучше меня.

— Единственный случай, хотя бы и со мною, для меня не доказательство. Мне хотелось бы знать общий вывод медицинских наблюдений по этому обстоятельству.

— А куда девать случай с вами? Ведь это же факт!

— Да, но если все случаи подводить под одну рубрику, то не закроем ли мы этим двери для исследования разных явлений, различных симптомов болезней, и не получится ли через подобный прием нежелательная односторонность в медицинских диагнозах.

— Да тут ничего подобного быть не может. Что с вами была летаргия — это вне всякого сомнения, следовательно должно принять и то, что было с вами, за возможное в этом состоянии.

— А скажите, доктор: есть ли какая-нибудь почва для появления летаргии в такой болезни, как воспаление легких?

— Медицина не может указать, какая именно нужна для нее почва, потому что она приключается при всяких болезнях, и даже бывали случаи, что человек впадал в летаргический сон без предшества

какой-либо болезни, будучи по-видимости совершенно здоров.

— А может сам по себе пройти отек легких во время летаргии, то есть в то время, когда сердце его бездействует и, следовательно, увеличение отека не встречает никаких препятствий для себя?

— Раз это случилось с вами, стало быть — это возможно, хотя, верьте, ваш отек прошел, когда вы уже очнулись.

— В несколько минут?

— Ну, уж в несколько минут... Впрочем, хотя бы и так. Такая работа сердца и легких, какова была в момент вашего пробуждения, может, пожалуй, и лед на Волге взломать, не то что разогнать какой угодно отек в какое угодно время.

— А могли стесненные, отекающие легкие работать так, как они работали у меня?

— Стало быть.

— Следовательно, ничего удивительного, поразительного в приключившемся со мною нет?

— Нет, почему же! Это, во всяком случае... редко наблюдаемое явление.

— Редко, или в такой обстановке, при таких обстоятельствах, никогда?

— Хм, как же никогда, когда это было с вами?

— Следовательно, и отек может пройти сам по себе, даже когда все органы у человека бездействуют, и стесненное отеком сердце и отекающие легкие могут, если им вздумается, работать на славу: может ли человек очнуться от летаргии, приключившейся во время отека легких, то есть может ли он вывернуться зараз от двух таких... неблагоприятных казусов?

На лице доктора появилась ироническая улыбка.

— Вот, видите, я предупреждал вас недаром отно-

сительно мании-то, — проговорил он. — Вы все хотите подвести бывший с вами случай под что-то другое, а не летаргию, и задаете вопросы с целью...

”С целью убедиться, — подумал я, — кто из нас маньяк: я ли, желающий выводами науки проверить основательность сделанного тобою моему состоянию определения, или ты, подводящий, быть может, вопреки даже возможности, все под одно имеющееся в твоей науке наименование?”

Но громко я сказал следующее:

— И задаю вопросы с целью показать вам, что не всякий, увидав порхающий снег, способен, вопреки указаниям календаря и цветущим деревьям, во что бы то ни стало утверждать, что стало быть зима, потому лишь, что по науке снег значит принадлежит зимы; ибо сам я помню, как однажды выпал снег, когда по календарному счислению значилось двадцатое мая и деревья в саду моего отца были в цвету.

Этот мой ответ, вероятно, убедил доктора, что он опоздал со своим предупреждением, что я уже впал в ”манию”, и он ничего не возразил мне, и я не стал больше ни о чем спрашивать его.

Я привел этот разговор для того, чтобы читатель не обвинил меня в непростительном легкомыслии, что я по горячим, так сказать, следам не обследовал научно бывшего со мною необычайного случая, тем более, что произошел он при такой благоприятной для сего обстановке. Ведь и в самом деле, налицо было два лечивших меня врача — очевидца всего случивше-

гося — и целый штат больничных служащих различных категорий! И вот по приведенному разговору читатель может судить, чем должны были окончиться мои "научные обследования". Что я мог узнать, чего добиться при таком отношении к делу? Мне многое хотелось узнать, хотелось для соображений подробно узнать и понять весь ход моей болезни, хотелось узнать: было ли хотя на йоту вероятности в том, что отек мог у меня рассосаться в то время, когда сердце у меня бездействовало и кровообращение, по-видимому, окончательно прекратилось, так как я окоченел? Басне, что он прошел у меня в несколько минут, когда я уже очнулся, одинаково мудро было верить, потому что тогда все равно являлась непонятною такая деятельность стесненных отеком сердца и легких.

Но после подобных попыток я оставил моих врачей в покое и перестал расспрашивать их, потому что все равно и сам не поверил бы правдивости и беспристрастности их ответов.

Пробовал я впоследствии "обследовать научно" этот вопрос; но результат получился почти тот же; я встречал такое же апатичное отношение ко всем самостоятельным "обследованиям", такое же рабство мысли, такой же малодушный страх перешагнуть за черту очерченного наукой круга.

А наука... Ах, какое тут постигло разочарование! Когда я спрашивал: возможно ли человеку, впавшему в летаргию при наступившем после воспаления отеке легких очнуться, или наблюдались ли в медицине и возможны по закону природы вообще такие случаи, чтобы во время летаргии больной совершенно выздоравливал от болезни, весь ход которой и финал являлись, по мнению врачей, вполне естественно и

правильно наступившей смертью, мне обыкновенно сразу же отвечали отрицательно. Но сейчас же, при дальнейших моих вопросах, уверенный тон переходил в гадательный, появлялись разные "впрочем", "знаете" и т. п. О том, что это было со мною, конечно, нечего было и заикаться. Тут уж сразу, без малейшей запинки, выплывало всеподданнейшее перед наукой и всеобъемлющее и всеудовлетворяющее ученых: "раз это было с вами..." и проч. И никакого недоумения, удивления, что указывало на полнейшее отсутствие уверенности и обоснованности того, что говорилось за четверть часа перед тем. Меня, как не посвященного в тонкости этой науки, да еще на беду привыкшего рассуждать, ужасно злило это, и я не раз с горячностью спрашивал, ставя вопрос ребром:

— Но скажите, пожалуйста, пусть летаргия явление редкое, пусть сама она мало наблюдалась, мало исследована, но неужели же в ваших научных законоположениях о жизни организма нельзя найти скольконибудь определенного ответа на подобные вопросы?

Но тут приходилось убедиться, что это "научное законоположение для жизни организма" имело под собой столько же незыблемой почвы, как и гипотеза о происхождении каналов на Марсе и бываемых там наводнениях. Да и что уж было в сущность сущностей забираться, когда даже на мой вопрос, бывают ли (я уже не спрашивал — возможны или невозможны, так как тут опять требовалось самостоятельное мышление и умозаключение) при летаргии галлюцинации, я не получил прямого ответа.

И пришлось мне самому братья за собирание тех сведений, какие я хотел найти готовыми в науке, и собирал я их, особенно в первое время, весьма усердно, во-первых, потому, что мне хотелось уяс-

нить самому себе, что должно понимать под словом "летаргия" — глубокий ли сон, обморок, одним словом, такое состояние, когда жизнь в человеке как бы замирает, но не покидает его совсем, или такое представление медицины неверно и в сущности со всяким впавшим по нашим определениям в летаргию происходит то же, что было и со мной. А во-вторых, я предвидел, конечно, то недоверие (откровенно говоря, совсем бессмысленное и неосновательное, так как научно нельзя ведь доказать возможности такого явления), какое будет встречать мой рассказ и какое он, несомненно, вызовет и теперь, и будучи сам горячо убежден в происшедшем со мною, желал найти подтверждение основательности моей убежденности в наблюдениях и возможных исследованиях данного обстоятельства.

29

Итак, какой же результат дали мои исследования, что же именно было со мной? Несомненно то, что я и писал, то есть, что моя душа покинула на время тело, и затем, Божиим определением, вернулась в него. Ответ, могущий, конечно, иметь двоякое к себе отношение: безусловно невозможный для одних и вполне вероятный для других, в зависимости от внутреннего устройства, от мирозерцания человека. Для того, кто не признает существования души, недопустим даже вопрос о каком-либо правдоподобии такого определения. Какая душа может отделиться, когда ее и нет вовсе? Желательно только, чтобы такие мясники обратили внимание на то, что в человеке может слышать, видеть, одним словом, жить и действовать, и

тогда, когда тело его лежит окоченелым и совершенно бесчувственным. А кто верит, что в человеке помимо физического состава, физических отправлений, есть и еще какая-то сила, совершенно от сих последних не зависящая, для того в подобном факте нет ничего невероятного. А верить этому, думается, и гораздо разумнее и основательнее, ибо если не эта сила одухотворяет, дает жизнь нашему телу, а сама лишь является продуктом деятельности этого последнего, то тогда уж совершенную нелепостью является смерть. Чего ради должен я верить в логичность таких явлений, как старость, разрушение, когда потребный для питания и обновления моего организма обмен веществ в моем теле не прекращается? Когда я обращался с моим рассказом к духовным лицам разных иерархических степеней, а между ними были люди и очень ученые, все они единогласно отвечали мне, что в бывшем со мною происшествии нет ничего невероятного, что повествования о подобных случаях имеются и в Библии и в Евангелии, и в житиях святых, и в Своих благих и премудрых целях Господь допускает иногда такие предвосхищения души, дает, по мере ее способностей, — одной созерцать больше, другой меньше, из того таинственного мира, в который всем нам предстоит неизбежный путь. Прибавлю здесь от себя, что иногда цель таких откровений бывает сразу ясна и понятна, иногда остается сокрытою и настолько, что откровение кажется как бы беспричинным, ничем не вызванным, а иногда лишь через долгий промежуток времени или какими-нибудь окружающими путями обозначается его необходимость.

Так в перечитанной мною литературе по этому предмету я напал на случай, где только для правнука подобное обстоятельство явилось грозным и

столь властно, неотразимо воздействовавшим на него предостережением, что он не колеблясь отказался от самоубийства, от которого дотоле ничто не могло отвратить его. Очевидно, в род этот необходимо было пролить такое знание, но кроме прабабки спасенного этим знанием юноши, вероятно, никто не способен был воспринять его, и оттого и лег такой долгий промежуток времени между откровением и его применением. Такова духовная, религиозная сторона этого обстоятельства. Перейдем к другим. Здесь я встретил много такого, что могло лишь подтвердить мою веру, и ничего такого, что бы ее опровергло.

30

Прежде всего, из всяких справок и из всего прочитанного мной по этому предмету я узнал, что галлюцинации в летаргии и по существу быть не может, что впавший в летаргический сон или ничего не слышит и не чувствует, или чувствует и слышит лишь то, что в действительности происходит вокруг него, и медицинское наименование такого состояния "сном" совершенно неправильно. Это скорее какое-то оцепенение, парализация, или, как еще подходящее выражается наш простой народ, "обмирание", которое, в зависимости от степени его силы, иногда распространяется на все мельчайшие отправления, на всю тончайшую работу организма, и в таком случае, само собой разумеется, ни о каких галлюцинациях и сновидениях речи быть не может, так как всякая деятельность мозга бывает так же парализована, как и прочих органов. При более же слабой степени оцепенения больной чувствует и сознает все вполне

правильно, мозг его находится в совершенно трезвом состоянии, как у бодрствующего и совершенно трезвого человека, и следовательно этому страшному недугу совсем несвойственно, даже и в малой степени, наподобие хотя бы сна или легкого забытья, омрачать сознание.

Далее, несомненно веским, хотя, быть может, и не для людей "положительных" наук, но для людей со здравым смыслом и трезвым отношением к вещам, доказательством того, что бывающие в подобных приключившимся со мною обстоятельствах видения не суть бред, галлюцинация, а действительно ими пережитое, служит их сила и реальность. Думаю, каждый из нас знаком с какими-нибудь яркими сновидениями, бредом, кошмаром и тому подобными явлениями, и каждый по себе может проверить, насколько продолжительны бывают обыкновенно оставляемые ими впечатления. Обыкновенно они бледнеют и рассеиваются вслед за пробуждением, если дело идет о сновидении или кошмаре, или при наступившем переломе к выздоровлению, в случае бреда, галлюцинации. Достаточно человеку прийти в себя, как он сейчас же отделяется от их власти и сознает, что это был бред или кошмар. Так я знал одного горячечного, который, спустя час после кризиса, со смехом рассказывал о пережитых им страданиях в бреду; несмотря на очень сильную еще слабость, он уже смотрел на едва минувшее глазами здорового человека, сознавал, что это был бред, и воспоминания о нем не вызывали уже в нем страха. Совсем иное то состояние, о котором веду речь я. Я никогда ни на одно мгновение не усомнился в том, что все виденное и испытанное мною в те часы, которые протекли, выражаясь языком докторов, от моей "агонии" и

до "пробуждения" в мертвецкой, были не грезы, но столь же реальная была как и моя теперешняя жизнь и окружающая обстановка. Меня всячески старались сбить с этой уверенности, оспаривали подчас даже и до смешного, но можно ли заставить человека усомниться в том, что для него так же действительно и памятно, как прожитый вчерашний день. Попробуйте уверить его, что он спал вчера весь день и видел сны, когда он отлично знает, что пил чай, обедал, ходил на службу, и видел известных людей.

И заметьте, что я здесь не представляю исключения. Перечитайте или послушайте повествования о таких случаях, и вы увидите, что подобные откровения загробного мира имели иногда, очевидно, чисто личную цель, и в таких случаях лицу, получившему их, запрещалось рассказывать о виденном (в известной части) другим, и хотя бы это лицо проживало после того десятки лет, какой бы это ни был легкомысленный, слабохарактерный человек, ни ради чего, ни даже самым близким и дорогим людям он не открывал вверенной ему тайны. Из этого ясно, насколько свято было полученное для него приказание, и что оно во всю жизнь, стало быть, сохраняло характер несомненной действительности, а не продукт его расстроенного воображения. Известно также, что после подобных случаев отъявленные атеисты становились и оставались на всю последующую жизнь глубоко верующими людьми.

Что же это за странность, что за исключительность такая? Каким образом вполне здоровый человек, каким, например, я знаю себя, может, вопреки общему закону для подобных вещей, во всю жизнь оставаться под воздействием какого-то кошмара, галлюцинаций, и даже больше того: как что-либо

подобное может изменить его самого, его мирозерцание, когда и житейский опыт, и самые ошеломительные катастрофы, в этой нашей *действительной* жизни сплошь да рядом являются бессильными произвести подобную перемену в человеке?

Очевидно, тут дело не в летаргии или галлюцинациях, а в действительно пережитом и испытанном. И принимая во внимание общую склонность людей к забвению, вследствие чего сложилась и фраза: "время исцеляет все", всякие потери, пережитые катастрофы, сердечные раны, — не доказывает ли такая необычайная, исключительная памятьливость, что переживший подобное происшествие человек действительно переступил через ту грозную для нас и величайшего значения грань, за которой времени и забвения уже не будет и которую мы называем смертью?

31

Нужно ли здесь повторять и все другие необычайности бывшего со мною происшествия? Куда, в самом деле, девался мой отек — и отек, как должно думать, очень значительный, если у меня сразу так понизилась температура и он так залил мои легкие, что я ничего не мог выхаркать, несмотря на все способствовавшие тому средства, хотя и грудь моя была переполнена мокротой? Как разошелся, во что всосался он, когда и кровь у меня застыла? Каким образом могли так правильно и сильно заработать мои отекавшие легкие и сердце, если отек оставался у меня до пробуждения? Очень мудрено при наличности таких условий верить, чтобы я мог очнуться и остаться живым, не чудом, а естественным путем. Не очень-то

часто выпутывается больной из отека легких, даже и при более благоприятной обстановке. А тут, нечего сказать, хороша обстановка: медицинская помощь оставлена, самого обмыли, нарядили и вынесли в нетопленную мертвецкую! И потом, что же это за непостижимое явление? Я видел и слышал не какие-нибудь создания моей фантазии, а что действительно происходило в палате, и отлично понимал все это, стало быть я не бредил вообще и был вообще в полном сознании, и в то же время, имея умственные способности в порядке, я вижу, чувствую и сознаю себя раздвоившимся, — вижу лежащее на койке свое бездыханное тело, и вижу и сознаю, помимо этого тела, другого себя, и сознаю странность этого обстоятельства, и понимаю все особенности новой формы моего бытия. Потом я вдруг перестаю видеть, что происходит в палате. Почему же? Потому ли, что умственная деятельность моя погружается в настоящую нирвану, что я окончательно теряю сознание? Нет, я продолжаю видеть, и сознавать окружающее меня и не вижу происходящего в палате только потому, что я *отсутствую*, а как возвращусь, я снова по-прежнему буду видеть и слышать все, *но уже не в палате, а в мертвецкой*, в которой я при жизни никогда не был. Но кто же это мог отсутствовать, если в человеке нет, как самостоятельного существа, души? Как могла отделиться совершенно душа от тела, если здесь не произошло того, что на нашем языке называется смертью? Да и какая охота была мне, в наш век неверия и отрицания всего сверхчувственного, говорить о таком невероятном факте и доказывать его истинность, если бы все не произошло и не было бы для меня так явственно, осязательно и несомненно? Это естественная потребность человека, не верующего толь-

ко, но уверенного в истинности православного учения о смерти, исповедь человека, чудесным образом излеченного от бессмысленного, грозного и слишком распространенного в наше лукавое время недуга неверия в загробную жизнь.

32

Сказал Господь устами праведного Авраама в притче о богатом и Лазаре: "если Моисея и пророков не слушают, то, если бы кто и из мертвых воскрес, — не поверят". Пусть читатели вдумаются в этот рассказ, и они убедятся, как верны и непреложны эти слова Господни и в наше время. Люди, не слушающие, не исполняющие животворящих заповедей Господних, в священных книгах пророками и Апостолами записанных, делаются неспособными верить и тому, что поведаёт человек, действительно из мертвых воскресший. Таково сердце человеческое, грехом омраченное: имея уши — человек не слышит!

В. О. Ключевский

ЗНАЧЕНИЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ ДЛЯ РУССКОГО НАРОДА И ГОСУДАРСТВА

Когда вместе с разнообразной, набожно крестьящейся народной волной вступаешь в ворота Сергиевой Лавры, иногда думаешь: почему в этой обители нет и не было особого наблюдателя, подобного древнерусскому летописцу, который спокойным неизменным взглядом наблюдал и ровной бесстрастной рукой записывал, "еже содеяся в Русской земле", и делал это одинаково из года в год, из века в век, как будто это был один и тот же человек, не умиравший целые столетия? Такой бессменный и не умирающий наблюдатель рассказал бы, какие люди приходили в течение 500 лет поклониться гробу Преподобного Сергия и с какими помыслами и чувствами возвращались отсюда во все концы Русской земли. Между прочим он объяснил бы нам, как это случилось, что состав общества, непрерывною волной притекавшего ко гробу Преподобного, в течение пяти веков оставался неизменным. Еще при жизни

Речь на собрании Московской Духовной Академии в память преп. Сергия. Напечатана впервые в *Богословском Вестнике*. 1892 г., XI.

Преподобного, как рассказывает его жизнеописатель-современник, многое множество приходило к нему из различных стран и городов, и в числе приходивших были и иноки, и князья, и вельможи, и простые люди "на селе живущие". И в наши дни люди всех классов русского общества притекают ко гробу Преподобного со своими думами, мольбами и упованиями, — государственные деятели приходят в трудные переломы народной жизни, простые люди — в печальные или радостные минуты своего частного существования. И этот приток не изменялся в течение веков, несмотря на неоднократные и глубокие перемены в строе и настроении русского общества: старые понятия иссякали, новые пробивались или наплывали, а чувства и верования, которые влекли сюда людей со всех концов Русской земли, бьют до сих пор тем же свежим ключом, как били в XIV веке. Если бы возможно было воспроизвести писанием все, что соединилось с памятью Преподобного, что в эти 500 лет было молчаливо передумано и перечувствовано пред его гробом миллионами умов и сердец, это писание было бы полной глубокого содержания историей нашей всенародной политической и нравственной жизни.

Впрочем, если Преп. Сергей доселе остается для приходящих к нему тем же, чем был для них при своей жизни, то и теперь на их лицах можно прочесть то же, что прочитал бы монастырский наблюдатель на лицах своих современников 400 или 500 лет назад. Достаточно взглянуть на первые встречные лица из многого множества, в эти дни здесь теснящегося, чтобы понять, во имя чего поднялись с своих мест эти десятки тысяч, а сотни других мысленно следовали за ними. Да и каждый из нас в своей собственной душе найдет то же общее чувство, стоя

у гробницы Преподобного. У этого чувства уже нет истории, как для того, кто покоится в этой гробнице, давно остановилось движение времени. Это чувство вот уже пять столетий одинаково загорается в душе молящегося у этой гробницы, как солнечный луч в продолжение тысячелетий одинаково светится в капле чистой воды. Спросите любого из этих простых людей, с посохом и котомкой пришедших сюда издалека: когда жил Преподобный Сергей и что сделал для Руси XIV века, чем он был для своего времени? и редкий из них даст вам удовлетворительный ответ; но на вопрос, что он есть для них, далеких потомков людей XIV века, и зачем они теперь пришли к нему, каждый ответит твердо и вразумительно.

Есть имена, которые носили исторические люди, жившие в известное время, делавшие исторически-известное жизненное дело, но имена, которые уже утратили хронологическое значение, выступили из границ времени, когда жили их носители. Это потому, что дело, сделанное таким человеком, по своему значению так далеко выходило за пределы своего века, своим благотворным действием так глубоко захватило жизнь дальнейших поколений, что с лица, его сделавшего, в сознании этих поколений постепенно спадало все временное и местное, и оно из исторического деятеля превратилось в народную идею, а самое дело его из исторического факта стало практической заповедью, заветом, тем, что мы привыкли называть идеалом. Такие люди становятся для грядущих поколений не просто великими покойниками, а вечными их спутниками, даже путеводителями, и целые века благоговейно твердят их дорогие имена не столько для того, чтобы благодарно почтить их память, сколько для того, чтобы самим не забыть пра-

вила, ими завещанного. Таково имя Преподобного Сергия: это не только назидательная, отрадная страница нашей истории, но и светлая черта нашего нравственного народного содержания.

Какой подвиг так освятил это имя? Надобно припомнить время, когда подвизался Преподобный. Он родился, когда вымирали последние старики, увидевшие свет около времени татарского разгрома Русской земли и когда уже трудно было найти людей, которые бы этот разгром помнили. Но во всех русских нервах еще до боли живо было впечатление ужаса, произведенного этим всенародным бедствием и постоянно подновлявшегося многократными местными нашествиями татар. Это было одно из тех народных бедствий, которые приносят не только материальное, но и нравственное разорение, надолго повергая народ в мертвенное оцепенение. Люди беспомощно опускали руки, умы теряли всякую бодрость и упругость и безнадежно отдавались своему прискорбному положению, не находя и не ища никакого выхода. Что еще хуже, ужасом отцов, переживших бурю, заражались дети, родившиеся после нее. Мать пугала непокойного ребенка лихим татаринном; услышав это злое слово, взрослые растерянно бросались бежать, сами не зная куда. Внешняя случайная беда грозила превратиться во внутренний хронический недуг; панический ужас одного поколения мог развиться в народную робость, в черту национального характера, и в истории человечества могла бы прибавиться лишняя темная страница, повествующая о том, как нападение азиатского монгола повело к падению великого европейского народа.

Могла ли однако прибавиться такая страница? Одним из отличительных признаков великого народа

служит его способность подниматься на ноги после падения. Как бы ни было тяжело его унижение, но пробьет урочный час, он соберет свои растерянные нравственные силы и воплотит их в одном великом человеке или в нескольких великих людях, которые и выведут его на покинутую им временно прямую историческую дорогу.

Русские люди, сражавшиеся и уцелевшие в бою на Сыти, сошли в могилу со своими сверстниками, безнадежно оглядываясь вокруг, не займется ли где заря освобождения. За ними последовали их дети, тревожно наблюдавшие, как многочисленные русские князья холопствовали перед татарами и дрались друг с другом. Но подросли внуки, сверстники Ивана Калиты, и стали присматриваться и прислушиваться к необычным делам в Русской земле. В то время, как все русские окраины страдали от внешних врагов, маленькое срединное Московское княжество оставалось безопасным, и со всех краев Русской земли потянулись туда бояре и простые люди. В то же время московские князьки, братья Юрий и этот самый Иван Калита, смело, без оглядки и раздумья, пуская против врагов все доступные средства, ставя в игру все, что могли поставить, вступили в борьбу со старшими и сильнейшими князьями за первенство, за старшее Владимирское княжение, и при содействии самой Орды отбили его у соперников. Тогда же устроилось так, что и русский митрополит, живший во Владимире, стал жить в Москве, придав этому городку значение церковной столицы Русской земли. И как только случилось все это, все почувствовали, что татарские опустошения прекратились и наступила давно не испытанная тишина в Русской земле. По смерти Калиты Русь долго вспоминала его

княжение, когда ей впервые в сто лет рабства удалось вздохнуть свободно, и любила украшать память этого князя благодарной легендой.

Так к половине XIV в. подросло поколение, выросшее под впечатлением этой тишины, начавшее отвыкать от страха ордынского, от нервной дрожи отцов при мысли о татарине. Недаром представителю этого поколения, сыну великого князя Ивана Калиты, Симеону, современники дали прозвание Гордого. Это поколение и почувствовало ободрение, что скоро забрезжит свет. В это именно время, в начале сороковых годов XIV в., совершились три знаменательные события: из московского Богоявленского монастыря вызван был на церковно-административное поприще скрывавшийся там скромный 40-летний инок Алексей; тогда же один 20-летний искатель пустыни, будущий Преподобный Сергей, в дремучем лесу — вот на этом самом месте — поставил маленькую деревянную келию с такой же церковью, а в Устюге у бедного соборного причетника родился сын, будущий просветитель Пермской земли св. Стефан. Ни одного из этих имен нельзя произнести, не вспомнив двух остальных. Эта присноблаженная троица ярким созвездием блещет в нашем XIV веке, делая его зарей политического и нравственного возрождения Русской земли. Тесная дружба и взаимное уважение соединяли их друг с другом. Митрополит Алексей навещал Сергия в его обители и советовался с ним, желал иметь его своим преемником. Припомним душевный рассказ в житии Преподобного Сергия о проезде св. Стефана Пермского мимо Сергиева монастыря, когда оба друга на расстоянии 10 слишком верст обменялись братскими поклонами.

Все три св. мужа, подвизаясь каждый на своем

поприще, делали одно общее дело, которое прости-
ралось далеко за пределы церковной жизни и широко захватывало политическое положение всего на-
рода. Это дело — укрепление Русского государства, над созиданием которого по-своему трудились мо-
сковские князья XIV в. Это дело было исполнением завета, данного русской церковной иерархии вели-
чайшим святителем древней Руси митрополитом Пе-
тром. Еще в мрачное время татарского ига, когда ни-
откуда не проступал луч надежды, он, по преданию,
пророчески благословил бедный тогда городок Мос-
кву как будущую церковную и государственную
столицу Русской земли. Духовными силами трех на-
ших св. мужей XIV в., воспринявших этот завет свя-
тителя, Русская земля и пришла поработать над пред-
возвещенной судьбой этого города. Ни один из них
не был коренным москвичом. Но в их лице сошлись
для общего дела три основные части Русской земли:
Алексий, сын черниговского боярина-переселенца,
представлял старый киевский юг, Стефан — новый
финско-русский север, а Сергей, сын ростовского
боярина-переселенца, великорусскую средину. Они
приложили к делу могущественные духовные силы.
Это были образованнейшие русские люди своего ве-
ка; о них древние жизнеописатели замечают, что
один "всю грамоту добре умея", другой "всяко пи-
сание ветхого и нового завета пройде", третий даже
"книги греческие извыче добре". Потому ведь и уда-
лось московским князьям так успешно собрать в
своих руках материальные, политические силы рус-
ского народа, что им дружно содействовали добро-
вольно соединившиеся духовные его силы.

Но в общем деле каждый из трех деятелей делал
свою особую часть. Они не составляли общего пла-

на действий, не распределяли между собой призваний и подвигов и не могли этого сделать, потому что были люди разных поколений. Они хотели работать над самими собой, делать дело собственного душевного спасения. Деятельность каждого текла своим особым руслом, но текла в одну сторону с двумя другими, направляемая таинственными историческими силами, в видимой работе которых верующий ум прозревает миродержавную десницу Провидения. Личный долг каждого своим путем вел всех троих к одной общей цели.

Происходя из родовитого боярства, искони привыкшего делить с князьями труды обороны и управления страны, митрополит Алексей шел боевым политическим путем, был преемственно главным советником трех великих князей московских, руководил их боярской думой, ездил в Орду ублажать ханов, отмаливая их от злых замыслов против Руси, воинствовал с недругами Москвы всеми средствами своего сана, карал церковным отлучением русских князей, непослушных московскому государю, подерживая его первенство, с неослабной энергией отстаивая значение Москвы, как единственного церковного средоточия всей политически разбитой Русской земли.

Уроженец г. Устюга, в краю которого новгородская и ростовская колонизация, сливаясь и вовлекая в свой поток туземную Чудь, создавала из нее новую Русь, св. Стефан пошел с христианской проповедью в Пермскую землю продолжать это дело обрусения и просвещения заволжских инородцев.

Так церковная иерархия благословила своим починком две народные цели, достижение которых послужило основанием самостоятельного политического

существования нашего народа: это — сосредоточение династически раздробленной государственной власти в московском княжеском доме и приобщение восточноевропейских и азиатских инородцев к Русской Церкви и народности посредством христианской проповеди.

Но чтобы сбросить варварское иго, построить прочное независимое государство и ввести инородцев в ограду христианской Церкви, для этого самому русскому обществу должно было стать в уровень столь высоких задач, приподнять и укрепить свои нравственные силы, приниженные вековым порабощением и унынием. Этому третьему делу, нравственному воспитанию народа, и посвятил свою жизнь Преподобный Сергей. То была внутренняя миссия, долженствовавшая служить подготовкой и обеспечением успехов миссии внешней, начатой пермским просветителем. Преподобный Сергей и вышел на свое дело значительно раньше св. Стефана. Разумеется, он мог применять к делу средства нравственной дисциплины, ему доступные и понятные тому веку, а в числе таких средств самым сильным был живой пример, наглядное осуществление нравственного правила. Он начал с самого себя и продолжительным уединением, исполненным трудов и лишений среди дремучего леса, приготовился быть руководителем других пустынножителей. Жизнеописатель, сам живший в братстве, воспитанном Сергием, живыми чертами описывает, как оно воспитывалось, с какой постепенностью и любовью к человеку, с каким терпением и знанием души человеческой. Мы все читали и перечитывали эти страницы древнего жития, повествующие о том, как Сергей, начав править собиравшейся к нему братией, был для нее поваром, пека-

рем, мельником, дровоколом, портным, плотником, каким угодно трудником, служил ей, как раб купленный, по выражению жития, ни на один час не складывал рук для отдыха; как потом, став настоятелем обители и продолжая ту же черную хозяйственную работу, он принимал искавших у него пострижения, не спускал глаз с каждого новика, возводя его со степени на степень иноческого искусства, указывал дело всякому по силам, ночью, дозором ходил мимо келий, легким стуком в дверь или окно напоминал празднословившим, что у монаха есть лучшие способы проводить досужее время, а поутру осторожными намеками, не обличая прямо, не заставляя краснеть, "тихой и кроткой речью" вызывал в них раскаяние без досады.

Читая эти рассказы, видишь пред собою практическую школу благонравия, в которой сверх религиозно-иноческого воспитания главными житейскими науками были уметь отдавать всего себя на общее дело, навык к усиленному труду и привычка к строгому порядку в занятиях, помыслах и чувствах. Наставник вел ежедневную дробную терпеливую работу над каждым отдельным братом, над отдельными особенностями каждого брата, приспособляя их к целям всего братства. По последующей самостоятельной деятельности учеников Преподобного Сергия видно, что под его воспитательным руководством лица не обезличивались, личные свойства не стирались, каждый оставался сам собой и, становясь на свое место, входил в состав сложного и стройного целого, как в мозаической иконе различные по величине и цвету камешки укладываются под рукой мастера в гармоническое выразительное изображение. Наблюдение и любовь к людям дали уметь тихо и кротко

настраивать душу человека и извлекать из нее, как из хорошего инструмента, лучшие ее чувства, — то уменье, перед которым не устоял самый упрямый русский человек XIV века, кн. Олег Иванович рязанский, когда по просьбе великого князя московского Дмитрия Ивановича, как рассказывает летописец, "старец чудный" отговорил "суровейшего" рязанца от войны с Москвой, умилив его тихими и кроткими речами и благоуветливыми глаголами.

Так воспиталось дружное братство, производившее по современным свидетельствам глубокое назидательное впечатление на мирян. Мир приходил к монастырю с пытливым взглядом, каким он привык смотреть на монашество, и если его не встречали здесь словами *прииди и виждь*, то потому, что такой зазыв был противен Сергиевой дисциплине. Мир смотрел на чин жизни в монастыре Преподобного Сергия, и то, что он видел, быт и обстановка пустынного братства поучали его самым простым правилам, которыми крепко людское христианское общежитие... В монастыре все было бедно и скудно, или, как выразился разочарованно один мужичок, пришедший в обитель Преподобного Сергия повидать прославленного величественного игумена, "все худостно, все нищетно, все сиротинско"; в самой ограде монастыря первобытный лес шумел над кельями и осенью обсыпал их кровли палыми листьями и иглами; вокруг церкви торчали свежие пни и валялись неубранные стволы срубленных деревьев; в деревянной церковке за недостатком свеч пахло лучиной; в обиходе братии столько же недостатков, сколько заплат на сермяжной ряске игумена; чего ни хватись, всего нет, по выражению жизнеописателя: случилось, вся братия по целым дням сидела

чуть не без куска хлеба. Но все дружны между собою и приветливы к пришельцам, во всем следы порядка и размышления, каждый делает свое дело, каждый работает с молитвой и все молятся после работы; во всех чуялся скрытый огонь, который без искр и вспышек обнаруживался живительной теплотой, обдававшей всякого, кто вступал в эту атмосферу труда, мысли и молитвы.

Мир видел все это и уходил ободренный и освеженный, подобно тому, как мутная волна, прибывая к прибрежной скале, отлагает от себя примесь, захваченную в неопрятном месте, и бежит далее светлой и прозрачной струей. Надобно припомнить людей XIV века, их быт и обстановку, запас их умственных и нравственных средств, чтобы понять впечатлительность этого зрелища на набожных наблюдателей. Нам, страдающим избытком нравственных возбуждений и недостатком нравственной восприимчивости, трудно уже воспроизвести слагавшееся из этих наблюдений настроение нравственной сосредоточенности и общественного братства, какое разносили по своим углам из этой пустыни побывавшие в ней люди XIV века. Таких людей была капля в море православного русского населения. Но ведь и в тесто немного нужно вещества, вызывающего в нем живительное брожение. Нравственное влияние действует не механически, а органически. На это указал Сам Христос, сказав: *Царство Божие подобно закваске*. Украдкой западая в массы, это влияние вызывало брожение и незаметно изменяло направление умов, перестраивало весь нравственный строй души русского человека XIV века. От вековых бедствий этот человек так оскудел нравственно, что не мог не замечать в своей жизни недостатка этих первых основ христи-

анского общежития, но еще не настолько очерствел от этой скудости, чтобы не чувствовать потребности в них.

Пробуждение этой потребности и было началом нравственного, а потом и политического возрождения Русского народа. Пятьдесят лет делал свое тихое дело Преподобный Сергей в Радонежской пустыне: целые полвека приходившие к нему люди вместе с водой из его источника черпали в его пустыне утешение и ободрение и, воротясь в свой круг, по каплям делились им с другими. Никто тогда не считал гостей пустытника и тех, кого они делали причастниками приносимой ими благодатной росы, — никто не думал считать этого, как человек, пробуждающийся с ощущением здоровья, не думает о своем пульсе. Но к концу жизни Сергия едва ли вырывался из какой-либо православной груди на Руси скорбный вздох, который бы не облегчался молитвенным призывом имени св. старца. Этими каплями нравственного влияния и выращены были два факта, которые легли среди других основ нашего государственного и общественного здания и которые оба связаны с именем Преподобного Сергия. Один из этих фактов — великое событие, совершившееся при жизни Сергия, а другой — целый сложный и продолжительный исторический процесс, только начавшийся при его жизни.

Событие состояло в том, что народ, привыкший дрожать при одном имени татарина, собрался наконец с духом, встал на поработителей и не только нашел в себе мужество встать, но и пошел искать татарских полчищ в открытой степи и там повалился на врагов несокрушимой стеной, похоронив их под своими многотысячными костями. Как могло это случиться? Откуда взялись, как воспитались люди,

отважившиеся на такое дело, о котором боялись и подумать их деды? Глаз исторического знания уже не в состоянии разглядеть хода этой подготовки великих борцов 1380 года; знаем только, что Преподобный Сергей благословил на этот подвиг главного вождя русского ополчения, сказав: "иди на безбожников смело, без колебания, и победишь" — и этот молодой вождь был человек поколения, возмужавшего на глазах Преподобного Сергея и вместе с князем Дмитрием Донским бившегося на Куликовом поле.

Чувство нравственной бодрости, духовной крепости, которое Преп. Сергей вдохнул в русское общество, еще живее и полнее воспринималось русским монашеством. В жизни русских монастырей со времени Сергея начался замечательный перелом: заметно оживилось стремление к иночеству. В бедственный первый век ига это стремление было очень слабо: в сто лет 1240—1340 гг. возникло всего каких-нибудь десятка три новых монастырей. Зато в следующее столетие 1340—1440 гг., когда Русь начала отдыхать от внешних бедствий и приходить в себя, из куликовского поколения и его ближайших потомков вышли основатели до 150 новых монастырей. Таким образом древнерусское монашество было точным показателем нравственного состояния своего мирского общества; стремление покинуть мир усиливалось не оттого, что в миру скоплялись бедствия, а по мере того, как в нем возвышались нравственные силы. Это значит, что русское монашество было отречением от мира во имя идеалов, ему непосильных, а не отрицанием мира во имя начал, ему враждебных. Впрочем, исторические факты здесь говорят не более того,

что подсказывает самая идея православного иночества.

Эта связь русского монастыря с миром обнаружилась и в другом признаке перелома, в перемене самого направления монастырской жизни со времени Преп. Сергия. До половины XIV в. почти все монастыри на Руси возникали в городах или под их стенами; с этого времени решительный численный перевес получают монастыри, возникавшие вдаль от городов, в лесной глухой пустыне, ждавшей топора и сохи. Так к основной цели монашества, к борьбе с недостатками духовной природы человека, присоединилась новая борьба с неудобствами внешней природы; лучше сказать, эта вторая цель стала новым средством для достижения первой.

Преподобный Сергий со своею обителью и своими учениками был образцом и начинателем в этом оживлении монастырской жизни, "начальником и учителем всем монастырем, иже в Руси", как называет его летописец. Колонии Сергиевской обители, монастыри, основанные учениками Преподобного или учениками его учеников, считались десятками, составляли почти четвертую часть всего числа новых монастырей во втором веке татарского ига, и почти все эти колонии были пустынные монастыри подобно своей митрополии. Но, убегая от соблазнов мира, основатели этих монастырей служили его насущным нуждам. До половины XIV в. масса русского населения, сбита врагами в междуречье Оки и верхней Волги, робко жалась здесь по немногим расчищенным среди леса и болот полосам удобной земли. Татары и Литва запирали выход из этого треугольника на запад, юг и юго-восток. Оставался открытым путь на север и северо-восток за Волгу; но то был глухой не-

проходимый край, кой-где занятый дикарями финнами; русскому крестьянину с семьей и бедными пожитками страшно было пуститься в эти бездорожные дебри. "Много было тогда некрещеных людей за Волгой", т. е. мало крещеных, говорит старая летопись одного заволжского монастыря о временах до Сергия. Монах-пустынный и пошел туда смелым разведчиком. Огромное большинство новых монастырей с половины XIV до конца XV века возникло среди лесов костромского, ярославского и вологодского Заволжья: этот волжско-двинский водораздел стал северной Фиваидой православного Востока. Старинные памятники истории Русской Церкви рассказывают, сколько силы духа проявлено было русским монашеством в этом мирном завоевании финского языческого Заволжья для христианской Церкви и русской народности. Многочисленные лесные монастыри становились здесь опорными пунктами крестьянской колонизации: монастырь служил для переселенца-хлебопашца и хозяйственным руководителем, и ссудной кассой, и приходской церковью, и наконец приютом под старость. Вокруг монастырей оседало бродячее население, как корнями деревьев сцепляется зыбучая песчаная почва. Ради спасения души монах бежал из мира в заволжский лес, а мирянин цеплялся за него и с его помощью заводил в этом лесу новый русский мир. Так создавалась верхне-волжская Великороссия дружными усилиями монаха и крестьянина, воспитанных духом, какой вдохнул в русское общество Преподобный Сергий.

Напутствуемые благословением старца, шли борцы, одни на юг за Оку на татар, другие на север за Волгу на борьбу с лесом и болотом.

Время давно свеяло эти дела с народной памяти,

как оно же глубоко заметало вековой пылью кости куликовских бойцов. Но память святого пустынножителя доселе парит в народном сознании, как гроб с его нетлеющими останками невредимо стоит на поверхности земли. Чем дорога народу эта память, что она говорит ему, его уму и сердцу? Современным, засохшим в абстракциях и схемах, языком трудно изобразить живые, глубоко сокрытые движения верующей народной души. В эту душу глубоко запало какое-то сильное и светлое впечатление, произведенное когда-то одним человеком и произведенное неуловимыми, бесшумными нравственными средствами, про которые не знаешь, что и рассказать, как не находишь слов для передачи иного светлого и ободряющего, хотя молчаливого взгляда. Виновник впечатления давно ушел, исчезла и обстановка его деятельности, оставив скудные остатки в монастырской ризнице да источник, изведенный его молитвою, а впечатление все живет, переливаясь свежей струей из поколения в поколение, и ни народные бедствия, ни нравственные переломы в обществе доселе не могли сгладить его.

Первое смутное ощущение нравственного мужества, первый проблеск духовного пробуждения — вот в чем состояло это впечатление. Примером своей жизни, высотой своего духа Преподобный Сергий поднял упавший дух родного народа, пробудил в нем доверие к себе, к своим силам, вдохнул веру в свое будущее. Он вышел из нас, был плоть от плоти нашей и кость от костей наших, а поднялся на такую высоту, о которой мы и не чаяли, чтобы она кому-нибудь из наших была доступна. Так думали тогда все на Руси и это мнение разделял православный Восток, подобно тому цареградскому епископу, который, по рас-

сказу Сергиева жизнеописателя, приехав в Москву и слыша всюду толки о великом русском подвижнике, с удивлением восклицал: *како может в сих странах таков светильник явиться?* Преподобный Сергий своей жизнью, самой возможностью такой жизни дал почувствовать заскорбевшему народу, что в нем еще не все доброе погасло и замерло; своим появлением среди соотечественников, сидевших во *тьме и сени смертной*, он открыл им глаза на самих себя, помог им заглянуть в свой собственный внутренний мрак и разглядеть там еще тлевшие искры того же огня, которым горел озаривший их светоч. Русские люди XIV века признали это действие чудом, потому что оживить и привести в движение нравственное чувство народа, поднять его дух выше его привычного уровня — такое проявление духовного влияния всегда признавалось чудесным, творческим актом; таково оно и есть по своему существу и происхождению, потому что его источник — вера. Человек, раз вдохнувший в общество такую веру, давший ему живо ощутить в себе присутствие нравственных сил, которых оно в себе не чаяло, становится для него носителем чудодейственной искры, способной зажечь и вызвать к действию эти силы всегда, когда они понадобятся, когда окажутся недостаточными наличные обиходные средства народной жизни.

Впечатление людей XIV века становилось верованием поколений, за ними следовавших. Отцы передавали воспринятое ими одушевление детям, а они возводили его к тому же источнику, из которого впервые почерпнули его современники. Так духовное влияние Преподобного Сергия пережило его земное бытие и перелилось в его имя, которое из исторического воспоминания сделалось вечно деятельным

нравственным двигателем и вошло в состав духовного богатства народа. Это имя сохраняло силу непосредственного личного впечатления, какое производил Преподобный на современников; эта сила длилась и тогда, когда стало тускнеть историческое воспоминание, заменяясь церковной *памятью*, которая превращала это впечатление в привычное, поднимающее дух настроение. Так теплота ощущается долго после того как погаснет ее источник. Этим настроением народ жил целые века; оно помогало ему строить свою внутреннюю жизнь, сплотить и упрочить государственный порядок. При имени Преподобного Сергия народ вспоминает свое нравственное возрождение, сделавшее возможным и возрождение политическое, и затверживает правило, что политическая крепость прочна только тогда, когда держится на силе нравственной. Это возрождение и это правило — самые драгоценные вклады Преподобного Сергия, не архивные или теоретические, а положенные в живую душу народа, в его нравственное содержание.

Нравственное богатство народа наглядно исчисляется памятниками деяний на общее благо, памятью деятелей, внесших наибольшее количество добра в свое общество. С этими памятниками и памятьми срастается нравственное чувство народа; они — его питательная почва; в них его корни; оторвите его от них — оно завянет, как скошенная трава. Они питают не народное самомнение, а мысль об ответственности потомков перед великими предками, ибо нравственное чувство есть чувство долга. Творя память Преподобного Сергия, мы проверяем самих себя, пересматриваем свой нравственный запас, завещанный нам великими строителями нашего нравственного порядка, обновляем его, пополняя произведен-

ные в нем траты. Ворота Лавры Преподобного Сергия затворятся и лампы погаснут над его гробницей — только тогда, когда мы растратим этот запас без остатка, не пополняя его.

У ПРЕПОДОБНОГО ИГУМЕНА
ОБИТЕЛИ ЗЕМЛИ РУССКОЙ

*„Иже добродетелей подвижник,
яко истинный воин Христа Бога”.
(Тропарь Преп. Сергию, глас 4)*

Приехав в Загорск еще затемно, я поспешал в Лавру к началу Братского молебна в соборе Живоначальных и Пресвятыя Троицы. Был тот особенно томительный час перехода долгой зимней ночи к утру, когда кажется, что никогда не рассветет. Фонари горели еще по-ночному. Вот и Лавра: удлинненные, светлого камня плиты под ногой, отвесная, как скала, стена Надвратной церкви. Справа пошли грандиозные очертания Успенского собора, слева — продолговатая громада Трапезного и, как всегда, почти неожиданно предстал взору Троицкий, небольшой и монументальный, напоминающий воинский шлем, поставленный на землю. Мне всегда кажется, что ощущение замкнутости и силы исходит от него, замкнутости наверное потому, что он почти без окон. Это храм-иннок. Вот и дверь, ведущая через придел в храм, уже заполненный молящимися. Стоят монахи, учащиеся академии, семинарии... Идет Братский молебен. Мягкий, золотисто-коричневый — от цвета настенных фресок и посвечивающего во всю стену иконостаса — полумрак. Дневной свет проникает сюда позже, сверху, из купольной чаши, как в глубокий колодец. За богатырской колонной, поддерживающей полхрама, невидная от входа, слабо мерцающая в

разноцветных огоньках висячих ладонок, серебряная рака с чудотворными мощами Преподобного Сергия. Она, как средоточие возносимых молитв, обращена в вечность... Звучат мужские голоса: рокочущий гул низких, рассветные ноты высоких. Колеблется золотой рой горящих свечей. Как сурово и отрешенно душе сейчас.

Стоя в молитвенной тишине Сергиева дома, начинаешь ощущать вместилище храма как некоторое внутреннее око его. Целый день вбирая в себя порывы и благоговейный трепет верующих сердец, медленно опустевая к вечеру, и, наконец, оставшись один, он, храм, продолжает жить до утра своей неопостижимой жизнью. Сколько здесь надышано русским человеком, кого только ни видели эти стены, вся Россия побывала тут. Шестьсот сорок лет тому назад, внимая голосу своего призвания, — гласу Божию, безвестный юноша, молитвенный светильник, ушел от мира в непроходимую лесную глушь бывшую на этом самом месте, где только дикий зверь мог сыскать его. Мог ли он думать, что положил начало освоению края и движению земледельца на север, что мир буквально обступит его со всех сторон и столетиями будет не закрываться дверь в его храм, что вырастет здесь новый, чудный Китеж-град, нынешняя Лавра, и никогда не оскудеет здесь монашество и благочестие. С малого начал он в срубленной своими руками деревянной церкви, названной в честь Святой Троицы, не по своей воле стал потом управителем корабля душевного притекших к нему братьев, а кончил земную жизнь, создав иночество и десятки монастырей "подобно звездам зажженных от обители Радонежской", основанных его учениками и учениками его учеников. Великий печальник земли русской, он

иссушил и утончил свою плоть, взыскуя, по слову Епифана Премудрого, "горняго града и вышняго Иерусалима", он превратился в молитву о нас.

И мы вседневно вверяем ему себя: "Радуйся, Сергие, скорый помощниче и преславный чудотворче!"

"Радуйся, трикратным твоим во чреве возглашением родителей и всех слышащих удививый... Радуйся, от сосца матери воздержание чудное в среду и пяток явивый... Радуйся, еще в жизни сподобившийся видети Пресвятую Богородицу со двема Апостолома. Радуйся, удостоивыйся во время совершения Литургии сослужения ангельского. Радуйся, во святую Литургию, в благодати Божией, весь аки во огни стоящий. Радуйся, оным Божественным огнем, в потир вшедшим, причастивыйся. Радуйся, достоин бывый Ангельского собеседования... Видящи вся Россия и иныя страны, данною тебе, преподобне отче Сергие, благодатию Божиею... Радуйся, радости скорбящим и милости с верою у тебя просящим подателю. Радуйся, печалей злых во всяких приключениях отгонителю... Радуйся, хромым хождение и слепым прозрение подаваяй. Радуйся, грозд винный, питающий нас и веселящий... Радуйся, образе истиннаго смирения. Радуйся, зеркало совершеннаго терпения... Радуйся, вся мира сего красная, яко скоро исчезающая, незревший... Радуйся, истребивший страстей мглу душевредную... Радуйся, от юности на тело свое, на мир сей и диавола вооруживыйся...

О чудотворче преславный и заступниче всем нам во всяких бедах и скорбех скорый и пречудный, богомудре Отче Сергие! Нынешнее наше приими приношение, и богоприятным твоим ходатайством умоли Господа сил, силу свыше православным на сопротивныя подати, и нам всем Того благодатию очистив-

шимся от геенны избавитися, и грядущая в небесах благая улучити вопиющим Ему: Аллилуия!”

Настоявшись, хорошо присесть на массивную дубовую скамью у стены притвора. Здесь можно развязать и свою нехитрую котомку с ”сухим пайком”, и перекинуться словом с соседом-паломником. Незаметно, особенно для приезжих и говеющих, проходят здесь часы и дни. Я видел, как на этой скамье делятся и куском черного хлеба и бесценными крупицами хлеба духовного. Доподлинное и пережитое, соприкасаясь с мучительной жаждой нравственного обновления, с чистотой и наивностью — этими перевозданными чертами души народной — порождают самую атмосферу Троицкого собора и Лавры, их неповторимую и своеобразную действительность. Случаи из жизни, истории, притчи, которые здесь можно услышать, ждут своего собирателя, летописца и, думается, поэта — поэта, когда житейские рамки становятся слишком узкими и душными для жизни, для веющего всюду Духа. Горе одного человека и вселенская боль прелагаются обнаженной совестью христианина в чувство своего недостойнства, своей вины перед Богом, перед ближним. И чего только ни открывается тогда душе, и пронзается она и уязвлена бывает до последних оснований великой скорбью своей юдоли, и восхищена в мир иной чудным и непостижимым прикосновением к ней благодати, и неизъяснимые слезы текут из глаз и за одно такое мгновение, за одну такую слезу можно, не раздумывая, пожертвовать всей своей жизнью.

Некоторые приезжают в Лавру и не могут из нее уйти, другие не могут... войти в Лавру: еще по дороге, в поезде, болезнь подымается в душе и восстает в ней вся нечисть и трепещет за себя и запугивает!

Я снова встретил здесь одного своего старого знакомого и вспомнил его давний рассказ о себе: "Я приехал в Лавру, глубоко больной душой и телом. Я помню, впечатления мои были такими большими и ядовитыми, и захлестнули мне сердце с такою силой! Раздавленный грузом непоправимых, как мне тогда казалось, ошибок, с прижившимся в душе отчаянием я шел навстречу своей гибели. И вот здесь, в Троицком, подле Преподобного Сергия, началось мое долгое, никому не ведомое и явное выздоровление. Здесь, в тихой молитве, избыл я всю свою боль, здесь обрел утешение душевное и получил благодатную помощь духовную".

Прекрасны в лунную ночь и при ярком свете дня памятники древнего зодчества. Известны десятки описаний Лавры и Троицкого собора и лучше их, пожалуй, уже не опишешь. Неповторимы дела рук прославленных и безымянных иконописцев и мастеров-умельцев. Чем жили они и дышали, что вложили в эти вытканые ими из дерева, железа и камня кружева? Любуясь Лаврой, вспоминаешь слова Достоевского о храме в косых лучах заходящего солнца, которое как мысль Божия, а храм как мысль человеческая... История здесь оживает, идут монахи и, закрыв глаза, мне кажется, я слышу доносящийся сюда из дальнего далека, с поля Куликова, нестройный гул передвиженья невероятных людских масс. Войско, чуть ли не равное Наполеонову, привел Мамай в русские пределы. Историк говорит, что смятение охватило князей наших, увидевших терявшиеся в утреннем тумане тьмы татарских полчищ. Земля дышала и ходила ходуном от топота татарской конницы, пыль закрыла небо. И только непреклонная, непоколебимая уверенность в победе святого старца

Сергия, передавшаяся и дружинам и великому князю Дмитрию Ивановичу, поддержала их в этом великом смятении. Все знают, что было потом. И знакомый мой и поле Куликово пришли на память сейчас, ибо Преподобный и богоносный отец наш Сергей, игумен Радонежский и чудотворец всея России, приходит на помощь одному человеку и целому народу, вчера и сегодня.

Если Лавра — сердце русского православия, то Троицкий собор, конечно, сердце Лавры. Никогда не гаснет лампада Сергия, и каждое утро, после Братского молебна, от нее возжигают очаги здешних трапезных, а елеем Сергиева светильника освящают масло для лампад, которые потом загораются.

Совсем особое место в рассказах о преподобном Сергии занимают его доброта и милость. Один из недавних высоких гостей Лавры, человек-камень, никогда, по его признанию, не плакавший, заплакал как дитя, приблизившись к Сергию: "Он растопил мое ледяное сердце!". Из дальних краев приехал в Лавру юноша. С великой завистью глядел он на молодого священника, служившего у серебряного ковчега раки Преподобного, и воззвал к нему из глубины сердечной: "О, сделай, Отче, чтобы я когда-нибудь служил вблизи тебя". — Прошло несколько лет, — рассказывает он, — и вот недавно, после рукоположения в иереи, я только поднялся на ступеньку раки для начала молебна, как вспомнил о своей вожденной мечте, ставшей в эту минуту явью.

А вот и нечто вроде легенды, с той лишь разницей, что рассказчица уверена, что все это было с нею в действительности. Пришла как-то сюда одна старушка, принесла холстинковую накидку (сама ткала), и протягивает ее послушнику — в дар, значит,

преподобному. А послушник будто не взял: и так, мол, отбою нет от шерстяных и шелковых! Пошла старая, идет и плачет. А навстречу ей монах, да чудной какой-то, лица не видать... — Давай, — говорит, — передам. Отдала, да обернулась невзначай, а кругом — никого! Ладно. К празднику пришла на службу, как всегда, приложиться к дорогим мощам: сначала к изножию, а потом и к изголовью, и видит — на лице у Сергия — ее накидочка. Смешной и наивной покажется иным эта присказка, а мне тут чудится чистое золото простой души.

О женщинах можно рассказывать бесконечно. О, чуткое сердце матери, жены, сестры? Здесь, в Лавре, глядя на непросыхающие глаза иной Евдокии или Настасьи, можно принять ее за великую грешницу, какой она себя, разумеется, и считает. Покаяние, то сосредоточенно-углубленное, сокрытое и неизбежное, то детски-простодушное, написанное на лице, в очах, сверкающих искренней слезой, — как много оно может! И ведь никаких таких страшных грехов нет у нее на совести, но одно жесткое слово, одно незаконное движение души, обида, нанесенная матери быть может в далеком детстве, обманутые надежды дорогого человека — все это, ожившее нынче, сжимает ей сердце и сокрушает его, и по щекам ее текут горячие слезы, спасительные слезы. И обо мне она плачет, и о тебе, все пронизающий, насмешливый человек, и весь мир она просит простить ее. Поистине,

„Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить...”

А какие лица здесь можно иногда увидеть. Шла последняя неделя Великого Поста. За полдень я был

на паперти у Преподобного, когда среди множества просящих тут увидел лицо... То были лишь одни глаза на опавшем, с выражением счастливого изнеможения, лице. Даже не глаза, а два светло-синих блика. Можно пройти полмира и не встретить такого взгляда. Здесь все сгорело в чистом пламени благодатной молитвы, осталось только духовное. Это была красота, не знающее о себе сокровище мира, неоцененный его бриллиант, мимо которого пройдет иной одинокий и достойный молодой человек, пройдет и, увы, никогда не узнает об этом.

Здесь же я вижу себя, разговаривающим со странствующей монахиней Евфалией. Ей девяносто один год. Она рассказывает, как просила Преподобного Сергия вернуть ей зрение — четыре года вокруг нее была ночь. Врачи не верили в успех операции, однако же нашелся такой, который вернул ей один глаз, и сейчас она смотрит на меня этим чистым, родниковой воды, смеющимся глазом. Она непохожа на старушку — светлое, веселое лицо дитяти девяносто одного года в черненькой вытертого бархата скуфейке.

Один человек увидел впервые Лавру во сне и услышал кем-то четко и властно произнесенное слово "Загорск". Наведя справки, он убедился в существовании такого города, а приехав в него, увидел "и древних башен каменную сагу, и полный музыки вечерний небосклон". Но и не приехав в Лавру, люди знают о ней, вдали от нее живут ею в воспоминаниях, в расспросах, передают с паломниками и приезжими гостинцы и посылки с материнской заботой о монашествующих. Эти узелки, эти крестьянские в горошек и крестик косыночки, в которых чего только ни завязано, эта забота о ходатаях своих и молитвенных заступниках! Сбылись слова Пречистой Богоро-

дицы, сказанные Преподобному Сергию: "Услышана молитва твоя о учениках твоих и об обители твоей, не скорби более, ибо отныне она всем будет изобилывать...". И другие слова небесного голоса: "Сергий! Ты молишься о своих чадах... Господь принял твою молитву — смотри, какое множество иноков сошлось во имя Святыя и Живоначальныя Троицы в твою паству и под твое руководство".

Сюда не только стекаются паломники, но и слетаются птицы. Своеобразные взрывы птичьего гомона, особенно ранней весной, удивительно соседствуют с царящей тишиной и, мы бы сказали, не нарушают ее, — так измученный человек засыпает под неумолчный шум водопада. Особенность здешних пернатых, бросающаяся в глаза, — их небоязнь человека. По всей Лавре [пропуск] гулкие и мерные удары — это недавно обосновавшийся [пропуск] дятел сосредоточенно и упорно долбит сухую кору огромной старой березы. Вон сел снегирь, щегольнув своим опереньем. Внимательно смотрит, скособочив головку на неожиданного пришельца, любопытная галка, и все птичьи посвисты и разговоры покрывает громогласное воронье. Здесь больше, чем в Москве, чувствуется Север. Стоят долгие сиреневые сумерки. Звонят к вечерне, и площади, и улочки Лавры пустеют. Поздним вечером, когда служба оканчивается, они ненадолго оживают. И снова стоит тишина, нарушаемая лишь боем часов на высокой колокольне. Гаснет постепенно электричество в окнах келий, и только тихий свет настенных храмовых лампад разливается над Лаврой. Затихает жизнь до утра, но не прекращается молитва: "Преподобне отче наш Сергие, моли Бога о нас".

ИЗ АРХИВА ОДНОЙ СЕМЬИ

ДОМ

(Вместо предисловия)

Как же до этого дошло?

Как вообще это может быть?

В нашем доме — убийство... В доме, где живет мое детство, все из чего сделался я, где запахи и звуки; и тайны, и страхи; и шаги, и лица, и голоса всех, кого сейчас уже нет или они другие, не такие реальные, близкие как там, в детстве — в этом доме — человекоубийство!

Зима, я сижу в вагоне электрички, я еду туда, к нему, к Дому; напротив меня и рядом сидят люди — они и не знают, что я — соучастник убийства... Как? Ты что? Почему — ты? Так... не знаю... Приходит и все больше овладевает мною такое чувство: и ты... нет... просто я виноват.

Но в чем?!!

Встает в памяти мелко иссеченное безумием, злобно-умильное личико Катерины, невообразимый голос — и как шевельнулось в глубине, когда позвонили, сообщили: "Ну вот, хоть так...". И мысль до этого, в прошлый приезд: "Пока Катерина жива, ничего не сделаешь". Значит я это вызвал, выждал? А этот

Найдено в Самиздате. Рукопись разделена на две части, по-видимому, по тематическому признаку, т. к. хронологически такое разделение не оправданно. В первой части публикуются письма, относящиеся к более позднему периоду. Некоторые письма, к сожалению, не датированы. — Прим. сост.

парень пойдет — на сколько лет? — за меня, из-за меня... Да, я виноват, но не только это, не это главное...

А что?

А что ты сделал, когда у Марьи Михайловны появилась Катерина и мучила ее и всех. "А что я мог сделать. Мы с детьми дом вымыли, я ее пытался укротить, квартирантов стыдил за грязь и пьянь".

Не знаю. Не сделал...

Просто перестал приезжать. А раньше? Когда там жила тетя Аня и так старалась привести дом в порядок, где ты был? И потом, когда она умерла, ты вникнул хоть, что она сделала, что еще надо? И что, ты не знал, что в доме уже больше года живет пьянь и нашу детскую превратили в общагу, в ночлежку, а в кухне гниль и холод, и весь дом загажен...

Да, да... Как же я мог это терпеть — где ж я был!..

"Я это исправ..." и тут же пойман на полуслове, полумысли — властно входит в меня и требует: *Да, ты должен.* Мысль виляет — "как? почему — я? и как?" Как-нибудь. *Ты должен.*

И так, между смятением и решимостью я подъезжал к городу, к Дому.

*

Я иду по нашей улице — я знаю, что не смогу больше так прийти и уйти, стиснув сердце в неподвижном, бездейственном сострадании этому бедному, одряхлевшему, оскверненному родному дому.

И все острее и памятей... Вот, там, где я сейчас иду, идет мама, но она идет мне навстречу, а я смотрю на нее оттуда, от дома. Она в бархатной шапке с меховой опушкой, руки в муфте или в рукавах, плечи подняты — холодно, походка мамина — быст-

рая, чуть вприпрыжку, лицо измученное и счастливое... Счастливое... Или просто — любящее меня, нас, всех. А может — молящееся...

*

Я стою перед дверью, и опять я вижу на своем месте папу, я вижу его с той стороны, из сеней, я с замиранием бегу открывать ему, *вернувшемуся!!* Это — сон, виденный бесчисленно: папа бывает с разным обликом, но всегда на этом месте; у него нет конкретных черт, я просто знаю — это *он*.

И я всегда спрашиваю: "Ты совсем приехал?"

Теперь, когда я уже не вижу этот сон, я понимаю, что это — эхо моего тревожного, *последнего* вопроса — когда его уводят — "А когда ты приедешь?" и ответ: "Я не уезжаю, детка, меня арестуют". Так, в точности, он сказал, я помню, потому что, когда я слышу или читаю "арестовывают" — я всегда думаю: "а папа сказал: "арестуют"..."

*

Я хожу по дому, тупо соображаю, с чего же начать? Так все запущено, что кажется невозможно вообще что-то поправить. Мар. Мих. не плачет, даже вроде спокойнее. Как же ее измучила Катерина, ей, видно, сейчас легче, несмотря на шок.

"Надо помыть, убрать все лишнее" — это Маша с Лизой: "мебель починить и почистить, чтобы приезжать было веселей".

Вот Буфет — помнишь, мама подъезжает к нему по раскатанной половице, тормозя с разгона, она все домашние дела делает в темпе быстрого шага. Ну-ка,

какой инструмент тут есть (внизу ящики, много, белые, липовые, в одном из них всегда лежали инструменты). Но что это происходит, когда я касаюсь этих привычных, родных, забытых вещей? Почему вместе с печальной радостью узнавания, вспоминания осязанием, глазом слышится что-то не из меня идущее, вроде ласково-горького упрека: "Ты пришел? где ж ты был так долго?"

Ведь вот, моя рука сама вспоминает, как открывается этот ящик без шишечки — надо сунуть туда мизинец, не правый, а левый, — и сразу во рту вкус сахара на черном хлебе; да, правда, ведь в этом ящике лежал песок, но я об этом забыл, кто же это вспомнил? Тихо, настойчиво идет какая-то энергия памяти ко мне от него, от Буфета, от Ящика, от этой дырочки, которая помнит мой детский тоненький палец и удивляется, какой он теперь; от Маминоного Секретера, от Изразцовой Печки, где все мы любили постоять вечером, грея спину и ссорились за это место, где столько раз вижу маму с измученным и счастливым лицом; печка — она же помнит...

И вдруг становится ясно — конечно же, это не я помню — *меня помнят* и так терпеливо ждут здесь, а я забыл, забыл, покинул...

И как же можно говорить "здесь прошло детство", "здесь было то-то и то-то". Как это было? Как это — прошло?! Вот же оно — обрушивается сладко-горькими волнами отовсюду, так что почти невыносимо уже...

Подожди, подожди, так вот я в чем виноват — я думал — Прошедшее прошло; т. е. не думал, а чувствовал так. А как же на самом деле? Да как же оно жило так долго забытое, загаженное, убиваемое

ежедневно. Как жалко... Бедное... А мама? Папа? Все, кого уже нет?

Ведь они... тоже?

*

Лето, я уже с месяц работаю, чиню дом. Сестры помыли и убрали комнаты, мы с другом подняли и немножко охорошили осевшую террасу, с милым Федором Серг. перестлали пол в кухне и передней, теперь займусь сенями. Дом немного ожил, задышал.

Но что-то еще беспокоит и толкает — "Ищи". "Теплее". "Теплее", но еще не "Горячо".

Между плотницкими делами перебрал книги — из тех, что читались в детстве, почти ничего не осталось, а эти — нечитанные, строгие. Надо будет почитать. А где же письма? Ведь было много писем! Тетя Аня их разбирала. А-а, во время летних наездов кто-нибудь из наших отнес на чердак. Иду. Да, стоит корзинка, в пыли, мыши поели — нет, только обертку. Смотрю, ищу там же, в полутьме, знакомое — да, да, вот. Несу в комнаты, скорей, тут должно быть последнее письмо папе, на конверте написано "Мише", там слова: "Какие хорошие у нас дети" — Вот оно... А папы в это время уже не было в живых... "Какие хорошие..." А я!.. Как легко плакать... И еще была тетрабочка — там написано "Моим детям", я читал это давно, давно, надо сейчас прочесть. Но надо идти работать, потом найду.

*

Голос и лицо встают из строк, напоминают, зовут — и я еду опять, с друзьями, которых просил

помочь уже не плотничать, а поддержать, научить меня в работе с таким непривычным материалом.

И вот мы сидим втроем на починенной кое-как террасе, где так хорошо было в детстве пить в это время вечерний чай, и то же солнце на том же месте через другие уже деревья, а вкус и запах тот же, и каждый погрузился в рождающиеся из строк голоса и лица, и время ушло, времени не стало...

Теплее, теплее... Горячо!

Вот я, я хочу быть с вами всегда, простите меня!..

Помогите мне...

Д. Ш.

Март 1978 г.

I

Н. Д. Ш.

Моим детям

ПЕРЕВЕРНУТЬ МИР

Мы ехали на пароходе из Ярославля в Нижний — выпускной класс Ярославской женской гимназии. Было нас человек пятнадцать в форменных коричневых платьях с черными фартуками. С нами ехала наша молоденькая добрая "классная дама" и двое-трое самых любимых учителей.

В тихий предвечерний час сгрудились все на носу парохода, смотрели, как резал он ласковую гладь

широкой Волги, пели вполголоса русские песни, а потом молодой учитель математики предсказывал каждой из нас судьбу.

Когда очередь дошла до меня, он сказал: "Ш. ... будет профессором истории в Московском университете".

"Ого!" — сказал кто-то рядом. Еще кто-то засмеялся, еще кто-то одобрительно захлопал в ладоши.

В то время такая будущность для женщины казалась необычайной.

Но я подумала: "Только-то?"

Чего же я хотела? Я еще не знала сама. Я хотела великого подвига и великой жертвы. Я мечтала о новых путях, которые еще никому не ведомы, я искала новую истину, которая еще не открыта.

В нашем поколении очень живо было сознание жестокости, несправедливости тогдашнего социального строя, но еще более остро было искание цели и смысла жизни. Вера была у нас подорвана, авторитетов для нас не было, а сердце вмещало все человечество. Одно время Лев Толстой казался нам пророком, но из его проповеди мы уловили главным образом ее отрицательную часть. Всего яснее было для нас то, что "так жить нельзя".

На курсах я с жадностью кидалась на науку, и меня радовали мои успехи. Но это было только по дороге, только между прочим. Главное было в тумане. Не знаю, понимал ли меня кто-нибудь из новых, хотя и очень близких друзей. Может быть, я и сама себя не понимала. Но однажды, в Петербурге, в год моей первой большой литературной работы о Короленко, заглянул мне в сердце и понял меня — мой отец. Он тогда написал мне — обо мне:

”Мир перевернуть надо непременно.

Без этого не жить.

А как к тому приступить, пока неизвестно.

А живет пока противной притворщицей,

Фома неверная,

Искалка неугомонная...”

Да, так это и было на самом деле.

Это было в 1911 году. Еще десять лет прошло, пока я догадалась, что переворачивать мир не нужно, потому что его давно перевернул Христос. И что нет на свете ни подвига, ни жертвы, которые могли бы что-нибудь прибавить к Его величайшему подвигу и Его единственной Жертве. Но когда я это поняла до конца, то мир для меня перевернулся. То, что было внизу, оказалось наверху, высокие идеалы провалились в пропасть, рассеялись манящие призраки, а сокровенная, невидимая суть бытия выступила явно, с почти осязаемой реальностью. И этот перевернутый мир не нуждается уже ни в каком оправдании, потому что он ясно показывает и цель, и смысл жизни, и ее абсолютное благо. Путь мой был долг и он еще не закончен. Потому что для того, кто на него вступил, недостаточно *один раз* перевернуть мир. Нет, нам нужно ежедневно, ежечасно, ежеминутно переворачивать мир, выворачивать его наизнанку, чтобы познавать истинную цену вещей и себя самих, чтобы пробиваться сквозь самый тонкий из обманов — обман своей я-чности.

Путь мой — путь многих ошибок. О некоторых из них мне хотелось бы рассказать вам, дети, чтобы, когда меня не будет с вами, эти строки послужили бы вам предостережением и помогли бы найти верный путь.

1. Тайна

Мне шел восьмой год, когда я впервые подумала, что умереть лучше, чем жить. Не потому, чтобы у меня было какое-нибудь большое горе или я чувствовала себя несчастной. Нет, нам жилось в те годы достаточно привольно, нас было трое сверстников, и мы были веселы, как все дети. Но мысль о смерти угнездилась прочно в сознании, и, так как мы любили поверять друг другу маленькие тайны, я говорила тихонько Ане: "Сказать тебе тайну? Я хочу умереть". Аня меня не понимала. Под этим знаком прошло все мое отрочество. Мыслей о самоубийстве у меня не было — это казалось мне слишком жестоким по отношению к родным. Да и вообще спешить мне было некуда. Но я радовалась, когда заболела. И если во время бронхита кто-нибудь говорил, что это, может быть, воспаление легких — у меня дух захватывало от счастья: серьезная болезнь, от которой можно умереть.

Это бессознательное сомнение в ценности жизни, инстинкт стремления к гибели, который вызвал две роковые катастрофы в нашей семье — долго, много лет подтачивал у меня корни настоящей связи с жизнью, только переплетаясь с другими чаяниями и устремлениями.

Помню, я была в Крыму с мамой уже молодой девушкой 17-ти лет. Когда доктор выслушал меня и сказал, что пустяки, ничего нет, я так огорчилась, что чуть не плакала.

Как же справедлив Господь, наказавший меня за легкомыслие юных лет этой самой, вожденной для меня тогда чахоткой, от которой теперь умираю!

2. Отпадение

Мы не были в детстве воспитаны в строгих рамках церковной жизни, но на Страстной мы говели. И какое невыразимое обаяние имели для нас эти дни! Когда в Страстной четверг мы поднимались рано, надевали белые платица и по утреннему легкому морозцу спешили в церковь к ранней обедне, Царство Небесное, казалось, открывалось перед нами. Другой путь общения с Богом был через природу. Смотришь на какое-нибудь необыкновенное облачко, и душа трепещет от благоговения к Создателю, и ощущаешь всем сердцем: "вся премудростию сотворил еси". Одно лето я особенно сильно это ощущала и ощущала свою веру как великую силу и счастье.

Перед тем, зимой, у нас в классе было несчастье: умерла от скарлатины одна из двух сестер Оловяниковых. Сестры были близнецы, и оставшаяся сестра сходила с ума по умершей. "Я не могу верить в Бога, — говорила она, — потому что, когда Шура умирала, я так молилась, так молилась, чтобы она осталась жива. Если Бог меня не услышал, значит Его нет".

И вот я взялась молиться за Олю: "Господи, пошли ей веру".

Но мне этого показалось мало, мне нужна была жертва. И я молилась так: "Господи, моя вера — величайшее счастье, но, если нужно, возьми ее у меня и отдай ей". И при этом была у меня задняя мыслишка: но если это случится, это будет явное чудо, и как же я могу не верить.

Вот нечестивая, кощунственная молитва! Как будто мало было у Бога веры, не хватило бы на двоих. Я хотела быть добрее Бога, да в то же время исподтиш-

ка Его обмануть. Но Бог поругаем не бывает. Осенью, когда началось ученье, мои религиозные настроения как-то поблекли и погасли. Какое-то равнодушие воцарилось в душе. Долго я даже не могла собраться поговорить с Олей. Наконец, как-то случайно оставшись с ней наедине в классе, я спросила ее: "Ну, как Оля, в Бога ты теперь веришь?" — "Да, сказала Оля, я верю, без этого совсем невозможно было бы жить".

А я — я искала и не находила веры в своей душе. Так вот, ведь и совершилось то, о чем ты просила! "Случайность", — тупо бормотала душа. На несколько лет сердце мое как будто иссохло для веры. В нем хозяйничали обрывки толстовского ученья и модные идеи предреволюционной пропаганды. И мне стыдно вспомнить дерзость и самомнение, с которыми я вела диспуты с батюшкой в классе на уроках Закона Божьего. Впрочем, на этих диспутах я не оспаривала бытия Божьего, они велись против Церкви. Но кому Церковь не мать, тому и Бог не отец.

На Страстной, когда я пошла исповедываться, старик-священник стал бранить моего отца, как забастовщика. Я ушла с исповеди и не пошла к причастию.

.

(Не окончено)

ПИСЬМО О. МИХАИЛУ Ш. ОТ О. СЕРГИЯ МАНСУРОВА

(Неотправленное)

18 сент. 1927 (получ. в Турткуле 1/14 – XI)

Милый дорогой досточтимый Батюшка, отец Михаил!

Рад Вас так приветствовать и радоваться вместе с Вами. Пусть Ваше смирение не омрачит Вашу радость: "аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр помилуй мя". А Господь на общую нашу радость щедро милует и одаряет Вас своими званиями: и терпеть за Него и служить Ему. Радуйтесь и Вы!

Говорят, нужно ходить между страхом и радостью. Кажется, это всего нагляднее в служении священническом: сколько каждый день видишь причин и радоваться и смиряться. Сколько получаешь и как мало даешь; что об тебе говорят и что на деле; небо и земля (земля в плохом смысле), так до ужаса сближаются. Если не совсем махнуть на спасение рукой — то смиряющего "материала" хоть ушатами черпай. Вот мои впечатления, которыми не могу не поделиться с Вами. Сколько хотелось бы с Вами устами к устам побеседовать, — м. б. теперь, Бог даст, это не так далеко. Говорят, хорошему или предшествуют или последуют искушения: надеюсь теперь Вы останетесь с "хорошим", а искушения Ваши позади.

Не дождалась мы сюда Нат. Дм.*; видел ее только мимолетно в Москве и только немного попользовался ее рассказами. На Нат. Дм., *впрочем, утеш-*

* Нат. Дм. (Н. Д. Ш.) — супруга о. Михаила Ш., † 1942. — Прим. сост.

тельно и поглядеть только, от нее какой-то бодрящий воздух распространяется; многим она помогла за это время просто тем, как сама переносила свои трудные обстоятельства. Хотелось бы слышать Вас и видеть дружеский критический взгляд на свой образ (поведения?) — очень в этом нуждаюсь в своем одиночестве, но как часто бывает в жизни, я заметил, — приходится учиться плавать без указаний дружеских и опытных. Кругом меня, как Вы знаете, обстановка прекрасная, и школа для меня здесь хорошая, и держат меня строго; только плохо, что духовник далеко и редко приходится исповедываться. Это при частом служении очень (боязно?). Навещают меня добрые друзья редко — им это нелегко из-за дороги, но нам отрадно — здесь в смысле общения с людьми суровато. А читать пока приходится мало — особенно пока я не овладел техникой службы. В своем служении очень утешаюсь поминаниями — здесь много времени для него — набрал себе множество поминаний и радуюсь, что хоть этим служу людям. Не забывайте нас в своем служении. Вам, наверное, это труднее — приходится спешить. У нас в будни с 5 ч. 30 до 9 — 9 ч. 30 и вечером с 4 по 6 — 6 ч. 30; в праздники набирается 10—12 часов службы. Слава Богу, здоровье выдерживает.

Целую Вас крепко и прошу молитв Ваших и Ваших сожителей.

Дорогой отец Михаил.

Примите от меня сердечное искреннее приветствие.

Спасибо за молитвенную память — (это?) всего нужнее и дороже. Помогите Вам Господь на трудном Вашем пути. Простите, что не успела писать письмо.

М.

ПИСЬМО Н. Д. Ш. ОТ О. СЕРГИЯ МАНСУРОВА

Дорогая Наталья Дмитриевна,

В свою очередь поздравляю Вас с прошедшими Праздниками. Очень обрадовался Вашему письму. Я, чуть ли не со дня отъезда о. Михаила, почти ежедневно собирался Вам писать, но разные передрыги в моем здоровье, приезды докторов, вспышки Т и т. д. — все это не давало мне исполнить моего желания. О. Михаил, когда был у нас, порадовал нас, сказав, что Вам возможно вырваться на 1—2 дня и приехать к нам, и что это даже будет для Вас отдыхом. Наше свидание с о. Михаилом, в общем меня столь порадовавшее, оборвалось как-то грустно. Я так дорожу единомыслием с ним и с Вами, насколько я понимаю, глубоким, что всячески хочется поддержать духовное общение, несмотря на временное, как уповаю, разномыслие по некоторым вопросам.

Поэтому особенно обрадовался Вашему письму и надеюсь, что Вы к нам соберетесь.

Призываю благословение Божие на своего крестника и на других детей. Целую отца Михаила.

Преданный Вам (недост. иерей Сергей)

(Писано рукой М. Ф. Подпись карандашом едва различима.)

ПИСЬМО О. МИХАИЛА О. СЕРГИЮ МАНСУРОВУ

Дорогой брат о Христе!

Поздравляю Вас и М. Ф. с прошедшими великими праздниками Р. Х. и Богоявления.

С тех пор, как я услышал Ваше слово, отлучающее меня от церковного общения с Вами, я ношу на сердце тяжелое горе.

Еще и еще раз я пересматривал наше разногласие и еще раз укрепился на том, на чем стою. Я признаю М. С. (Сергия) канонически правомочным заместителем Московской патриаршей кафедры, в то же время осуждая его декларацию и последовавшие за нею его деяния, однако считаю, что ни декларация, ни другие его действия не уполномачивают нас на основании правил и преданий Св. Отец прерывать Евхаристическое общение с ним. Относительно правомочий М. С.* и оценки его деятельности, мы, я знаю, единомысленны. Расхождение наших мнений и поступков начинается с вопроса (о возглашении имени!) М. С. на общественном богослужении. Оставим пока это разномыслие открытым. Оно не пугает меня и не представляется мне таким глубоким. Но воистину страшная пропасть между нами разверзлась от того, что это разномыслие Вы признали достаточным поводом для разрыва общения со мной во Христе. Только об этом я хочу говорить с Вами. Происшедшее между нами я поспешил рассказать нашему общему духовному отцу, а затем имел случай рассказать и отцу Досифею, — и от обоих не слышал осуждения себе и увидел, что оба так же огорчены проис-

* Митрополит Сергей (Страгородский), впоследствии Патриарх всея Руси. — Прим. сост.

шедшим и так же недоумевают, как и я. После беседы с ними смущение, с которым я приехал от Вас, совсем прошло, но горе мое не уменьшилось, — скорее напротив. Бог видит, как тяжело сознавать, что брат и сослужитель, которого люблю, как друга, и чту, как наставника, отлучает меня от общения с собой в церкви, то есть говорит: Христа среди нас нет!

Мне было бы легче, если бы я мог по совести признать целиком вину на своей стороне и Вашу правоту и тем заполнить разверзшуюся между нами пропасть церковного разделения. Но совесть не позволяет этого сделать. Рука долго не поднималась написать Вам. Я боялся, что письмо еще определеннее положит черту между нами, закрепив ее новыми словами. Дай Бог, чтобы этого не случилось. Но прошедшее время дало почувствовать, что молчание может привести к еще большему разделению, чем слова, и потому, помолвившись Богу, чтобы Он вразумил меня сказать нужное и как должно, пишу Вам во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Начну с того, что в одном отношении я чувствую свою вину в этом деле. Некоторое время в истекшем году я грешил тем, что вслушивался не только в голос правды, проверяемый умом и совестью, но внимал и голосу человекоугодия (я каюсь Вам в этом на исповеди) и, дорожа отношением к себе известного круга чтимых людей, допустил себя склониться в сторону аргументов, которые иначе не имели бы для меня решающей силы.

Теперь изложу, как я пришел к своим взглядам.

После того как я попытался сам изложить свои мнения на бумаге, мне стала ясна заключающаяся в них фальшь. Я понял, что кафарские настроения, которым и я дал себя увлечь, неминуемо ведут к то-

му, к чему приходили все кафары в истории Церкви, — к разделениям и расколам. Вы — такой знаток истории Церкви, лучше меня знаете ту внутреннюю логику церковной жизни, в силу которой те, кто хотел своим произволом охранять непорочность Невесты Христовой, оказывались перед замкнутыми дверями Брачного Чертога. Для пояснения этого не нужно вспоминать далеких монтанистов и донатистов, новациан и эноратистов. Ближе к нам, в XVII веке, Аввакум и его сторонники были одушевлены великою ревностью о чистоте Церковного предания и правил, — и во имя этой чистоты нарушили эти правила. Мы теперь знаем, что для их ревности было немало достойных оснований, — и тем не менее они заблудились в дебрях внецерковности.

Если бы те настроения, каким Вы следуете, имели силу в церковной жизни и не преодолевались бы тяготением к церковному единству в любви, то церковные расколы возникали бы по крайней мере каждое поколение. Ведь история Церкви пестрит именами недостойных, иногда преступных патриархов, митрополитов, синодов. Если бы во времена Феофана Прокоповича наши отцы руководствовались Вашими правилами, возник бы еще один раскол, — анти-синодальный, но те, кто откололись бы тогда от церковно-преступного Синода, оказались бы не на той стороне, где полнота церковной благодати произрастала Иоасафа Белг., Тихона Задонск., Серафима Саровского и другие не прославленные, но великие сосуды Св. Духа.

Значит, имп. Петр I и Феофан Прокопович с его вызывающими наше негодование соратниками не могли ни повредить, ни умалить благодатную жизнь Церкви, несмотря на то, что стояли во главе Ее прав-

ления, и это поняли их православные современники. Значит вообще грехи первостоятелей Церкви не нарушают чем-нибудь существенным течение благодатной жизни Церкви, и, очевидно, сохранение Церковного единства в любви и мире, как нравственная задача, первенствует для сынов Церкви перед их правом требовать от пастырей и собратий безупречной чистоты личного и общественно-церковного поведения.

Вы опираетесь на авторитет Преподобного Феодора Студита. Но оставляя даже в стороне повод, вызвавший отделение Преподобного Феодора от св. Патриарха Никифора (я считаю, что этот повод догматически гораздо более весом, чем то, что имеет место ныне, и во всяком случае догматически был четко определен, чего нет в наши дни), я спрашиваю, где основания руководствоваться этим совершенно исключительным в истории Церкви примером, и что дает право утверждать, что Церковь одобрила действия Преподобного Феодора в этом деле? Спрашиваю, и не нахожу ответа. Почему в истории Церкви не было авторитетных подражателей Преподобному Феодору в аналогичных случаях, которые повторялись и в царстве Ромеев и на Руси (Иван Грозный, Петр I). Несомненно, конечно, что Церковь и не осудила Преп. Феодора, но разгадку этой проблемы надо искать, я думаю, во всей совокупности святой личности Преп. Феодора, а не в его действиях в данном случае.

Довольно. Я не собираюсь исчерпать всей огромности затронутой темы. И без того, боюсь, что слишком увлекся спором. Простите меня, ради Бога, если я не сумел удержать в словах этого письма выражений горечи, порожденной горем разделения между мною и Вами. Я писал не для спора, а ради любви мо-

ей к Вам и почитания, которые так же крепки, как были.

Любовь моя дает мне дерзновение сказать Вам: Христос посреди нас! с убеждением, что если Вы еще ответите: нет, то Ангел Ваш Хранитель произнесет: есть и будет. Аминь.

Земно поклоняюсь Вам и М. Ф.

Ежедневно молю Бога, да дарует Вам исцеление
Ваш недостойный молитвенник

20.1.1929

М. Ш.

(другая страница)

Есть и еще вина лично перед Вами. Но о ней я догадался лишь совсем недавно после разговора с Над. Гр. Я понял, что Вы огорчены и оскорблены тем, что я как бы скрыл от Вас то, что в служении поминаю М. Сергия, не объявил это с первых слов, а сказал лишь на прямой Ваш вопрос. После всего, что произошло, я понимаю теперь, что поступил неправильно. Не в оправдание, а в объяснение поясню, чем при этом я руководствовался. Я ехал к Вам с решением не поднимать спора по этому вопросу, чтобы не причинить Вам вредного волнения и *(неразборчиво)* себе коснуться этого дела лишь на прямой Ваш вопрос. Из предыдущих наших разговоров Вы знали, что я не согласен с теми и осуждаю тех, кто отказывается от евхаристического общения с поминающими, и не знал, что Вы сами дошли до этого отказа. Я полагал также, что Вы знаете, что я поминаю М. С., так как служу в храме, где это поминание принято, поэтому

я был далек от предположения, что мое молчание может привести к недоразумению и к конфликту совестей и причинит Вам гораздо более глубокое потрясение, чем если бы я сразу поставил все точки над *i*. То, что я чувствовал необходимым сказать, я Вам сказал на исповеди и думал, что из этого моего признания Вы поймете мою позицию и считал, что Вы поняли, так как не поставили мне никаких дополнительных вопросов. Оказывается, это было не так. Виноват в этом, конечно, я. Надо было быть осторожнее и предусмотрительнее. Грешен, каюсь и признаю, что надо было предпочесть полную открытость и ясность с самого начала (*неразб.*) и с раскаянием прошу у Вас прощения, что легкомыслием ввел Вас в соблазн.

Н.Д.Ш.

МОИ ВСТРЕЧИ С С.П.МАНСУРОВЫМ

Мое общение с покойным С. П. было слишком разорванным, а память сохранила слишком мало и из немногих бесед для того, чтобы моя запись могла прибавить что-нибудь к облику С. П. для тех, кто его знал, а тем более воссоздать этот облик для незнавших покойного. Но есть неодолимая потребность души отдать долг благодарности памяти усопшего, засвидетельствовать то, что душа эта от него получила.

В воспоминаниях моих много говорится о себе. Думается, что этого нельзя было избежать и не надо бояться. Потому что и этим путем — через раскрытие

личных переживаний людей, соприкасавшихся с С. П., — может раскрыться полнота его духовного существа.

1

Мы с мужем приехали в Сергиев Посад в августе 1918 года. Этой же осенью как-то на улице муж мой раскланялся издали с высоким человеком и, отвечая на мой вопрос, сказал: "Это мой товарищ по университету — С. П. Мансуров".

Мне бросились в глаза, кроме высокого роста, медлительная походка, очки и поношенный костюм. Потом мы встретились в Лавре и тогда познакомились, причем я заметила добрый внимательный взгляд через очки.

Но время было неблагоприятное для углубления знакомства. Однажды С. П. заходил к нам по какому-то житейскому делу, — его отец тогда был болен сыпным тифом, — он был озабочен и спешил. Мы поговорили, стоя в передней.

С весны 1919 г. М. В. начал работать в Комиссии по охране Лавры вместе с С. П. и часто с ним говорил. Однако прошел еще почти год, пока у меня завязались непосредственные отношения с С. П. и его женой. Но и за это время, когда у меня не было еще с ним ни одного разговора, я испытывала глубокое воздействие его духовного облика. И это было потому, что я видела его в храме.

Это было трудное, голодное время. Мы все ходили оборванные и постоянно с поклажей. С. П. часто приходил в Троицкий собор с большим саквояжем — с

вокзала, — или с обедом из столовой, завязанным в салфетку.

Медлительно и спокойно он подходил через храм с своей ношей, часто в разорванной обуви, к подножью иконы, перед которой склонялся ниц. Мне чуялась большая свобода духа в этом спокойствии. Мне думалось, что он потому так невозмутимо ставил свой обед посреди храма, что все житейские помыслы он оставлял за его порогом.

Меня покоряло благоговейное внимание, с которым он слушал церковную службу. И когда в некоторые моменты Литургии он склонялся до земли и долго оставался в этом положении, как бы совсем уничтожаясь, как бы весь растворяясь в переживании происходящего таинства, я следила за ним с каким-то трепетом, сердцем впервые постигая великую тайну христианской мистики — жертвенную отдачу человеком себя Богу — смерть личности — и восстание ее уже преображенной, воспринявшей в себя нечто от Божественной сущности.

Я переживала в то время глубокий и длительный душевный кризис. Прежнее полу-рационалистическое, полу- или около-религиозное морализующее мировоззрение рухнуло под напором жизненного опыта и опытного познания себя. Несколько прочитанных книг раскрыли мне высочайшую мудрость святоотеческого учения. Умом и сердцем я тянулась к православной Церкви. Туда же увлекал меня пример мужа.

Но истина церковного учения все еще казалась слишком — ”детски”-простой, обряд церковный — унижительным в своем внешнем однообразии. И тайная гордыня души восставала против церковного

пути всеми обычными уловками внешней человеческой мудрости.

Однажды словечко С. П. помогло мне раскрыть одну из таких уловок.

Троицкий собор был уже тогда закрыт. Мы ходили в Черниговскую пустынь. Громадный новый храм с мрамором и позолотой был мне не по душе. Но мне нравилось то, что маленькая кучка молящихся совсем терялась в нем и он всегда казался пустым.

Я сказала об этом С. П.-у.

— Да, — ответил он с обычной своей чуть-чуть шутилой улыбкой, — *иногда* хорошо помолиться в пустом храме, как хорошо помолиться и дома. Но я люблю больше храм, наполненный народом. Молитва в храме должна быть *соборной*.

Слова эти заставили меня многое передумать. Я поняла, что "пустой храм" нужен был моему интеллигентскому индивидуализму, как иллюзия своего, обособленного пути. Но Истина открывается не этим гордым и жалким усилием индивидуального искания. Она обретается на торном пути человечества, она доступна всем, она раскрывается вполне лишь соборному разуму.

Этот подлинный демократизм церковности — в противоположность моему надуманному, ложному демократизму (с тайным убеждением в своем превосходстве над толпой) — как-то пропитывал весь облик С. П.-а. В его неизменно-внимательном взгляде, в его свободной, часто шутилой речи, лишенной всякой елейности и учительности, — открылась мне сущность христианского смирения.

И на пороге церковной ограды С. П. стал для меня живым олицетворением церковности.

С осени 1920 года целый ряд деловых и личных связей сталкивал нас с семьей Мансуровых. Кроме общей работы с М. В. в Комиссии по охране Лавры, у него была общая работа со мной в Институте Народного Образования, где я одно время заведывала внешкольным отделением и где он читал курс лекций о работе с книгой. Все, что говорил С. П., казалось мне таким значительным, что я ожидала много от его лекций. Но, к моему удивлению, занятия его не пользовались успехом. Он не вкладывал в них "темперамента".

— Вяло читает, — отзывались о нем слушатели. Кажется, занятия эти продолжались недолго. Да и работа моя на внешкольном отделении оборвалась среди зимы вследствие неожиданной командировки — в тюрьму. Там мы с сестрой однажды получили вещественное доказательство памяти и заботы Мансуровых — очень хорошее толокно. А когда я вернулась домой — это было перед Пасхой, — то, зная мою бесхозяйственность, Мансуровы же прислали нам розговленье — мал. творожную пасху и куличик. Они оба никогда не пренебрегали вещественным и материальным.

Весна 1921 года сблизила нас на новом предприятии — хозяйственном. Под влиянием голода предшествующих лет и по инстинктивному тяготению "к земле" мы взялись за обработку участка земли. Основными членами маленькой артели были семьи Олсуфьевых, Мансуровых и наша. Главным нашим хозяйственным ресурсом были — неутомимая энергия Юр. Ал. и собственные наши руки. Нам отвели нераспаханный участок плохой глинистой почвы.

Землю под картошку после вспашки, которая только подняла дерн, разбивали лопатой, делая длинные гряды. На этой работе я не помню С. П. — она была не по силам его тогда уже слабому здоровью и ее делали принятые им в долю мальчишки Голубцовы.

Но С. П. нес караульную службу, когда урожай наш стал поспевать, ночуя в очередные ночи в маленьком шалаше посредине нашего поля. А когда пришло время сбора этого довольно скудного урожая, С. П. работал с нами вместе с женой.

Как сейчас вижу я их перед собой: оба высокие, спокойные, медлительные, плавными неторопливыми движениями склонялись и выпрямлялись над распханными грядами, с какой-то особой, немного неуклюжей грацией, выбирая картошку, точно танцуя старинный менуэт.

Мы были все оборванные, руки были в земле, но здороваясь и прощаясь, С. П. с той же неуклюжей грацией неизменно целовал руку мне и Софье Влад., чем иногда приводил меня в большое смущение.

Староста нашей маленькой артели — Юрий Ал. (Олсуфьев) — постоянно кипел хозяйственным азартом, заражая им моего мужа.

Я была одержима рабочим азартом — мне все хотелось побольше сделать. Мы иногда ворчали на Мансуровых за их медлительность. С. П., казалось, этого не замечал: невозмутимо серьезно делал он свое дело, мало участвуя в хозяйственных совещаниях и волнениях. И, окончив работу, спокойно шествовал домой с лопатой на плече в старой выцветшей заграничной шляпе, в накинутом на плечи дорогом, но потертом пальто и в худых сапогах.

Во время жнитва нам помогала прачка Евфимья — высокая, худая женщина, сильная и умная.

— А что, Н. Д., — сказала она мне раз, когда мы шли с ней с поля домой, — я так думаю, что С. П. святой будет!

— Почему вы так думаете, Евфимья? — удивилась я.

Но она ничего не сумела мне ответить.

3

Летом 1922-го года родился наш первенец, которого заранее решено было назвать Сергием. Мы с мужем сошлись в желании просить С. П. быть его крестным отцом. М. В. говорил об этом с ним, когда я была еще в больнице. С. П. согласился не сразу, а немного подумав, но охотно. Однако, случилось так, что за два или три дня до крестин скончался оптинский старец о. Анатолий, которого С. П. очень почитал и любил*. С. П. зашел к нам, чтобы предупредить, что он уедет на похороны, принес крестик для Сережи и просил, чтобы его заменил на крестинах Павлик Голубцов. Крестины были назначены на Преображение и ради этого великого праздника нам не хотелось их откладывать, а потому они состоялись без С. П. Однако он до конца жизни считал Сережу своим крестником, всегда им интересовался и молился за него. По возвращении с похорон он подарил Сереже маленькую, очень хорошую иконку Св. Троицы, в кивот которой он вложил цветы с могилы покойного старца.

В эту зиму мы с М. В. стали учениками С. П. Он предложил нам прочесть ряд лекций по истории

* и был его духовным сыном.

Церкви, которой занимался много лет и которую знал превосходно. Скромная обстановка этих занятий очень соответствовала его характеру: он не создавал никакого кружка и не искал значит. числа слушателей. Нашлось двое людей, интересующихся дорогим ему предметом, — этого было достаточно.

Иногда мы приходили к нему, но чаще он приходил к нам вечером вместе с М. Ф. — потому что мне не с кем было оставить маленького Сережу.

Сережа спал плохо — часто просыпался. Я подходила к его кроватке, чтобы его побаюкать. С. П. терпеливо ждал моего возвращения.

У С. П. был свой глубоко продуманный взгляд на историю Церкви, своя концепция церковных событий. Он владел огромным историческим документальным материалом, и святые, которых он считал столпами церковной истории, были для него живыми людьми. Он и нас хотел ввести в эту сокровищницу церковной истории. Он читал нам письма св. Игнатия Богоносца, — непосредственного преемника апостолов, и св. Поликарпа Смирнского — ученика св. ап. Иоанна Богослова, послания епископа III в. (и мученика) Киприана Карфагенского и отрывки из мученических актов. Передо мной открылся совершенно новый мир, и некоторые его уроки глубоко врезывались в душу.

Особенно помнится мне вечер, когда С. П. познакомил нас с записками мученицы Перепетуи. У нее и у муч. Фелицаты были грудные дети. М. б. это сходство внешнего положения с нашим не осталось без влияния на выбор С. П. Читать записки (во французском переводе) он дал Мар. Фед. и это тоже было не случайно. Чистота и сила веры III века христианства, детская простота и правдивость рассказа,

изящество французской речи, тихое, как будто созвучное этому благоуханному образу чтение Мар. Федоровны — оставили во мне неизгладимый след.

Думаю, что целью С. П. и было — открыть для нас эти двери, потому что дать нам много знаний при таких нерегулярных занятиях он, конечно, не мог. Впрочем, он каждый раз задавал нам уроки — показывал нам ряд материалов для прочтения и давал книги из своей библиотеки.

Кажется, мы — в особенности я — уроки эти готовили плохо, не хватало на это времени.

А сам С. П. тем временем начал писать свою уже давно обдуманную и подготовленную большую работу по истории Церкви*. С осени 1923-го года наши занятия приняли другой характер: С. П. читал нам написанные главы своей работы по мере того, как они были готовы. Теперь круг слушателей расширился.

В обращении с материалом у С. П. была большая свобода. Всегда считаясь с авторитетом святоотеческих писаний во всем, что касалось основ вероучения, он не был ни связан, ни подавлен этим авторитетом. Верность его Церкви казалась верностью не раба, но сына, имеющего всю смелость самостоятельной мысли.

Если раньше меня удивляло в С. П. его христианское смирение, то теперь не меньше я удивлялась его дерзновению.

Не все безусловно нравилось мне в его работе. В частности, большое, — из нескольких глав, — "Введение" казалось мне слишком опирающимся на силу логических доказательств и содержащим слишком

* Очерки из истории Церкви свящ. Сергия Мансурова опубликованы в "Богословских трудах" №№ 6, 7 за 1971 г. Изд. Моск. Патриархии. — Прим. составителя.

много полемики. Мне казалось, что это принижает книгу, лишает ее внутренней убедительности.

Думаю теперь, что я была неправа. Именно скромности С. П. естественно было ставить свою работу в ряд других исторических работ, не чуждаться научных методов и научной терминологии. Вместе с тем, мне кажется, что он хотел писать не только для верующих, но, может быть, еще больше имел в виду людей христиански настроенных, но стоящих вне Церкви. Позже он приходил читать это "Введение" моему отцу и очень интересовался его мнением.

Свои мысли о "Введении" я высказала С. П. со всей смелостью, и после этого он всегда требовал от меня "критики". Но мне дальше возражать было нечего, так как когда он перешел к изложению событий, мне совершенно неизвестных, — я могла только слушать, да и к тому часто оказывалась неспособна: чтения бывали обычно вечером, а я из-за Сережи ночи спала плохо и так как С. П. читал довольно монотонно — меня одолевал сон. Он это знал — и не обижался, а приглашая нас к себе вечером, — предупреждал мужа:

— Только скажите Н. Д., чтобы она днем выпалась.

Но это не всегда удавалось...

Потом у С. П. возник план — привлечь нас к сотрудничеству в своей работе. Он хотел дать своей Истории Церкви две редакции: одну — более просторную, другую — более краткую и упрощенную. Вот для этой упрощенной редакции он хотел иметь сотрудников и для опыта поручил мне по указанным мне материалам написать одну главу.

Кажется, я не справилась с этой задачей и моя работа его не удовлетворила. Тема (о сошествии Св.

Духа) была очень трудна, а моя подготовка очень слаба.

Летом 1924 года у меня родилась дочка — Маша, и я совсем оставила свои занятия по истории Церкви.

Перед Рождеством этого года в жизни нашей наступил решительный перелом под влиянием настойчивого призыва старцем о. Алексеем моего мужа к принятию священства.

М. В. встретил в С. П. дружескую поддержку и помощь в исполнении своего намерения. Мне в это время почти не приходилось бывать у Мансуровых, так как я была связана уже двоими маленькими детьми.

С. П. тоже у нас не бывал: он уже часто прихварывал, у него повышалась температура и М. Ф. очень его оберегала, а он ее слушался. М. В. ходил туда один и я не знаю их разговоров за это время. Только очень памятно мне, как Мансуровы без всякой просьбы с нашей стороны, но зная наши трудные обстоятельства, — прислали нам 100 рублей — тогда довольно большие деньги.

И только случайно, по поводу шуточного разговора о бороде, которую начал отпускать С. П., я узнала о том, что, вероятно, давно уже знали друзья его, — что он сам готовится к принятию священства.

4

Осенью 1925 года Мансуровы уехали из Сергиева и наши встречи стали очень редки. Для меня было трудное время — ареста и ссылки мужа, рождения третьего ребенка — Лизы, материальной необеспеченности и напряжения всех сил. Но и для Мансуровых это время прошло не легче...

Кажется, первый большой разговор с С. П. был у меня поздней осенью 1926 года. Очень памятна мне эта встреча на квартире у моих родителей на Зубовском бульваре.

Мы сидели с С. П. на диване. Он расспрашивал об о. Михаиле, бывшем тогда в Турткуле. Я только что отняла Лизу от груди и собиралась было ехать к мужу, но оказалось, что уже поздно — нельзя было надеяться на пароходное сообщение по Аму-Дарье для обратного пути. Мне было очень грустно, что поездка моя не состоялась, тем более, что перед тем между мной и М. В. в переписке было серьезное огорчение, в котором я чувствовала себя виноватой. Этого обстоятельства я не скрыла от С. П.

— Это ничего, — сказал он. — О. Михаил попал теперь в опасное положение. Он стал страдальцем за веру, исповедником. Ничего не было бы удивительного, если бы он немножко и зазнался. — С. П. смягчил это слово ласковой улыбкой. — А если так, огорчение, принесенное ему Вами, — хоть и болезненно, будет ему на пользу.

Я молчала. Мне ни разу не приходило в голову посмотреть на дело с такой точки зрения. Да и духовник мой о. Порфирий очень сильно меня бранил.

— Посмотрите, что Бог делает, — продолжал С. П. — возьмите хотя бы о. Сергия Сидорова. Приехал он в Сергиево — молодой, красивый, горячий проповедник, ну что же — ведь это погибель, явная погибель. Но Господь берет его в Свои руки, осыпает его бедствиями, перемалывает его в муку... — И С. П. показал руками, как "перемалывает".

Я смотрела на него с удивлением. Бедствия семьи Сидоровых вызывали во мне сердечный отклик. Я горькими слезами оплакивала смерть их первенца,

а мрачно-отчаянный взгляд о. Сергия, которого я видела случайно в тюрьме во время свидания с мужем, — неотступно стоял у меня перед глазами. От понимания духовного смысла этих бедствий я была очень далека.

Потом, когда мы вместе с С. П. вышли на улицу, я поведала ему другое свое горе, касающееся его крестника Сережи. Сереже было 4 года и у него, как обычно в этом возрасте, бывали капризы. Мне казалось самым важным в воспитании добиться послушания. Но у меня не хватало для этого спокойствия и выдержки. Теперь я вижу, что часто я вносила в это дело свои "капризы" — свой гнев и упрямство. Боясь уступить, я иногда обращалась с Сережей жестоко и грубо. Но С. П-у я сказала только то, что мне никак не удастся добиться послушания.

Он помолчал. Потом сказал:

"Покойный о. Алексей Мечев говорил, что в деле воспитания детей — самое главное это доверие детей к родителям, к справедливости их требований. Об этом надо больше всего заботиться, чтобы сохранить это доверие и чтобы оно возросло вместе с возрастом ребенка".

Мы стояли на Крымской площади в ожидании трамвая. Моросил мелкий холодный дождь. Подошел трамвай и кто-то из нас уехал, — не помню, кто. А эти простые слова С. П-а, — не его, но им сказанные так умно и кстати, перевернули мою неразрешимую задачу, заставив взяться за нее совсем с другого конца.

И я сохранила эти слова на всю жизнь.

С. П. готовился к посвящению, которое и принял в начале той зимы. Я знала, что материальные дела Мансуровых были трудны настолько, что С. П. не мог справиться себе нужную одежду. Он охотно взял предложенный мной подрясник, сшитый для моего мужа, но оказавшийся слишком теплым для жарких стран, куда он попал. В нем С. П. и посвящался, хотя он был ему короток, и носил его первое время, а потом вернул его, когда обзавелся своим.

Сразу же после посвящения о. Сергей уехал на место священника в Сергиевский Дубровский женский монастырь. Это была маленькая пустынька в лесу на высоком берегу Протвы 12 верст за Вереей.

Иногда они с М. Ф. приезжали в Москву и вскоре я впервые увидела его священником. Единственный раз в жизни я была на его служении — за всенощной и ранней литургией в церкви Саввы Освященного. Надо ли говорить, что он казался здесь на своем месте, как нигде и никогда в жизни.

Служил он тихо и очень спокойно, не повышая голоса при возгласах, не вносил в священнодействия ничего, от себя — ничего, кроме глубокого внимания к каждому слову и сосредоточенной осторожности в каждом движении. Казалось, что служит старый, очень старый священник.

За всенощной кроме меня было еще несколько знакомых С. П. Настоятель храма удержал нас всех после службы и оставил пить чай в маленькой комнатке при церкви. За столом С. П. был оживлен, — в каком-то даже несвойственном ему немного приподнятом настроении и был похож не на старого священника, а на молодого новобрачного.

На другой день мы виделись с ним коротко у Ч. И тогда он сказал о себе одно словечко, которое очень меня удивило:

”Служение перед алтарем, — сказал он, — смиряет, очень смиряет. Многое смиряет, — вот, например, — хульные помыслы”. У него, который казался образом внимания и благоговения — у него — хульные помыслы? И для чего сказал он это мне в мимолетней беседе около чайного стола? Я поняла это гораздо позже.

Второй раз мы виделись, если не ошибаюсь, летом того же 1927 года. Это было вскоре после опубликования первого воззвания митр. Сергия, которое я, как и многие, переживала очень тяжело. Мужа еще не было. Я жаждала услышать мнение об этом С. П. — и это было первое, о чем я его спросила.

— Да что же, — сказал он со спокойной своей улыбкой, — от Святейшего (патриарха Тихона) приходилось терпеть и хуже.

Дальнейшего разговора я хорошо не помню, но эти первые слова его запомнились мне очень ясно.

Потом он рассказывал о себе и опять говорил о том, что ”смиряет” — об отношении к себе игуменьи монастыря.

Она, видимо, очень мало ценила высокие способности о. С. как духовника и иерея и роптала на его болезненность, которая заставляла его часто пропускать церковные службы.

”Очень полезно, — шутя говорил про нее о. С. — Ты думаешь о себе, что что-то из себя представляешь, — а тут видишь, что тебя едва только терпят и то как будто из жалости. Очень, очень полезно”.

Теперь, припоминая весь облик С. П., я думаю, что он не был чужд естественной человеческой немощи и

искушений высокого о себе мнения. Он не мог не знать цены данных ему дарований. Его смирение не было благодатным даром, полученным им "туне". Оно было плодом большой и постоянной работы над собой, жатвой духовного опыта и духовного рассуждения. Это было именно *смиреномудрие*, которое он получил за постоянное *внимание себе* и, получив, бережно охранял тем же вниманием себе. Потому он и говорил так охотно о том, что "смиряет", чтобы заслугу и этой — самой возжеленной для него добродетели не приписать себе и тем не погубить ее плодов и не лишиться самого бесценного дара.

6

Воззвание Митр. Сергия, которое мы, не имеющие духовного опыта, пережили как тяжкий удар по достоинству членов Церкви — о. С. считал должным перенести без открытого протеста. Но последовавшее затем распоряжение о поминовении Митр. Сергия наравне с Митр. Петром на Литургии во время Великого входа и о поминовении в это же время властей — вызвало в нем решительный отпор.

Муж мой, который вернулся из ссылки в январе 1928 года, — не вполне разделял это отношение, и первые их встречи в Москве с о. С. были посвящены обсуждению этого вопроса. О. С. защищал свою позицию с горячей и ревностной убежденностью. Куда девалось его обычное спокойствие и кажущаяся флегматичность его нрава! Он убеждал, доказывал, приводил исторические примеры и аргументы, основанные на святоотеческих писаниях.

Он поехал вместе с о. М. к нашему общему духов-

нику, — покойному теперь о. Порфирию, иеромонаху Черниговской пустыни, а потом Гефсиманского скита. Там втроем они продолжали свою горячую беседу. О. С. всегда очень высоко ставил и очень чтит о. Порфирия, но в этом вопросе он не считал себя связанным его авторитетом. На этот раз все трое пришли к единодушному согласию, приняв мнение о. С. Обо всех этих важных разговорах я знала только по рассказам о. М. У меня в это время родился 4-й ребенок, Димитрий, и я жила безвыездно в Сергиеве.

Когда начался Великий Пост, здоровье о. С. уже не могло вынести каждодневного долгого служения и, кажется, на 2-й неделе он слег с температурой. О. Михаил, который был в это время без прихода, — ездил два раза его заменять и жил там по неделе или полторы. Так случилось, что первые шаги своего священнослужения после ссылки он начинал в непосредственной близости к о. С. Между ними было неизменное согласие, дружба их делалась все более тесной. Перед Пасхой я получила очень доброе и дружественное письмо, написанное М. Ф. под диктовку о. С. и им подписанное.

Потом налетел шквал.

Вначале моя сестра и многие из Серг. знакомых были арестованы, нам пришлось спешно уехать и мы скитались 1/2 года с маленькими детьми между родительскими домами и случайными пристанищами. Дети болели, прислуги не было, заработков тоже не было, — мы жили кое-как, — помощью родных.

Осенью мы поселились около Томилина, и с Покрова о. Михаил получил приход в церкви Девяти Мучеников на Новинском бульваре. Церковь была из поминающих Митр. Сергия, и по совету о. Порфирия муж согласился поминать.

Все это бедственное время у нас не было сношений с Мансуровыми. Мы знали от друзей, что о. Сергию стало несколько лучше, но что о служении для него не могло быть и речи, что они оставили Дубровскую обитель и переехали в Верею. Как только мы немного устроились в конце октября отец Михаил поехал в Верею повидаться с о. Сергием. Он вернулся оттуда расстроенный.

”Мы разошлись с Сергием Павловичем”, — сказал он мне. Коротко и неохотно рассказал он, что никаких споров у них не было, что вопроса о поминовении не поднималось, что они исповедовались друг у друга, как это бывало и раньше. Но что вечером, уже простившись, о. С. сказал ему через тонкую перегородку, по обе стороны которой они спали, что он не знал о том, что я поминаю, что ”если бы он знал, то не стал бы у меня исповедоваться и что он теперь об этом жалеет”. О. Михаил имел все основания думать, что С. П-у известна его позиция и не хотел волновать больного спором. Тот ждал, очевидно, открытого объяснения.

Произошло тяжелое роковое недоразумение. Как могли они — оба так любившие друг друга, расстаться, не попытавшись рассеять этого недоразумения, — я долго не могла понять. Яд недоверия, закравшийся в душу одного, и горечь обиды, пережитой другим, сделали, казалось, разномыслие — разрывом.

Это был тяжелый удар. Сознание, что о. С. не с нами, что давняя дружба поколебалась, повисло каким-то мрачным облаком над нашим нравственным бытием. О. Михаил писал длинные послания, писал, переписывал, — и не посылал. М. Ф. ничего нам не писала, но мы знали от друзей, что о. Сергию было все хуже. Он не вставал с постели. Так прошло больше

2-х месяцев. На Рождество я зашла по какому-то делу к Над. Гр. и она мне сказала: о. Сергей собирается вам писать.

— То есть, о. Михаилу?

— Нет, именно вам.

— Это была радостная весть. Если о. Сергей хочет писать, то, очевидно, хочет рассеять нависшее облако, а то, что он хочет писать не прямо о. Михаилу, а мне, — доказывает, что он хочет избежать спора по существу.

Мы с о. Михаилом решили, что мне надо съездить в Верею. В ответ на запрос об этом я получила приглашение от Мар. Фед.

7

Я приехала в Верею на другой день после Сре-
тенья — 3 февраля 1929 года. Незабываемый день!

На конце главной улицы я нашла без труда одно-
этажный деревянный дом старой, хорошей построй-
ки. О. С. лежал в большой комнате с 4-мя окнами на
улицу. Угол был увешан старыми, любимыми его
иконами и теплилась лампадка. М. Ф. спала здесь же
на диване. Рядом в маленькой комнате стоял обе-
денный стол и кровать для гостей.

М. Ф. обрадовалась мне, да и о. Сергей улыбнул-
ся мне очень ласково. Тут только я поняла, что оди-
ноко и тоскливо бывало им вдвоем под гнетом не-
отступно нараставшей болезни.

О. Сергей очень исхудал, руки у него были бе-
лые-белые и сильная одышка мешала ему говорить.
Поговорили о болезни, о докторах, о московских де-
лах и знакомых. Я достала все, что с собой привезла.

В разговоре я спросила о. Сергия: "А аппетит у вас есть?" — "Смотря по тому — на что, — ответил он с прежней своей шутливостью, — на вкусное — есть".

Между привезенными продуктами была маленькая жестяночка ландрина от моей сестры. Этот скромный гостинец больше всего понравился о. Сергию. Он сказал, что ему приятно будет сосать леденчики.

М. Ф. не дала мне долго быть у о. Сергия, чтобы он не устал. Но раньше, чем я ушла в другую комнату, он спросил меня, что я читала последнее из его работы. Оказалось, что одна глава была мне неизвестна и он попросил М. Ф. достать ее, чтобы я прочитала. Чувствовалось, что мысли об этой работе волновали его, что она крепко сидела у него в голове.

Но признаюсь, что в этот раз я читала не очень внимательно.

Потом мы долго беседовали с М. Ф. в маленькой столовой. Говорили мы тихо, но у о. Сергия за время болезни так удивительно обострился слух, что он слышал даже тихий шепот из-за закрытых дверей. Так что когда М. Ф. хотела, чтобы он чего-нибудь не слышал, она писала, — также и я.

О происшедшем между нашими мужьями не было сказано ни слова. Но я коротко рассказала М. Ф. при каких обстоятельствах о. М. начал поминать, с какими побуждениями и сказала, что он имел на это благословение о. Порфирия.

— О. Сергий считает, — сказала мне М. Ф., — что от о. Порфирия и подобных ему старцев-простецов, навывкших в послушании, нельзя ждать совета в этом сложном церковном деле и не следует к ним за этим обращаться.

Потом она спросила меня о двух московских свя-

щенниках, которых о. С. очень уважал, — о. Сергие Леб. и о. Сергие Успен. Я сказала, что оба они поминуют.

— Про них о. Сергей говорит, — заметила М. Ф., — что они должны быть с нами и будут, наверное, когда-нибудь.

Перед ужином о. Сергей позвал меня к себе и попросил:

— Расскажите про детей и про родителей. — Он всегда очень интересовался родителями и моими, и о. Михаила. И я рассказывала, пока М. Ф. меня не прогнала.

Когда я уходила в столовую, о. Сергей сказал:

— Как жаль, что вы так скоро уезжаете, — скучно будет.

За ужином разговор у нас с М. Ф. зашел о моем пребывании в Бутырской тюрьме и между прочим я рассказывала, как там служили в одной из камер "околотка" Митр. Сергей и епископ Герман.

Вдруг из другой комнаты послышался слабый голос о. Сергия:

— Ах, так вот с каких пор ведется у вас дружба с Митроп. Сергием. — От этой шутки на сердце у меня стало легко. Я поняла, что большой вопрос не стоит уже между нами.

После ужина о. Сергей позвал меня, чтобы проститься:

— Н. Д., — сказал он, — скажите о. Михаилу, что я люблю его по-прежнему, что я жалею о том, что огорчил его и прошу у него прощения. Передайте ему, — продолжал он, помолчав минуту, — что я готов опять у него исповедоваться, если бы он приехал.

Он благословил меня и я поцеловала его руку, скрывая слезы. Я понимала, что это уже в послед-

ний раз. Но я не смела выразить этого ни словом, ни движением, я боялась взволновать его и М. Ф.

В шестом часу утра М. Ф. встала, чтобы проводить меня и дала мне некоторые медицинские поручения.

И я ушла с великой печалью и неожиданной своей радостью из деревянного дома с большими окнами, — чтобы войти в него вновь спустя 3 месяца, когда о. Сергей был уже в могиле. Он скончался блаженной кончиной 2 марта. На похоронах его мне не пришлось быть.

Верея 10/VII 30 г. — Химки 30/VI 34 г.

ПАМЯТИ О. СЕРГИЯ МАНСУРОВА*

Вода, юже Аз дам ему, будет в нем источник воды, текущая в живот вечный (Иоан.4,14). Нет во мне огня любви вещественного, но есть во мне вода текущая и вопиющая во мне: иди ко Отцу.

Св. Игнатий Богоносец

Сегодня исполнилось сорок дней от блаженной кончины дорогого нашего брата о. Сергея — исполнилось то священное сорокадневие, во время которого, по тайноведению св. Церкви, душа усопшего восходит от земли в горняя, чтобы предстать на суд к престолу своего Создателя.

Мы сошлись здесь соединить наши молитвы к милостивому Богу о усопшем. Кто бы ни был преста-

* Слово, сказанное о. Михаилом Ш. на сороковой день в церкви Бориса и Глеба на Поварской. — Прим. сост.

вившийся христианин, как бы ни была богоугодна его жизнь и блаженна кончина, ему не бесполезны на этом пути молитвы земной Церкви, ибо "несть человек иже жив будет и не согрешит, один токмо Бог кроме греха". Для всякого же причастного греху страшно то место, коим проходит разлучившаяся от тела душа к Неумытному Судии.

Омраченный страстными узами плоти, наш умный взор не способен следить за внезапным путем души нашего брата, земные пути которого протекали на наших глазах. Но думаю, что не погрешу чрезмерностью дерзновения, если скажу с уверенностью, что днесь о. Сергей со светлым зраком предстоит Лицу своего Спасителя и приемлется в радость Господа своего. Этому порукой то, что мы знаем о его жизни.

Мне было дано счастье знать покойного о. Сергия более половины его, увы, недолгой жизни. Я вместе с ним учился, мы долго жили вблизи друг от друга у стен обители преп. Сергия, почти вместе удостоились вступить в ряды служителей Церкви. Наши жизни протекали рядом, попутно и близко, и с каждым годом мы теснее сближались с ним в дружбе. Но о. Сергей был мне не только любимым другом — почти с начала нашего сближения он был моим наставником, которого я, чем далее, тем более ценил и чтил.

Земным возрастом о. Сергей был юнее меня, но я всегда ощущал, что по духовному опыту и ведению он был старше, возрастнее меня. Не скрою, что эта разница духовных возрастов все увеличивалась. О. Сергей опережал меня в духовном преуспении и потому все более становился для меня и многих других признанным наставником. Мне дорого засвидетельствовать сегодня тем, кто, как и я, знал и любил усопшего, сколь многим я ему обязан.

О. Сергей был глубокий и тонкий знаток истории Церкви, обладал обширными знаниями неисчерпаемой сокровищницы житий Святых, был широко, углубленно и вдумчиво начитан в писаниях Святых Отцов и учителей Церкви. Ему были присущи редкий вкус к этой области духовного знания и усердие к его приобретению. Каждому собеседнику, в ком он видел малейшие признаки духовной жажды, он с неутомимой ревностью старался привить желание припасть устами непосредственно к этому живонному источнику Христовой истины, истекающему из Церкви. Его беседа всегда была напоена усвоенным им из церковной сокровищницы святоотеческим духом и потому была так поучительна. Но еще поучительней был весь строй его внутренней и внешней жизни.

Когда сорок дней назад я ехал ночью из Москвы в Верею к месту последнего земного упокоения о. Сергия, чтобы отдать ему христианский долг погребения, я старался осознать все, чем обязан покойному. При этом я искал уяснить себе, в чем было духовное средоточие его жизни, которая излучала свет Христов на тех, кто с ним сближался. И вот, всплыло тогда в моем сознании: *о. Сергей любил Бога и все Божие*. Эта любовь была основной движущей силой его духа, подлинною сердцевиной его жизни. О нем можно это сказать теми же словами, какими Церковь ублажает великих святых Русской Церкви, преподобных Сергия и Серафима, которых наиболее задушевно и преданно чтит о.Сергий при жизни: "От юности Христа возлюбил еси"...

С юных лет затеплилась в сердце о. Сергия любовь к Богу и Божьему и ровным незатухающим светом горела в нем всю его жизнь, изливаясь на нас теплы-

ми лучами Христова утешения и назидания. Однако не только о. Сергей много возлюбил Бога. Оглядываясь на его жизнь, безбоязненно можно сказать, что и Бог много возлюбил в нем Своего слугу, наделив его незаурядными духовными дарованиями. *Среди них одно было чрезвычайным.*

Наше время исключительно в жизни Церкви тем, что теперь в испытаниях, страданиях и искушениях нам опытно раскрывается углубленное православное понимание 9 члена Символа Веры "во единую, святую, соборную и апостольскую Церковь".

Церковные расколы, раздоры и шатания, которыми Русская Церковь болеет уже 7 лет и которые не устают возникать до самых последних дней, точно испытуют нашу верность этому камню православного исповедания. О. Сергей был как бы предназначен Господом для этого времени. Ему еще задолго до начала явных шатаний русского церковного сознания в этом вопросе, почти с юных лет открылось ясное понимание православной истины о Церкви. Оно было дано ему, решусь сказать, как бы без труда, без нарочитого усилия с его стороны, точно в непосредственном усмотрении, как откровенное знание.

Это был подлинный Божий дар.

О. Сергей умел видеть Церковь в ее конкретном раскрытии в исторической жизни человеческого рода. История Церкви была для него развертыванием богочеловеческого процесса, осуществлением Царства Божия в душах богоносных человек, — Святых Божиих, — которые восприяли от Спасителя и Его Апостолов и преемственно передавали от поколения к поколению таким же Богодухновенным избранникам опытное видение сокровенных таин Царствия Божия.

Раскрытие и сообщение ближним этой православной истины стало сознательно избранным делом жизни о. Сергия. Он много, и с Божьей помощью успешно, трудился над обширным изложением своих размышлений и исследований в этой области. Задумана была полная История Церкви от апостолов до пр. Серафима и о. Иоанна Кронштадтского, изображенная агиографически. Однако Господь не судил ему завершить этот труд. О. Сергей не успел при жизни придать своему замыслу предположенный вид многотомного сочинения. Но, точно в предведении краткости данного ему срока, он предварительно начертил основное содержание своего труда в сжатом и законченном, тщательно обдуманном очерке, значение которого будет, несомненно, по достоинству оценено православным сознанием. Можно иметь уверенность, что этот завещанный нам плод жизненного труда о. Сергия не окажется без практического воздействия на строй мыслей и душевное устройство тех христиан, которые дадут себе труд его узнать. Как делало при жизни о. Сергия его живое слово, так по его кончине этот его очерк будет прививать читателю желание приобщиться святоотеческому наследию, хранимому Святой Церковью, и в то же время будет каждому надежным путеводителем среди его неисчерпаемого богатства.

Нескудны были и иные духовные дарования о. Сергия: молитвенность, дар утешения скорбных душ, привлечения ко Христу маловерных и неверующих, способность неотразимо сообщать другим тишину мира Христова, невозмутимо царствовавшего в его собственной душе, и, вероятно, иные многие, которые остались мне, а м. б. и другим, неизвестными. О. Сергей не скрывал своих дарований, всегда готов

был послужить ими ближнему. Многие тянулись к нему за духовной помощью. Но он не выдвигал своих дарований напоказ и обнаруживал их только тогда, когда видел серьезный запрос и душевную нужду. Поэтому он, который имел все данные, чтобы быть блестящим и с внешней стороны, был в глазах многих ничем не выдающимся, заурядным человеком: мимо него легко было пройти, не заметив, с носителем какого духа имеешь дело.

Этому причиной была безграничная скромность о. Сергия во всех его проявлениях, — скромность, покрывавшая все его дарования, — скромность, в которой было уже нечто от юродства во Христе.

Эта скромность, впрочем, не была навлечена на себя о. Сергием со вне. Она теснейше сплелась с самым существом его духовного естества. Она окрасила даже глубинное ядро его духовной жизни — его любовь к Богу. Про о. Сергия как-то несоответственно было бы сказать, что он пламенел любовью к Богу. Пламенность не отвечала его природе. Если дозволительно обратиться к уподоблению, когда ум недостаточно пронизателен, а слово слишком немошно, чтобы непосредственно назвать самую подлинность вещи, я скажу, что духовная природа о. Сергия как-то сродни не огненному, а водному естеству, которое образует вещественную основу таинства, сообщающего нам благодатное возрождение к новой жизни банею пакибытия, — тому естеству, которое, по тайнозрению св. Василия Великого (в "Шестодневе"), есть по преимуществу стихия-носительница Жизни, "живая вода" народного эпоса.

Из обоих святых, которые были всего ближе о. Сергию, препп. Серафима и Сергия, он по своей духовной природе был сроднее тому преподобному,

имя которого благоговейно носил. Если пламенность духа пр. Серафима воспевается в тропаре: "От юности Христа возлюбил еси, Блаженне, и Тому единому работати *пламенно возжелал*", то кондак пр. Сергию говорит об этом святом: "Христовою любовью уязвися, Преподобне, и Тому невозвратным желанием последовав..."

Вот так небурное, неуклонное и невозвратное, как невозвратно течение водного потока, стремление вслед Христу прошло через всю жизнь о. Сергия. Источники этой богоносной реки христианского желания — "яко желает елень на источники водныя" — начинаются в самые еще юные лета усопшего, и они не иссякли до последнего вздоха, с которым он отошел к Богу. О. Сергий мог бы сказать про себя словами св. Игнатия Богоносца "есть во мне вода, текущая и вопиющая во мне: иди ко Отцу".

Осуществленное невозвратное желание последовать Христу и идти ко Отцу осватило праведностью жизнь о. Сергия, — сделало его блаженную кончину венцом христианского упования, — превратило его погребение в светлое торжество проводов христианина в вечную жизнь, — а сегодня испытываемую нами горечь от того, что оброк греха — смерть похитила из нашей среды любимого друга и наставника, оно растворяет духовною радостью незыблемой надежды, что о. Сергий, до конца уже очистившись на пути воздушных мытарств, вводится ныне оправданным в наследование царства, уготованного благословенным от сложения мира.

10/IV 1929

О. Михаил Ш.

II

ПИСЬМО О. МИХАИЛА Ш. К ЖЕНЕ Н. Д. Ш.

Друг мой Наташенька!

Еще пишу тебе из Самары, где, по-видимому, пробудем до 24/VI н. ст. Здесь живетсЯ нам недурно. Мы в особой камере для политических. Не тесно, сносно в отношении чистоты и, кроме друзей, недурные товарищи. Боголюбцы в Самаре узнали о нашем пребывании и часто присылают нам передачи весьма обильные в честь сопутствующих нам преосвященных, вплоть до горячей стерляжьей ухи. 24 поедем прямым этапом до Кзыл-Орды (Перовска). Будем в пути 3—4 суток. В Кзыл-Орде получаютсЯ обычно назначения на 3-й день, — не выходя из тюрьмы и с первым попутным этапом отбудем до назначенного нам места. Если назначение будет в сев. или зап. часть края (т. е. Кустанай, Петропавловск, Уральск, Семипалатинск), то будем возвращатьсЯ назад в Самару, и путешествие наше затянется надолго. Если назначение будет в сторону Верного (Алма-Ата), т. е. в Семиречье, то доедем до места скорее. Семиречье вообще привлекает меня более других мест, но главное мое пожелание — не быть разлученным от Вл. Г/ермана/. Но не как я хочу, но как Ты, Господи, волиши, да будет.

Очень утешаюсь книгами, которые Ты мне положила. Свершаю ежедневное правило и подкрепляюсь им. Сегодня встретили идущего нам навстречу в обратном направлении батюшку из Ташкента. Его простота, бодрость и светлость окрылили меня. Какая прекрасная духовная школа — тюрьма и этапное

путешествие. Бог даст и ссылка будет не менее полезна. Как многое я понял за последние 6 месяцев! Сегодня я вспомнил, что мои письма из Бутырок к Тебе не попали, и мне хочется повторить то основное, что я писал в них. В первые недели своего уединения я вспоминал и перебирал в памяти прожитый с Тобой путь жизни, сопоставил с ним мое прошедшее и со слезами благодарил Господа, пославшего мне Тебя для моего спасения. Ты сама, родная моя, не знаешь, сколько Ты внесла света, счастья и надежд в мое существование. Но увы мне. Вместо того, чтобы воздать Тебе за это сторицею, я мучил Тебя неблагодарностью, требовательностью, капризами, гневливостью. Только поняв это теперь, слишком поздно, когда я не могу облегчить и упокоить Тебя, я научился, наконец, с должным усердием произносить прошение вечерней молитвы Иоанна Златоуста: "Господи, даждь ми терпение, великодушие и кротость". Помолись и Ты, да даст мне Господь эти качества, чтобы, когда Он вновь соединит нас, мы жили в мире и в согласии бы воспитывали наших детей. — О малютках наших я покоен. Знаю, что не может для них быть лучшей воспитательницы, чем Ты. Сережа еще года два не будет существенно нуждаться в отцовском руководстве и потому от моего отсутствия он не потерпит ущерба. Тем более девочки. Не смущайся, что Ты бываешь, как говоришь, иногда слишком строга и требовательна к Сереже. Разумная строгость, подвигаемая любовью, — лучшее, что могут родители дать детям. Сережа же достаточно чуткое дитя, чтобы знать Твое напоенное любовью материнское сердце.

О детях я не печалюсь. Печалюсь только о Тебе, п. ч. на Твою долю выпали великие труды и заботы,

которые я не могу делить с Тобой. Да укрепит Тебя Господь и да умножит Твои силы и Твое понимание!

Обо мне много не заботься. Ты так хорошо снабдила меня в дорогу, что я ни в чем не нуждаюсь и долго не буду, Бог даст, нуждаться. Белья у меня достаточно. Здесь в Самаре мы постирали, что было грязно, вплоть до белых подрысников. К сожалению, русские рубашки Ты мне сделала ужасно короткими (до пояса), но под подрысником они сойдут. Серый подрысник тоже немножко коротенок, но очень легок и отлично мне служит.

Только что вернулся из бани. — До свидания, моя голубка. Надеюсь в Самаре получить от Тебя известия (Самарский изолятор Особ. назначения. Пересыльная камера № 33). После 24 мой адрес будет: Кзыл-Орда (Казахстан) Дом заключения. Целую и благословляю Тебя и детишек. Привет всем родным и близким. Твой М. Ш.

*

Турткуль, 27/IX—10/X — 26

Несколько спешных и невеселых слов, мой друг, с неожиданной оказией. Прежде всего — получил вчера Твою посылку и кипу Твоих писем — пять, начиная с августовских. Вот секрет, почему я их не получал и томился сердцем: где-то они встретили плотину. Эти письма перевернули мое сердце и я мучительно о них думаю. Но не в спешных строчках на них отвечать. Сделаю это завтра обычным почтовым путем. Сейчас потороплюсь только сказать, что во всем Твоем горе и смущении, которое, как мне кажется, имеет призрачную (в некотором отношении) при-

чину, виню одного себя и исповедую свои вины. Но об этом завтра. Сегодня шлю Тебе другую тяжелую для меня весть: я остался в Турткуле из православного духовенства один. Остальные сегодня в ночь увезены ниже по реке на лодке. Вл. Герман и Валер /проп./ — в Ходжент, Скворцов — в Кунград, остальные батюшки в Чимбай. Остались только я и Мещерский. Меня было взяли да потом отпустили, очевидно, п. ч. живу далеко от города. В том, что я остался, есть оч. тяжелая сторона: не будет служб. Все антиминсы увезены уехавшими, т. к. мне, диакону, они не могут быть нужны. Мне оставили запасных даров, на 1/2 года Бог даст хватит. А там, если Богу будет угодно, Ты мне привезешь. Вот из-за этого благодарю Бога, что остался: — если бы меня увезли, надежды на Твой приезд весной почти бы не было, т. к. добираться из Турткуля вниз по реке трудно, с Сережей совсем невозможно. Грустнее еще будет моя жизнь, одиноче, без друзей, без радостей общей молитвы и Божественной Литургии. Но Бог даст сил и укрепит. Молись обо мне, Наташенька!

Пиши чаще. С Твоей и Божьей помощью постараюсь не терять бодрости в этом новом нелегком испытании.

Целую и благословляю Тебя и детей.

Не покидай меня, Наташенька, любовью, дружбой и духовными указаниями. Твои письма, от кот. мне было больно, принесли мне много пользы.

Какая радость, что пр. Сергей посетил меня как раз в эти тяжелые дни!

Христос с Тобой

Твой М.

Посылаю Тебе, друг мой, полученное сегодня для Тебя письмо. На ту же тему Вл. Герман пишет и мне. Он немножко одергивает мое высокоумное стремление воспарить выше своей меры и напоминает о неизбежной и законной нашей связанности с землей. Действительно, пройти свой скромный путь со смирением и самоукорением угоднее Богу, чем не рассчитывая сил подсакивать вверх, чтобы потом падать и увязать в низинах. Я понимаю наставление пр. Германа так, что следует ставить перед собой, как непрременную задачу, только смирение и самоукорение, а все остальное, чего бы хотелось достичь, с Божьей помощью приложится само собою в меру духовного роста и очищения сердца покаянием. В последнем письме своем (№ 11) Ты и сама близко приходишь к этому выводу.

Не будем отстранять от себя мысли о том образе супружеской жизни, к которому тянется Твоя и моя душа. Но и не будем возлагать на себя бремена неудобноносимые (о себе говорю), чтобы не впасть в худшее, а в меру, Богом данную, станем соблюдать Его заповеди. Помоги, Господи!

Пишу Тебе сегодня коротенко, п. ч. в конверте не будет места для большего. Письма Твои приносят мне дыхание такой великой и чистой любви, что с ними я не горюю о нашей разлуке. Радуюсь Твоему духовному устроению, но скорблю о премногих трудностях Твоей домашней жизни. Хотелось бы облегчить их хотя бы денежно, но все еще получка задерживается. Квартиру, кажется, надо снять на Рыбинке. Лучше побережься от тех искушений, кот. возможны при поселении у Ф.

В последнем письме я, вероятно, огорчил Тебя относительно неладов в нашей коммуне. За последние дни, слава Богу, наступило примирение, — Ты очень утешила меня известием, что духовное состояние моей матери улучшилось. О Лиле хотелось бы мне знать от Тебя больше. Стала ли Ты мирнее в отношении к Ваве? Рад за нее, что Ваш общий разговор с ней и Лилей на болезную тему прошел без обид. Олино замужество по неправдоподобию похоже на сказку. Чрезвычайно за нее рад. Поздравь ее и Сп. Бор. от моего имени. Во время нашего краткого знакомства он мне показался хорошим, серьезным внутренне человеком.

Храни Тебя Христос и Его Пречистая Матерь вместе с нашими детьми.

С любовью

Твой М.

ПИСЬМА ВЛАДЫКИ ГЕРМАНА *К О. МИХАИЛУ Ш. И Н. Д. Ш.

Канун отдания Пасхи 1927 г.

Спасибо сердечное, дорогой о. Михаил, за ваше письмо. Радуюсь вместе с Вами, что Вы теперь в кругу своих и еще более сорадуюсь тому радованию, какое теперь входит в душу Вашу как благодатное зерно духовных озарений и способностей вхождения вглубь и земного и небесного. В послании к своему любимому ученику Тимофею ап. П. так определяет сущность этого "дара Божия": "Дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия". Т. о.

*По всей видимости, Ряшенцев. — Прим. сост.

это венчание ограждает (нрбз) душу прежде всего от тех постоянных колебаний, своего рода стыда и неловкости, какая бывает почти у каждого из нас при разрешении и тем более обнаружении наших верований. Эти колебания как известный соблазн ума или воли остаются, но глуби сердца, из которых исходит самое решающее и влияющее и на ум и на волю, ярко озаряются тем светом, какой никогда не забывается и который можно или полюбить или отвергнуть, но никогда не забыть. Это является питающим началом той "силы" и прочности убеждений и твердости воли и верности Господу сердца, какая, не насилуя, влечет к Богу не только душу самого пастыря, но и души отданных его водительству. Этот "дар Божий" раздвигает узкие и тяжелые рамки личности и тем более уродливых ее отклонений в форме самолюбия, замкнутости, черствости сердца и вливает в нее то победное начало любви, какое из многих личностей делает соборную личность — Церковь, соединяет небесных и земных и Бога делает всяческим во всех. Человеческому сердцу в сфере благодатного воздействия на него этого дара возвращается нормальное чувство сострадания, постоянного стремления служить другому, а не себе и независтного расточения всего своего, как Божьего и всем, как Божьим детям, принадлежащего (конечно, разумею гл. об. ценности не матер., а дух. порядка по преимуществу). В этом благодатном Б. даре возвращается человеку наконец то внутреннее здоровье, какое так очаровывает нас в невинном ребенке и глубоко умиляет в чистоте и нетронутости взрослого. Это не только чистота как отсутствие вспышек похоти и безумства плоти, а именно та цельность души, внутренняя гармония и согласие ее сил, без которого немислимо

подлинное, всепроникающее целомудрие. Вот как много Вы теперь получили, что, однако, необходимо всегда возгревать не только молитвой и трезвением, но гл. об. постоянным стремлением служить всем этим нашим ближним. Как подвиг брака и те силы, какие даются от Бога для его свершения, познается, конечно, на протяжении фактического его прохождения и фактического выполнения всех его функций, так, конечно, и дар пастырства и силы его развиваются и одухотворяют и плотность нашу и душевность в процессе действительного служения данной от Бога пастве. Сейчас многое для этого у Вас будет отсутствовать, но это должно только направить духовную энергию данного теперь Вам от Бога в сторону проникновения (особенно через стояние и участие в трапезе) в небесное и неизреченное. К этому неизреченному отчасти относится, по-моему, и вопрос о радости, какую мы жаждем и просим у Бога и которая, когда приходит, как будто удаляет нас от Него, и скорби, против какой всегда протестует наше существо, и которая, однако, несомненно более для нас полезна. Псалмопевец довольно ясно указывает, какая радость плодотворна для души, когда говорит, что надо "работать Господу со страхом и радоваться Ему с трепетом". Когда в наших радостях нет этого священного трепета, как ощущения дыхания особой милости и снисхождения к нам Бога, то радость даже из разряда чисто духов. переживаний (напр., радостное состояние после или во время молитвы) становится душевным явлением или просто земной радостью, если и без грубого элемента греховности, то в яркой окраске плотности и немощи нашего естества. Такое состояние, конечно, ослабляет то радование, какое несет с собой или скорбь ради Господа

или вообще земное злострадание, испепеляющее или нашу плотность или греховную самость. Мне кажется, Христос никогда не требует от нас, чтобы мы подавляли или отсекали "всякое житейское радование". Я не думаю, что греховно, когда я с наслаждением дышу чистым, напоенным ароматом цветов воздухом, когда я радуюсь восходящему солнцу и т. д.; когда радуюсь, чувствуя глубями своего сердца во всем Того, Кто начало и конец всему; но все это и другое, что питает наше житейское радование, может стать бесполезным и греховным, если это не будет в душе поднимать этого тихого веяния благодарности к Богу и благоговения к Его милости. Его же милость всеобъемлюща и охватывает весь мир, и все наше существо, как тело, так и душу и дух наш. Мне кажется, можно и в радости житейской радоваться о Господе, можно и в скорби не почувствовать Господа и впасть в отчаяние и дух. оцепенение. Для более сильных, конечно, возможно, более полезны скорби, т. к. в их преодолении и раскрывается в них данное им от Бога и углубляется, если можно так сказать, их естественное богопознание, а потом, конечно, скорбь почти всякого заставляет почувствовать то, что иногда мы забываем: временность и несовершенство всего настоящего — и сильнее потянуться к вневременному, где истоки всего живого и действительно радующего.

Вот кратко Вам отвечаю на Ваши вопросы, оставляя за Вами право снова спрашивать, чтобы снова с Вами говорить о том, что полезно и для настоящего и для будущего.

Сказанья солов. отцов у нас нет*. Ч. давно ничего не говорил, б. м., немного обиженный моей косностью в переписке, которая была вызвана приездом гостей и недосугом. Из Самарканда, кажется, к Вам едут новые туристы; б. м., и из нашей братии кто-нибудь захочет посмотреть новые края. От маленькой Тани нет до сих пор известий, а моя Т. в (Богослова?), когда, по-нашему, она должна быть уже в М., запрашивала, почему я уже второй месяц не пишу. Все наши здравствуют и приветствуют Вас. Да озарит Господь сердце Ваше светом любви своей и тем миром, ради которого можно нести всякую скорбь и радоваться всякому испытанию.

Прошу молитв.

*

Так близко Вы теперь, Н. Д.! И так радостно и за о. М., что Вы в наших краях! Хоть и не вижу Вас глазами, но ощущаю сердцем и чувствую, как близко к нам подошлась та стихия, близкая и далекая в одно и то же время, какая нас всех часто соединяла около Преп. С. Как хорошо Вы сделали, что оторвались на время от своих обычных мест и занятий и принесли столько тепла туда, где люди иногда грубеют без этого или приобретают болезненные сдвиги, трудно ценимые в обычной обстановке. К о. М. это не относится, но и он еще растет и долго еще будет, мне кажется, искать то неизменное, на чем успокаив-

* В письмах Владыки Германа много иносказаний, зашифрованных фактов и сведений. К сожалению, мы не располагаем возможностью прокомментировать их. В данном случае, речь идет о соловецком послании "заключенных православных епископов" 1927 года. — Прим. сост.

вается душа, хотя и сейчас уже имеет и любит "единое на потребу".

Я с глубокой грустью сначала в Самаре, а потом в Т. К., расстался с ним, так как, благодаря Вам, он оч. доверчиво относился ко мне, несмотря на все мои недочеты, и от этой сердечной близости мог многое я получить. Если бы пришлось нам вместе возвращаться, то это было бы радостно именно поэтому. Я бы дышал той атмосферой, которую, кажется, особенно люблю и ради чего (Пионерская?) и Сергиев всегда останутся моими любимыми местами.

Слава Богу, что так хорошо Вы относитесь и к теперешней Вашей радости и ко всему тому, что выпало на Вашу долю. Меня глубоко трогает и то, что Вы считаете полезным наше знакомство с о. М.

Б. м., Господь для того и разъединил нас, чтобы не омрачать этого какими-либо житейскими мелочами, какие в наших условиях часто кажутся огромными и убивают взаимную любовь, и чтобы неизведанность еще нашего внутреннего достояния и впоследствии делала наши встречи и желательными и радостными.

На Конст. и Елену именинник наш о. М. (а Ваш не в этот ли тоже день), и мы помолимся, чтобы Господь запечатлел Своей благодатью Своего нового служителя. Желаю Вам благополучно и с Господом вернуться к себе. А мы уж за Вами будем торопиться.

Христос с Вами.

Сережу целую и благослов.

*

Канун праздника в честь Влад. иконы М. Б.
(получ. 5/VIII – 27)

Вчера получил Ваше письмо, дорогой о. Михаил и радостью возрадовался, что в день Живоначальной Троицы, день светлой радости для всякого верующего и нарочитого торжества для живущих под кровом обители Препод. Сергия, совершилось давно чаемое*. Что касается дух. смысла этих неоднократных отсрочек, то я думаю смысл их двоякий: 1) всякое доброе дело с трудом стяжается и второе и самое главное то, о чем говорит апостол Павел в Послании к Евреям (12, 18, 26). Это должен помнить всегда каждый из нас и особенно в то время, когда, окружающая нас жизнь является как будто живой иллюстрацией последних из цитируемых слов апостола.

Что касается того, что нельзя было выполнить Сорокоуст, то это не всегда удается даже в строгих обителях и смущаться этим в условиях нашей жизни не приходится. Закрепление благодатного настроения в обстановке нашей жизни совершается и иными путями, чем обычными в нормальной обстановке оседлости и т. п. Вы, конечно, знаете о синдикате М. С. и о том, что ему выдан патент. Многие полагают, что можно бы и, пожалуй, лучше жить и без синдикатов и патентов, но я думаю, что это необходимо для середняка и бедняка и раз это совершилось, то не без воли Божией и, быть может, это первое как бы знамение, что начинает сокращаться попущенное всемогущество воздушного и не надо, отвергнув терпение и радость тесного пути, низко, в унынии опус-

* Рукоположение во иерея о. Михаила. – Прим. сост.

кату голову. Думаю, что, быть может, это явилось результатом творения отцов-исповедников обители Зосимы и Савватия*. Это замечательное слово, какое золотыми буквами должно быть записано в сердце каждого христианина, так поднимающее дух, достигающее такую хр. прямооту, цер. разумением Христовой истины и всего бываемого, недавно мы читали, восхваляя Господу за то, что через страдания Он порождает здесь на земле нечто от вышних, запечатленное несомненно Духом Святым. Какую светлую бодроту должно это вливать в сердце каждого путника и пришельца на земле сей! Да будет Господь милостив к островитянам и особенно к тому из них, кому на сердце взошли эти чистые и сильные своей правдой истины о Церкви Православной.

Алеша Верховцев навлек гнев Сержу, хотя и сам, кажется, действительно кое в чем погорячился, но все же удалять его куда-то в Рыльск, да по прежнему шаблону без суда и, еще хуже, быть может по желанию известной Вам Женички, это, конечно, вопиющее безобразие, и я на его месте просто ушел бы в отставку и остался бы со своими детьми. Сейчас там целая каша и я отнюдь не желаю, чтобы она была расхлебана. Эту манеру надо оставить прежнему ц. быту и забыть ее раз навсегда вместе с ним.

Что касается "корки", то хотелось бы мне, чтобы Вы были правы, что я или возвожу на себя напраслину, или это необходимо для воспитания в себе духа действительной кротости и безгневия.

Я почел бы большой радостью ехать вместе с Вами. Мне кажется, что придется приехать к Вам, по-

* И здесь речь, по всей вероятности, идет о "Соловецком послании". — Прим. сост.

том на автобусе в Чимкент и тем же способом на К. Орду. Но одна дорога до К. О. станет таким образом около 100 руб; но и зимовать здесь тоже не особенно хотелось бы. Будем надеяться, что Господь устроит это все так, как лучше для нас обоих. Передайте мой привет святителям и братьям. Мы все благополучны. Да хранит Вас Христос. Будете писать Н. Д., привет от меня. Мир Вам.

Быть может, Пр. Митрофан не успеет написать Вам; ему крайне необходим *веронал* (?), которого здесь нет. Не пришлете ли его ему?

*

День Трех Свят. 1927 г.

Спасибо сердечное за Ваше милое подробное письмо. Я уже стал беспокоиться о Вас и не так давно послал Вам открыточку по прежнему адресу. Слава Богу, что у Вас по-прежнему, хотя Вы, бедненькая, видимо, оч. устаете. Тем дороже мне те строки, какие тоже очень живо дали мне почувствовать Ваших близких: малых и больших. Вас я всегда одинаково чувствую и радуюсь, что не иной, а такой же, какой Вы впервые со мной встретились. Это действительно одна из тех встреч (одна обстановка чего стоит!), когда из таинственных недр беспредельности встретились около Него два дотоле незнакомых друг другу человека и стали родными. Ведь в Нем даже параллели сливаются. Иногда люди сами ищут встреч, добиваются их, повинувшись велению зародившегося чувства или с какой-нибудь опред. целью, но здесь ведь все было, по-видимому, выражаясь чел. понятиями, случайно, но эта "случайность" была необходима для обоих, чтобы друг через друга и не где-то даже около, а в себе самих увидеть этот Дивный Лик,

который уж никогда не забудешь. Бывают такие моменты. Чьи-то таинственные всевидящие Очи с бесконечной лаской любви заглянут тебе в душу, и все заулыбается им навстречу, засветятся самые темные бездны неразгаданного и смутного, смолкнут вихри земного и преисподнего, и все твое существо как-то разом войдет в область сверхвременного и неизмеримого, где так все просто и ясно, где такой светлый и блаженный покой... Вот видите, в чем Вы виновны передо мной и здесь уж никакие объяснения не помогут. Спаси и сохрани Вас Господь.

Вы так живо представили мне всех Ваших, что я как будто воочию всех вас увидел так, как бывало в Посаде у В. Т., или у старца (М. с Сережей), или тогда, когда Вы провожали нас в далекий путь с крошкой Лизой на руках. Не эта ли грусть, которая невольно заставляла Вас искать тогда особенно ободрения и покоя у Него, и отразилась и вошла как определенная стихия в душу ребенка и так ярко выражается в ее тяге ко всему святому и священному?.. Дедушка, которого так любит Миша — это Дмитровский, тот что жил, а б. м. и теперь, в Меленках? Я его оч. и до сих пор сердечно люблю, хотя и не разделяю образа его теперешнего жития, как того "отъединения" или даже "уединения", о каком с таким гневом говорил Достоевский, как о явлении исключ. почти интеллигент., чуждом простой смиренной вере народа, не осуждающей даже греха и жалеющей как несчастного или больного павшего в него. Это уединение страшно еще и тем, что почти гарантирует от всех путешествий и замыкает человека в круг оч. немногих избранных и не всегда Богом. Я считаю более безопасным в дух. отношении и правильным в каноническом смысле идти за плугом даже в том слу-

чае, когда хозяин его своими ли слабостями или резкостями лич. характера затрудняет работу. Что это работа, несмотря на многое несовершенство, как самих работников так и их инструкторов, все же Б. работа — об этом ясно свидетельствуют самые глухие уголки Севера и других наших окраин, где часто почти в букв. смысле повторяется то, что сказано в 36 и 37 ст. апостола, который читается перед Р. Х. Нелишне, думаю, б. м. это интересно вспомнить и о. М., привести выдержку из одного письма старца Амвросия Оп. "Думаю, помните Вы сами церк. повесть, когда один св. пресвитер молился Богу, чтобы избавил город от епископа, отягчавшего город разным *неподобным настроением*. В ответ на его усерд. молитву пресв. услышал голос: для этого города *нужен был епископ еще худший*. Мое грешное мнение: если бы каждый из членов, или по кр. мере многие, составляющие общество ваше, вместо ропота, обратился к Богу с усерд. молением и исповеданием немощей своих и желанием впредь направляться к стезям монашества (письмо к монаш.) по силе и возможности, то скорее бы, кажется, благоволил Всебл. Господь изменить глав. вину настоящей тяготы и неудобства и чрезмерной общей скорби"... — люблю, как знаете, оч. Сережу Мор. и очень скорблю и негодную на всякие резкости Сережи Митр. и товарищей его, но все же полагаю лучше принять на себя поношение ревнующих не по разуму и остаться, "стр. с народом Божиим", чем самому поносить и судить и самому сходить с того Креста, на который (по словам явившегося некогда св. Митроф. своему преемнику, тоже свят. епископу Антонию (Вор?), "восходят, но с которого не сходят, а снимают". Все эти отъединения, уединения, коринфские споры об име-

нах и формулах по-моему только углубляют взаимное непонимание и вражду, а путь к выздоровлению не в этих красив. позах и не в негодовании, какое едва ли приближает к нам правду Б., а в том, о чем выше говорит батюшка Амвросий, чему и я хотел бы по силе своих немощей следовать в дальнейшем. Простите, что так распространяюсь по этому вопросу; но почему-то эта часть В. письма заставила тоскливо сжаться мое сердце, хотя я, как и вы "твердо уповаю, что это временное".

Что Сережа Ваш больше похож на девочку и в некоторых отношениях "совершенно младенец", конечно, не плохо, а хорошо. Вообще мне кажется ничего в детях не надо форсировать, а рел. нрав. стихию надо поддерживать примером и всем тем, что обычно называется обрядом, чем-то как будто внешним, даже с точки зрения иных ненужным для истин. религ. роста. Зажжен. лампадка, образочек в изголовье, благословляющий крест отца или матери на сон и со сна, если возможно, хоть кратенькие общ. молитвы — это все такая сила, при искр. религ. родителей, какую никогда не вытравят все хоть и сильные, но пустые ветры модных настроений и безверья. В воспитании я сторонник дисциплины, но согретой любовью, которой у Вас в сердце хватит не только на своих близких и родных. Но хорошо знаю, как вредна одностор. строгость и требовательность и "покорную съезженность" знаю из своего детства. Надо по пословице: строгостью не ожесточать, ласковостью не расслаблять. Конечно, власть над душой ребенка любви более могуча, чем одна разумная, но часто холодная дисциплина. А вот с раздражительностью и нетерпеливостью всячески надо бороться, так как это страшно портит характер детей, да и тех, кто

раздражается. Я по себе знаю, как во многом была испорчена моя нерв. система с детства благодаря горячности и нервозности моей матери (у ней было нас 8 чел.). Насколько ее горячность обижала, настолько впоследствии ее кроткая снисходительность стыдила и от многого удерживала. Конечно, хорошо об этом рассуждать, да не легко это делать. Сам этим недугую, но все же согласен с Вами, что Господь может обратить в пользу не только немощи наши (это ведь немощь), но даже и грехи. Помогите Вам Господь во всем и в этом. О. М. крепко целую. Здесь со мной о. Ар. Державин-Капельский, с которым его вспоминаем. Я здоров и нервами как будто окреп. О себе пока не напоминаю. До весны проживу, а там что Бог даст. О всех Вас всегда молюсь, а когда, как сегодня, трапеза, то и сугубо. Христос с Вами.

*

День Смоленской и Св. Питирима Тамб.

Спасибо Вам, Н. Д., за письмо, писанное на пароходе. Хоть и много грусти в этом письме, но мне как-то все казалось, что вижу оживленную группу на верх. палубе: дедушку Ник., обсуждающего план охоты на тигров, и никак я не мог захватиться от этой Вашей грустью, в какой не так-то много действительно печального. Хотя отнюдь не разделяю воззрений тех, кто психологию называет теперь рефлексологией, но у нас много этих ненужных и вредных рефлексов, которые делают нас по большей части или недовольными или бессильными перед теми волнами разъедающего самоанализа, какой отравляет всякую естественную радость этой жизни и часто

уменьшает темп и движение тех духовных утешений, какими Господь по своей воле нас обвеселяет. Относительно "лучше и чище" не только в Вашей конкретной постановке, но вообще в смысле оценки тех затруднений, какие стоят на Вашем нравственном пути и какие, по Вашему мнению, могут сделать Вас плохой подругой Вашему мужу, укажу Вам на маленький эпизод из жизни пр. Макария Алкс. На его помысл о том, что он многого достиг, было откровение, что он по дух. построению и жизни гораздо ниже двух замужних женщин. Когда он разыскал их и настойчиво расспрашивал, какие подвиги они несут, то узнал, что они живут вместе со своими мужьями, разделяя с ними ложе, хотя между собой не родные, никаких подвигов абсолютно не несут, но только никогда не ссорились друг с другом и никого не осудили. Т. о. это как будто неприметное смирение делало всю их жизнь как бы постоянной молитвой и каждое их обычное дело становилось своего рода служением Богу. Так и в Вашем положении, при куче детей и обычных заботах матери и хозяйки (а это тоже ведь Божье все, как и заповедь возделывать рай), трудно держать внешнее молитвенное правило, но ведь сущность молитвы не в словах, поклонах, иконах и т. д., хотя все это необычайно важно, а для некоторых даже необходимо, сколько в постоянном хождении перед лицом Божиим в благоговействе и смиренном радовании своего духа. Это же, б. м., сильнее может захватить все существо Ваше, когда Вы, как мать, смотрите в невинные глаза Вашего ребенка. Никогда, быть может, Вы так прочно не воспитаете в себе заповеданного нам терпения и сострадания, как проводя бессонные ночи около тех своих ребят, выполняя и сострадая их нуждам, заботясь о их духов-

ном росте и т. п. У апостола Павла так ясно и глубоко указан путь Вашего и всякой матери спасения: 1) страдание чадородия, 2) эта самая терпеливая любовь и 3) целомудрие. Раз все это есть, то Вы на верном пути и все духовное придет в свое время, и есть, и растет, и, конечно, не может умалить всего этого, если Вы при подвиге матери имеете и чисто человеческие телесные радости жены. Когда они входят как момент во все то сложное духовное, чем полна Ваша жизнь, то они так же естественны и необходимы, как для нашего дух. роста необходимо наше тело и наша настоящая земная жизнь. Спасибо Вам за пожелания. Жара теперь свалила и стало легче. Если придется мне вернуться, то, вероятно, московский климат покажется и сырым и холодным. Ведь мы теперь так набалованы солнцем и теплом. Помогите Вам Господь дожидаться о. М. и вместе с ним и Вашей дом. церковью радовать всех нас и Господа. Да хранит вас всех Христос.

*

(Получ. 17/30—VII — 1927)
День Смоленской и Св. Питирима Тамб.

Спасибо сердечное, дорогой о. Михаил за двойное письмо. В том и другом слышатся те грустные нотки, какие как диссонанс неминуемый, а м. б. и аскетически необходимый, всегда почти и у всех вплетается в те нравственные настроения, какими звучат мелодии многообразных переживаний на всем протяжении жизни. Мы, и б. м. мы, живущие теперь, по преимуществу, утратили равновесие и нормы духа и тела и потому все наши радости или неполны, или

отравлены неминуемой реакцией с той или иной стороны. Цель каждой чел. жизни в данной телесности найти бисеры неизменяемой духовности или благоукрасить все текучее и изменяющееся. В браке и его радостях это, б. м., гораздо сложнее, чем в безбрачии, но отнюдь не труднее. Нет греха в наслаждении смотреть на небо, усеянное мерцающими звездами, мы не окаеваем себя за то, что наша грудь с жадностью дышит чистым, прохладным воздухом и т. д. То же должно быть и в иных потребностях и их удовлетворении нашей телес. природы. Они становятся опасными, когда становятся как самоцели, как главное и превалирующее. Сон, еда и другое необходимы, но, конечно, они при напряженных и высоких требованиях духа часто становятся на пути его переживаний и мы чувствуем немощь нашей плоти. Так, мне кажется, надо смотреть и Вам, не расхолаживая горячности своего духа, на все то, о чем писали и Вы и Н. Д.

Вы, конечно, отлично знаете, что можно читать ежедневно полунощницы и т. д. и быть оч. посредственным христианином и можно делать как будто самое обычное серое повседневное дело и быть выше пустыльников, все время посвятивших подвигу и молитве (пример Макария Алекс., посланного поучиться христ. жизни у двух замужних женщин).

Никогда не надо, по-моему, назначать себе молитвенных программ, но надо непременно вырабатывать в себе постоянное памятование о Боге и вечном, и дух сокрушения и сострадания. Все это не так-то скоро удается и никогда почти не приходит с "соблюдением". Что же касается методов и средств к этому, то они до бесконечности, как знаете, разнообразны; поэтому одному одно, другому другое — всем же осо-

бенно необходимо смирение, которое как сущность и плод покаяния и послушания выше поста и молитвы.

У нас все по-старому. Валя очень интересуется теми веками, какими приходится идти у Вас в Т. К. после окончания срока. Этим путем уже прошли Т. Ник-р и Вы напишите об этом поподробнее. Правда ли, что Неуд /?/ все еще у Вас. Пример Арси /?/ и Н-ра говорит о том, что надо помышлять не об авто или верблюде, а о том граде С-азии, где лучше поселиться. Господь устроит путь каждого из нас, а пока будем терпеливы и бодры духом, так как Сам Господь поставил нас на путь, который завершается Его Царством.

Привет А. Н. и остальным. Наши тоже кланяются.
Мир Вам.

*

(Деревянск, Коми ССР)
12 декабря 31 г.

Н. Д. Ш.

Не так давно послал Вам письмо и на днях получил от Никодим. спутника. К сожалению, я не помню его московского адреса. Радуюсь, что он заботится о своей храмине и живет около своих деток. Он не меньше меня знает, как трудно жить по всем правилам гигиены. Эти микробы и незаметны и живучи и постоянно приходится бороться с этой скверной. Это жало в плоть, а нам хотелось бы быть чистенькими, что очень хорошо, но часто вокруг нас образует атмосферу какого-то холода и эгоцентризма. Нансен в свое время, когда пытался открыть северный полюс, целый год провел в нечеловеческих и антигиг. условиях, однако

это нисколько не убавило его дух.-культур. веса, еще более разожгло в нем жажду новых знаний и новых устремлений и тем самым еще более увеличило его ценность и дух. рост. Не то бывает и с нами, хотя и в других областях жизни и иных устремлениях. Было бы желание и сознание своей болезни. Это главное, но часто не в наших сроках. Я слышал, что Вл. Никодим живет тихо у себя в Костромской губернии. Разыскал недавно я Наташу и В. Т. и сколько взаимной радости от одной только письменной встречи! Не теряю надежды встретиться и с Вами, если это нужно для нас и вечности. На Филарета я кончаю. Что буду делать дальше не знаю. Напоминать о себе не хочу. Думаю, что пробуду здесь до весны. Очень плохо здесь с почтой. Посылки где-то застряли, но не хлебом одним жив человек. Для этого мы и здесь. Сурово, но здорово. Я здоров и бодр духом. Сердеч. привет и благ.

*

9/IV — 31

Сегодня месяц, как начался новый этап моей скитальческой жизни. От прежнего места я теперь подался еще на сто четыре километра в глушь Зыр. края. Село Вочь, Усть-Кулум. района. Еще не видело, кажется, за все время своего существования, прав. Кира /?/. Народ грубоватый, серый, мало и в свое время и особенно в последнее согретый вся немощная врачующей силой, так как большинство беспоп.-староверы, ничего не разумеющие, конечно, ни в доникон., ни в посленикон. православии. Но все же по иронии ли судьбы или, вернее, по действию Пром. и первое

обиталище и теперешнее у бабушек-староверок и первая помощь опять-таки от них и от пришлой старушки нищей, какая оч. трогательно не столько словами, сколько руками (стала гладить меня по голове, что-то трогательно и жалостливо приговаривая), выражала нам сочувствие, когда мы, совершенно измученные, в понедельник 23 добрались до Вочи. Все сто км пришлось идти по сыпучему, часто по колону, снегу, в очень сильную мятель. Я удивляюсь, как я дошел. Своей слом. ногой прежде я с трудом осиливал 15—20 км. Очевидно, Тот, Который привел меня сюда, послал и крепость, и спокойствие духа, и терпение, и благодущие. Очевидно, надо мне не только посмотреть чужое горе, но и самому пожить так, как живет большинство, не имеющих Града. Все почти вещи и продукты остались на прежнем месте и едва ли скоро я их добуду. Почта здесь есть, но нет уже телефона и парох. пристань от нас в сорока верстах. И летом трудно отсюда выбраться, и к моим сверхурочным четырем придется, вероятно, прибавить и много других. Но в условиях настоящей моей жизни лучше смиряется душа и заметнее все Божье... Бездомные оч. тепло меня встретили, и моя девятка многих, видимо, ободряет и примиряет с посланным и им. Дорога портится, и едва ли скоро буду иметь возможность писать Вам, поэтому примите мой привет к Светлому дню и не забудьте нас своей радостью. Здешний Сион бездействует. Адрес обл. Коми и пр.

*

п/о Деревянск Коми области, 12/XI — 31 г.

Очевидно, Господу угодно было, чтобы моя от-

крыточка "удивительным образом" нашла Вас, а Ваша ответная нашла меня, хотя я теперь в 600 верстах от В. Устюга. После Премудрой Софии и ее непорочной уневестившейся Христу троицы я оставил красивый Устюг и на свой счет, как обычный путешественник, отправился в св. удел Великого Святителя Стефана. Не радостно было оставлять намоленный еще до нас наш уголок и очень добрых старичков. У нас было убого снаружи (ветхая столетняя покосившаяся и вросшая по окна в землю изба), чистенько внутри, тихо, уединенно, благодатно. Я, кажется, писал, что я встретился в Устюге, и потом жил там и живу здесь с келейником и учеником старца Сх.-Ар. Гавриила и с ним же в числе очень многих (среди них оптинские о. о. Федот и Макарий — духовник) поехали сюда. Хотя в Котласе, а потом и в У-Сысольске пришлось в студеные дни и ночи (4 суток) ждать пароходов и претерпеть некоторые неудобства и маленькие отступления от обычного, но это восполнилось свиданием с друзьями по Москве и знакомством с живыми горячими любовью и верой братьями и сестрами. В Куломе мы пробыли не сходя с пристани всего несколько часов, и так как ранее нас сюда прибывшими же из Устюга был занесен тиф, то нас направили в большое (560 домов) село Деревянск (25 в. от Кулома, ближе к У-Сысольску, и в 150 от последнего), куда мы и приехали за два дня до Покрова. От Устюга путешествие продолжалось 12 дней. Путешествие по красивой Вычегде (впадает в Двину около Котласа; на ней и У-Сыс. и Дерев. и Кулом.), гл. обр. среди зырян было, несмотря на многие неудобства, не неприятно, а впечатление от тех, среди которых предстояло нам жить, было самое доброе. На свежего человека бросается в глаза

их жизнерадостность, сердечность и отзывчивость, несмотря на их скудость. Здесь даже и теперь глубоко чувствуется красота и широта той нрав. стихии, в какую вовлек их один человек, победивший их силой своего терпения, кротости и любви. Мы первое время жили у двух женщин, какие имели несчастье быть когда-то зажиточными. На наших глазах им приходилось платить непосильную дань этому прошлому и мы, говорю гл. обр. о себе, положительно изумлялись их спокойствию, упованию на милосердие и помощь Б. и удивительной нежной предупредительности к малейшей нашей нужде, а б. м. даже и капризу. У них, с одной стороны, и днем и ночью много мешал нам писк и гомон малышей, а потом к этому присоединились стоны и бред больных и умир. от /тифа?/, который сюда завезли наши ссыльные. Весь дом был взят под лазарет, и Господь еще лучше устроил нас в другом месте. Хотя здесь очень трудно и с продовольствием (кооп. дает нам по 6 кг муки и в ничт. количестве круп и сахар), нет керосина, все молоко законтракт., почти не достать картофеля, хотя его много у жителей, но и здесь "невозможное у людей становится возможным у Бога". Хотя с мая я уже на 8 месте, но все грустное, тревожное, физич. тяжелое, морально безотрадное, надрывающий вид людского горя и страдания (о, я посмотрелся здесь на так назыв. "вольной высылке" гораздо больше, чем там, где был до мая), режим подневольного голода, отрыв от своих и т. п. в конечном итоге дали душе так много положительного, что у меня стало меньше усталости, какая не только телом, но и душой моей стала овладевать в растлевающей атмосфере приморского Севера. Много интересных наблюдений я сделал и над теми, кто в своей ревности уходят дальше,

чем муж Еф. Ник., за которого часто теперь трудится мой Казак. спутник. У Зосимы я территориально и как сослуживец и работник в одном и том же производстве оказался в центре кафаров. Мне было тоже оч. нелегко расстаться с Кемью, где у меня было много друзей, и условия жизни меньше всего напоминали о том, где я, но на острове я понял, что Господь это сделал для того, чтобы я проверил свои церк. позиции и утвердился в том, в чем мы были единомысленны с братом родной и любимой Вами Елены*. Разве он теперь иначе мыслит или Марос. Студиты теперь не спешат сурово судить того, с кем можно не соглашаться, за кого можно и должно болеть душой, но не судить раньше Суда или по крайней мере раньше Того, кто не без Промысла носит имя Кифы? Мне в последнее время там, а потом и на распутьях настоящего моего скитанья приходится жить среди не десятков, а гораздо больше братьев Миши и я всегда всем говорю, что Господь для нас всех так тесно (конечно, прежде всего физич.) соединяет, чтобы мы поняли, какой соблазн в "малых сих" мы сеем своими ссорами, разномыслием и имеющим образ благочестия фарисейством, что все мы повинны перед Богом в том, что не умеем воспитать сынов из детей Божиих и вместо самоокаевания и исправления своих немощей ищем теперь виновников вне нас самих, вне нашего нерадения, маловерия и малодушия и, изошряясь в канон. тонкостях, забываем ясные слова Господа (Мф. 5, 22—24; 6, 14—15; 7, 3—5 и др.), избобличающие пустоту нашего книжничества и холодность нашего сердца. Рад, что Господь хранит Вас и умножает новыми чадами Вашу дом. церковь, чтобы

* Буду вспоминать и ее.

пополнить ими земную и небесную... Сережа, Маша, Лиза — последний Николай, а одного запомнил. Вас обоих всегда тепло вспоминаю и дорожу Вашей дружбой. Да хранит Вас Пречистая и милость Б. да будет выну с Вами.

Прошу Ваших молитв святых.

*

Н. Д. Ш.

28/XII — 1931

Вчера только получил от Вас весточку к 6/XI. Вы еще пишете на Устюг, а я уже третий месяц живу в большом зыр. селе. Мой адрес: п/о "Деревянск" Коми обл. На Вашу открыточку, после именин, я послал Вам на М. Я. письмо. Жаль, если оно пропало. Потом было письмо от казакского ишакогонителя и ему я послал на Вас. Неужели все это куда-то исчезло? Я всегда сердечно Вас вспоминаю и душа согревается, даже издали ощущая Вас. Посылочки от сестры еще нет. Здесь удивительная почта. Ни в Сибири, ни в Азии ничего подобного не было. Посылки или ползут месяцами (нет до сих пор посланных из М. в сентябре), или мирно отлеживаются, скорее всего в Котласе. Привет от В. отца меня глубоко трогает. Если он все еще только около стен, то это одно уже говорит, что если не своим сознанием, то мыслями сердечными, определяющими сущность истинных стремлений нашей души, он внутри ограды. Помогите Вам Господь сохранить во всех детях то, что так трогает Вас в мал. Николеньке. А как он? Радуюсь, что устроились в М. Я. Приветствую Вас с новолетием и

светлыми праздниками. Мишу целую. Да благословит всех Вас Господь..... я кончил. Что-то речет Г....

*

Казанская 32 г.

Письмо Ваше с Пасх. приветом шло оч. долго и добралось до меня уж после Троицы. Сразу почему-то Вам не ответил, и вот уж и светлый день Казанской, с какой у меня много воспоминаний — и по Казани, где я учился, и по родному городу, где недалеко от нашего дома был Каз. мон., где жили местные В-ки и по своему последнему городу, где был чудный древний Каф. собор в честь Каз. и ее чуд. образ, написанный схимником-затворником более 300 лет назад. Вы, конечно, знаете, сколько в жизни нашей родины связано с этим образом и чрез него с Той, у Которой никому не тесно и особенно тем, кто в напастях, скорбях, болезнях и обременены грехами многими. Прошу и Вам и себе у Нее "полезная". Я кажется писал, что Господь дал нам — здесь живущим, "нечаянную радость" перед Своим Светлым днем. С вечера В. Четверга начал благовестить местный, доселе полтора года безмолствовавший Сион.

Поэтому и эти предпасхальные дни, и вся Светлая Седьмица, и день Св. Троицы, и другие наши нарочитые дни дали душе столько светлой радости, что тесное и скорбное, более удручающее тело, чем душу, только ярче оттенило и углубило ее живительную силу, ободряющую душу, укрепляющую веру и дающую уразуметь и ощутить радость Креста. Слава и благодарение Господу.

Вы правы, когда говорите, что смысл жизни в

несении всего посланного нам, но безгрешно, когда близко приближаются устрашающие душу испытания, молиться, как молился Он в Гефсимании, склоняясь под Его высокую и всегда милостивую волю. Мне вот тоже иногда тоскливо, когда я живу в этой глуши уже 8-й сверх месяц, но успокаиваю свое мятущееся сердце тем, что это, б. м., величайшая ко мне милость, так как, б. м., да это и несомненно, что едва ли могу чем служить другим, как не одним терпением посылаемого мне и полной уверенностью, что этим обновляется и моя личная жизнь и всех связанных со мною. Когда я вспомнил нашу встречу, то не хотел похвалой исказить Ваше смирение, а хотел только поделиться радостью, как близок Господь к нам грешным: Его сила мои как бы случайные слова сделала такими действенными, а Ваши искания Его и Его благодати дали ощутить мне, как близок Он ко всем кающимся и как Духом Его всякая душа живится. Кажется, дедушка М. вернулся? Радуюсь за него и о. М. Да поможет Вам Господь. К нам прибывают все новые и новые гости. Есть и М-чи, между нами о. Савва с Маросейки. Милость Божия да будет с Вами.

P.S. Привет о. М.

P.P.S. Позабыл Ваш адрес. Найдет ли Вас это письмо?

*

X — 1932 г.

Примите сердечный привет ко дню Натальи-Адриана. Я все отдыхаю. Конечно, это вполне комический отдых. К именинам Веры Тим. кончу свою

девятiletку. В здешних местах много знакомых и по Северу и по М. С Маросейки здесь о. Савва, и вообще здешняя пустыня процвела, яко крин, такими, как он. С моей легкой ноги, сюда потянулись со всех почти углов сев. края калики перехожие и в оч. почтенном количестве. Для них, для поднятия в них настроения, конечно, полезно бы побыть здесь и долее, но все же хотелось бы куда-нибудь поближе к своим русским. Отовсюду пишут, что поедут не только кончившие курс, как я, но и больные и даже неокончившие курс, но пока начали отпускать окончивших, но не специальности маросейских. Понятно, что все эти страшно нервничают, мечтают и в величайшем напряжении. Это и не удивительно, когда нет ни работы, ни положительно куска хлеба. Это тем ужаснее, что у местных прекр. урожай всего, но сердце каменно-сердечное. Да, кто выдержит эту школу и не возропщет и не вознегодует на людскую безжалостность, тому легко будет везде. Я здоров, чувствую себя неплохо и пока бодр духом. Желая сугубо и Вам этого. Серд. привет М.

*

10/23 – IX – 32

Получил Ваше письмо, писанное в сегодняшнее число прошлого месяца. Я послал Вам привет и ко дню Адриана и Натальи. Не знаю только, получили ли Вы его. Я позабыл новое название Вашей Успенской улицы и поставил № 38 (кажется, правильно) и старое название улицы. Как-то Вы провели этот день? Отдохнула ли Ваша душа в том особом благодатном радовании, какое бывает в этот день, когда душа

как бы ощущает светлый поцелуй своего небесного Покровителя. Надо особенно дорожить этим вхождением души нашей в область неизменного, тем более, что одно воспоминание об этой тихой пристани успокаивает, освещает, смягчает нашу постоянную озабоченность и бесполезное нервное напряжение: не говорю уже про ее глубокий мир. Знаем мы это, а однако как трудно (согласен с Вами) приучить себя к этой святой мысли и привязать свое сердце к этому спасительному якорю. Мы, конечно, более чем когда проходим теперь опыт чистой веры. Трудно теперь довольствоваться ее суррогатами или только желанием верить и иметь спасительную надежду, и в этом отношении хоть и трудна, но благодетельна суровая школа, какую снова начал проходить Сима. Помогите ему, и всем несущим этот подвиг, Господь. Радуюсь, что у Вас все благополучно, а летом у Вас, как на даче. У нас, конечно, нет ни вишен, ни яблок, ни груш, но цветами мы тоже не обделены и довольно в свое время полакомились и морошкой и ч. смородиной, из какой наварил вкусную пастилу, и голубикой с черникой, а теперь грибами. Милость Господня в том, что Он послал нам двух старушек, которые с Пасхи ущедряют нас за сносную плату (а вообще-то ни за что не найти) молочными продуктами, а без этого было бы очень плохо, так как многих из нас лишили и того мизерного пайка, какой мы получали здесь из СПО за наличный расчет. Нашей братии (исключительно, кроме меня, профес. о. М.) все прибывает. Кому-то, видно, Г. внушил, что в Воче жить обычной жизнью нет мочи. Потому туда и посланы те, кто должен быть стражем и очами Б. здесь на земле. Один мой дух. друг говорил мне, что еще до рев-ции говаривал ему один

близкий знакомый, режиссер, артист по профессии, человек необычайной чуткости и одаренности, что обновление рус. Ц. должно начаться с севера. Не потому ли и ранее сюда стремились подвижники, спасались от преследований раскольники, что вся обстановка здешней жизни способствует сосредоточенности духа, бесстрастию и дух. просветлению. Дал бы это Господь и пишущему эти строки и всем, кто с ними или приедет им на смену. О себе могу сказать то, что услышал вчера от новых наших, пришедших из района. Есть списки отпускников и среди них значится и мое имя, о чем кто-то неизвестный просил очень передать мне. Думаю, что это соответствует действительности. Едва ли я буду всецело располагать собой. По совету своих, вероятнее всего, возьму Спас-Клепки Ряз. губ. Что он из себя представляет, Бог весть. В ближайшие дни все, вероятно, выяснится и я, Бог даст, буду зимовать поближе к своим и к Вам. В день Софии и чад ее ровно 9 лет. Слава Богу за все. Христос да сохранит и Вашу дом. цер. Серд. привет о М. Мир Вам.

*

(получено 26-12-32)

Сердечно благодарю за привет....*

дал, так как ходил на квартиру.....

в 90 км. Я писал Вам недавно и Вы.....

те, что я рассчитывал, как это узнали.....

к Вам гораздо ближе. Но, видно, на это нет высшей санкции и мне полезнее побыть в обстановке, какая

*Пропуски в ориг. — Изд.

способствует самособранности и чрез постоянное соприкосновение с различного рода лишениями его окружающих людей и лично его, помогает ему в том, что всегда остается с ним и так необходимо и для настоящего и для будущего. Не скажу, что я все случившееся принял совершенно спокойно. Это не был ропот, но все же я был выбит из обычного равновесия. Приходилось снова устраиваться. Все съестное я оставил своим прежним сожителям, а здесь все так же трудно достать, как и там, и отсюда появилась та суэта житейская, которая так осложняет внутреннее спокойствие. Теперь все успокоилось и я отдал и сроки и времена и расстояние в волю Того, Кто все положил в своей власти. Думаю, что все будет так, как Он хочет, а не мы или кто другой. Вероятно, я зазимую, и вообще все неопределенно, кроме того, что я завтра начинаю пятилетку. Вы тревожитесь за здоровье дедушки, а там условия жизни куда лучше, чем в наших краях, хотя для многих оч. труден климат. Скоро приближаются праздники. Сердечно приветствую Вас и Ваших. Желаю Вам домашнего мира и благополучия. Помогите Вам Господи в Вашем материнском подвиге. Как движется Ваша география? У нас зима снежная, но избушка наша пока справляется с холодами. Всегда всех Вас помню. О. М. Не забывайте и Вы меня.

*

5 — 11 — 32

Что-то давненько ничего не слышу о Вас и начинаю раздумывать, все ли у Вас по-прежнему или есть что-либо, заставляющее напрягать свои силы и успо-

каивать свою смятенную душу? У меня, по великой милости Отца, все более или менее в порядке, /сколь/ возможно в нашем положении. Праздники прошли тихо и мирно, и я не раз получал ту радость, какую мы так любили, когда были далеко на юге. Это особенно дорого и незаменимо теперь. В нашей глуши нашелся Достоевский и чтение его как-то окрыляет душу и вливает в нее прежнюю бодрость и легкость. Словом, начинаю понемногу приходить в нор. состояние, что во многом нарушилось беспорядочной моей жизнью в эти последние годы. Так бы хотелось утвердиться в этом внутреннем светлом покое и не отдавать сердце иглистым заботам и тревогам текущего момента, что только изнуряет душу и бесплодно растрчивает силы. К праздникам как-то прорвались кое-какие посылки, так что и с этой стороны было утешение. А как Ваш меньшей? Сердцем своим часто бываю со всеми Вами. Привет Мише. Да хранит Вас Он.

ПЯТЬ НЕБОЛЬШИХ СООБЩЕНИЙ

1

Государственная комиссия, которой было поручено строительство в Москве храма-памятника во имя Христа Спасителя, долго искала соответствующее ему место и, наконец, остановила свой выбор на высоком берегу Москва-реки возле Каменного моста, как раз там, где стоял небольшой женский Алексеевский монастырь. Это было в 1836 году.

Поскольку монастырь не представлял собою ни исторической, ни архитектурной ценности, решено было насельниц его вместе со всем имуществом перевести в Красное село, а его снести, чтобы освободить площадь для строительства храма.

Когда об этом решении было сообщено игумении обители, она категорически отказалась ему подчиниться. Не помог даже грозный приказ правящего епископа.

”Никуда из своего монастыря не уйду, разве только на руках меня вынесете”, — заявила она.

Видя всю нелепость игуменского поведения, решили перевозить монастырь без ее участия. Игуменья заперлась в своих покоях, никого не принимала и никуда не выходила, а в монастыре была развернута самая энергичная работа по его переезду.

Когда все было закончено и на территории обители осталась одна игуменья со своей келейницей, ей предложили сесть в приготовленный экипаж и ехать на новое место. Но и в этом случае она не согласилась подчиниться. Тогда ее подняли на руки, вынесли из игуменской, перенесли через опустевший двор и

посадили в экипаж рядом с находившейся уже в нем келейницей.

Содрогаясь от слез, игуменья последний раз посмотрела на то, что навсегда оставляла, и сказала: "Что суетитесь, к чему ломаете, ведь храму-то здесь не стоять?!"

И, рыдая, упала головой на плечо своей келейницы.

Конец первого сообщения

2

Ночью того дня, когда был подписан приказ о сносе храма Христа Спасителя и вывозе из него всех икон и ценностей, дежуривший вблизи храма постовой милиционер увидел у его западных дверей яркий свет.

Испуганный этим странным явлением, милиционер выхватил из кобуры наган и бросился узнать, в чем дело. Подбежав к храму, он увидел, что из его широко развернутых дверей прямо вверх, к звездному небу, идет светлый яркий путь, а по нему в великой славе уходят те святые, изображения которых стояли в нем.

Прошли пророки с Предтечею во главе, за ними Святитель Николай с Василием Великим, Григорием Богословом и Иоанном Златоустом. Опираясь на посохи, проследовали московские святители Петр, Алексей, Иона и Филипп. В четырех мантиях двинулись преподобные, возглавляемые Сергием Радонежским, за ними мученики и мученицы, отдавшие свою жизнь за Христа. В веянии белых крыльев пронеслись вслед за ними херувимы и серафимы. После всех

сошли со своих мест на стене стерегущие входы Ангелы.

Так ушла душа храма и остался лишь один остов его на поправление и поругание людям.

Тогда бесшумно закрылись двери его, погас лившийся с неба свет, и землю окутала густая, непроглядная тьма.

Конец второго сообщения

3

Это было пасмурным и, как мне помнится, осенним днем 1931 года.

Я стоял в начале Остоженки (теперешней Метро-строевской улицы) в негустой толпе собравшихся людей. Мы стояли молча, напряженно всматриваясь в хорошо видный храм Христа. Подойти к нему ближе не было возможности, так как вокруг него стоял высокий забор.

Прохожие удивленно поглядывали на нас, некоторые спрашивали: "Чего вы ожидаете?" Им сдержанно отвечали, что сейчас начнут разрушать храм Христа. Спрашивающие присоединялись к отвечающим, толпа увеличивалась и напряженно молчала.

Я не скажу точно, в котором это было часу, в 11 или в час дня, когда на блестящем и величавом куполе храма показались черные точки людей.

Раздался резкий удар молота по железу. В ответ ему в толпе кто-то охнул, кто-то застонал, какой-то мужчина, кусая губы, повернулся и быстро ушел, закрывая уши.

Я подумал, что верно так, как стояли мы, стояли

наши предки у Лобного места, ожидая увидеть чью-то казнь.

После первого удара молота последовал второй, третий, сотый, а может быть и тысячный, и вот первый золотой лист, оторванный от купола и перевязанный веревкой, стал медленно спускаться вниз. При спуске он обернулся черной тыльной стороной.

— Так он не золотой, а только позолоченный, — раздался разочарованный женский голосок.

— Чего захотели, чтоб весь золотой был, — сердито прогудел хриплый бас.

Теперь на куполе зияло черное отверстие. Скоро в воздухе повис второй лист, третий, четвертый.

— Здорово торопятся, из кожи лезут, — заметил кто-то.

— Лучшие верхолазы работают, — буркнул пожилой мужчина.

— Ну вы как хотите, а я больше не могу смотреть, как убивают, — обращаясь, видимо, к дочери и мужу, громко сказала седая женщина и ушла, утирая слезы.

Я тоже не мог смотреть и пошел вверх по Пречистенке.

Через несколько часов я возвратился обратно. Посмотрев на храм, я вздрогнул: вместо золотого купола на меня скалился его черный железный остов.

Конец третьего сообщения

Храм Христа был снесен для того, чтобы на его месте воздвигнуть монументальное здание дворца Со-

ветов по проекту архитектора Иоафана. После войны потекли упорные слухи, что строительства дворца на этом месте не будет, что грунт здесь не подходящий, что дворец поставят на Ленинских горах и т. д. и т. п.

Потом разнеслась весть, что за забором начаты усиленные работы по устройству там зимнего бассейна.

Слухи оказались самыми достоверными, и в скором времени масса желающих получила приятную возможность круглый год купаться в нагретых водах обширного искусственного водохранилища.

Конец четвертого сообщения

5

После литургии в храме Илии Обыденского я медленно спустился вниз по переулку и остановился возле барьера зимнего бассейна, чтобы посмотреть, как плещутся люди в его голубоватой воде.

Рядом со мной остановились и стали тоже смотреть на купающихся бабушка и внучка лет 15-ти с нежным красивым личиком. Я только что видел их в храме, где они стояли впереди меня.

Девочка оживленно разговаривала с бабушкой, но вдруг глаза у нее расширились, она побледнела, лицо стало каменным, и она закричала очень громким срывающимся голосом:

— Бабушка, посмотри, бабушка, что это такое? Храм стоит высокий, белый, и купол у него синий-синий, а на нем звезды золотые, и их много. Храм! Храм во имя всех мучеников! Бабушка!!!

Глаза у нее помутнели, на губах показалась пена и

полилась изо рта. Бабушка охватила девочку руками, но не могла удержать, — будто сраженная чьим-то ударом упала она на землю и забилась в эпилептическом припадке.

Я помог бабушке положить больную на стоявшую вблизи скамью. Она стихла и лежала в забытьи. Бабушка села рядом, положила ее голову к себе на колени, а лицо прикрыла носовым платком.

— Давно это у вашей девочки? — спросил я.

— С детства, после того как бандиты напали на ее отца.

— И часто бывает?

— Редко и беспричинно, и всегда видит что-нибудь необыкновенное, а придя в себя, забывает виденное начисто.

Мне удалось быстро найти такси, я усадил в него бабушку и пришедшую в сознание внучку, потом вернулся к тому месту у перил бассейна, где стоял с ними и слышал восторженные слова девочки:

”Храм стоит высокий, белый... Храм во имя всех мучеников”.

Конец пятого сообщения

1.

Мчит, постанывая, поздним рейсом
Поезд, свой не выбирая путь.
А земля, прикрывшись темным лесом,
Прилегла немного отдохнуть.

2.

Лес то далеко, то вон он снова рядом —
Соскользнет и вновь у подбородка шаль.
Я гляжу в окно и провожаю взглядом
Быстрые столбы и медленную даль.

3.

Стук колес — откуда-то известья —
Прошивает скрытую канву.
И мерцают вдалеке созвездья.
Отчужденно. Ласково. Кому?

4.

Значатся ль они в цене билета?
Или не оплачены они —
Эти в темноте на склоне лета
Деревушек кроткие огни?

5.

За окном не виденная долго,
Тихо проплывающая Русь.
Где-нибудь сойду и стану жить. Да только
До ее души не доберусь.

*

Скачут дни такой недоброй рысью.
Где-то молодость — прошла иль впереди?
Головою чувствую, а сердцем мыслю,
Все свое несу в своей груди.

Но куда несу — в район погоста?
Ну а там что — свет и радость или тьма?
Принесу ль я к Богу душу просто?
Или, добредя, сойду с ума?

*

Здесь, где раздолье без отдушин,
Где по пять, под руки схватившись,
Идем: выстуживает души,
И слезы стыннут не скатившись,

Где лезет гражданин начальник,
Как доктор, пальцами чужими,
Где ветры черными ночами
Не раз мне гибель ворожили,

Где две ровесницы, где сестры —
Проходят молодость и старость
И сеют пройденные версты
В глазах и мускулах усталость, —

Здесь в сердце радостен и тих
Раздался шепот слов святых.

*

Словно негра, мой сон
чуть свет линчевали,
А будильники сами потом почивали.

Я шагал, свою душу с трудом собирая,
И в душе возникала побудка другая.

Брезжить где-то во мраке
слова начинали:
Утоли, Мати Божия, наша печали.

*

Меня твои тревожат дни
Я в жизнь пришел твоей дорогой,
Страна, проклятая людьми
И возвеличенная Богом.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДАНИЕ

Слава и величие Пресвятой Богородицы.

Описание св. чудотворных Ее икон

Владимирская	7
Казанская	21
Смоленская-Одигитрия	26
„Всех скорбящих Радость”	32
„Нечаянная Радость”	36

ОТЦЫ ЦЕРКВИ

Преп. С и м е о н Новый Богослов.

Деятельные и богословские главы 38

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Архиепископ Л у к а. Мемуары. 66

ПРАВОСЛАВНОЕ ПАСТЫРСТВО

А н т о н и й митр. Сурожский. Беседа на приходском великопостном говении 139

Свящ. Димитрий Д у д к о.

Христос в нашей жизни 164

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ

Жан-Жак Г р е й ф. Жизнь после смерти	178
К. И к с к у л ь. Невероятное для многих, но истинное происшествие	198
РУССКИЕ СУДЬБЫ. Литература. Свидетельства. Проблемы культуры.	
В.О. К л ю ч е в с к и й. Значение преп. Сергия для русского народа и государства	257
И л л а р и о н о в. У преподобного игумена обители земли русской	277
Из архива одной семьи	286
Пять небольших сообщений	368
Б. С е л и в е р с т о в. Стихи	374